Я.Л.РАПОПОРТ

НА РУБЕЖЕ ДВУХ ЭПОХ

Дело врачей 1953 года

ВРЕМЯ ★ СУДЬБЫ

МОСКВА «КНИГА» 1988

ВРЕМЯ И СУДЬБЫ

МОСКВА «КНИГА»



Я.Л.РАПОПОРТ

НА РУБЕЖЕ ДВУХ ЭПОХ

Дело врачей 1953 года

МОСКВА «КНИГА» 1988

ББК 63.3(2)723
Р23

Яков Львович Рапопорт

НА РУБЕЖЕ ДВУХ ЭПОХ.

ДЕЛО ВРАЧЕЙ 1953 ГОДА

Разработка серийного оформлеиия
А. Т. Трояикера, Г. М. Грозиой, Е. А. Родиоиовой

Редактор Т. В. Громова
Художествеииые редакторы Г. М. Грозная, Е. А. Родионова
Технический редактор А. З. Коган
Корректор Н. И. Скворцова
ИБ № 1849. Сдано в набор 15.06.88. Подписаио в печать 27.04.88. А01988. Формат 84×108 $^{1}/_{32}$. Бум тип. № 2. Гарнитура Тип. Таймс. Печать высокая. Усл. печ. л. 14,28+0,1. Усл. кр.-отт. 14,28+0,1. Уч.-изд. л. 16,39+0,09. Тираж 100 000 экз. Изд. № 4769. Заказ № 8-1922. Цена 2 р. 50 коп.
Издательство «Книга». 125047, Москва, ул. Горького, 50.
Головное предприятие республикаиского производственного объедииения «Полиграфкнига». 252057, Киев-57, ул. Довженко, 3.

Р $\frac{4702010201-093}{002(01)-88}$ Без объявления

ISBN5-212-00217-6

Посвящаю моей покойной жене и другу
Софье Яковлевне Рапопорт

Издание на правах авторской книги

РАССКАЗЫВАЕТ РАПОПОРТ...

Все, что иадо было бы сказать об этой книге, предварив её вступлеиием, сказаио в ней самой достаточио полно, и, казалось бы, даииое преднсловне нн к чему: автор, известиый советский учеиый — патологоаиатом позаботился о том, чтобы с прнсущей ему тщательиостью патологоаиатома нсчерпывающе «вскрыть» причины и следствия, расставить все точки иад і — н о себе поведал, н о той смертельной опасиости, которая иависла иад иим и миогими известными врачами, не случись чуда... И благосклонная судьба позволит ему отметить девяиостолетие со дня рождения опубликованным литературным произведеиием.

Киига эта — о «деле врачей», заключительиом аккорде сталинских злодеяний, памятиом современникам, ио старательно, а то н лнцемерно замалчиваемом в течение многих лет, очевидио, в надежде, что оно каиет в небытне, ибо сгинут палачи, забудутся жертвы, уйдут свидетелн и очевидцы; но живет едииствеииый оставшнйся свидетель — автор, и тайное стало явным.

Когда-нибудь, вероятно, будет создан на основе архнвов, еслн они сохранятся, историко-психологический, этико-политнческий или какой другой трактат (а то н иапишут ие одиу трагедию!), н мы, не только опираясь на «частные» воспоминаиия, а вполне официальио-достоверио, узиаем истнну, так сказать, в последней иистанцин об этом «деле»: как и почему оно зародилось, как протекало н т. д.; правда, в общих чертах мы, к счастью, еще жнвые, зиали многое, ио теперь, когда киига вышла, раскрылась как бы панорама всей зловещей картииы; и хотя автор иа протяжеиии всего повествования иастоятельио повторяет, что ои — всего лишь летописец, ограиичеиный материалами личиого опыта, его произведение — «только личиый план, то есть нзложеиие личиой информации и личиых впечатлеиий»,— все же перед иамн важиейший социальио-художествениый докумеит огромиой силы, без которого сегодня трудно представнть совремеииый литературио-идеологический процесс.

Мы обогатились зианием снстемы фактов и «деталей» истории очень далекой и блнзкой, и в этом смысле неоценимо позиавательное значение киигн; мы заиово прошлн с автором все его адовы круги, содрогаясь н ужасаясь тому, что это могло случнться с каждым, н в умеиии автора вовлечь читателя в мир своих дум н чувств, заразить его иеприятнем зла эстетнческая зиачимость его повествования.

Две сюжетные линии — «национальная», связанная с происхождением автора, и «профессиональная» — предопределили содержательный объем произведения, и, пересекаясь, они, как отмечает автор, сплелись в «деле врачей».

Вот и не верь теперь, прочтя книгу, в «чудеса»!.. Как же не поколебаться фундаменту научности и «объективной закономерности», когда лишь «чистейшая случайность», смерть тирана, пресекла готовящееся преступление, последствия которого трудно вообразить. Я бы, коль скоро речь идет о медицинском, так сказать, мире, поразмышлял о Смерти, которая в данном случае сыграла спасительную роль и для нашего общества, и для «дела врачей», и для автора. Ведь надо же: умри Сталин позже, живи и бодрствуй он еще некоторое время, и... даже не вообразить, что нас ожидало: готовилась показательная казнь, подстрекающая к погромным акциям, печать пестрела взрывом массового «негодования», нагнетался антиеврейский, антиврачебный психоз, изуверская обывательская фантазия, как читаем в книге, изобретала нелепости одна похлеще другой. Увы, Смерть порой оказывается единственной возможностью для общества приостановить противозакония. Продли медицина жизнь тем, кто стал олицетворением застоя, проживи тот или другой еще несколько лет в условиях выжидательной немоты недовольных и воинствующей агрессивности восхвалителей, и общество в ситуации отсутствия механизма или рычагов действенного контроля, демократической, «цивилизованной» сменяемости, выборности кадров терпит неисчислимые экономические, моральные, психологические, а в иных случаях, о чем — книга, и физические убытки, уроны.

Всем своим пафосом книга направлена против антисемитизма и шире — против любого проявления национализма, увы, пока живого и лишь меняющего свои формы, приемы против чудовищного навета на медицину вообще. На нашей совести — ибо в каждом из нас есть частица вины за всякое антигуманное преступное «дело» — лежит не только «дело врачей», но и предшествовавшая ему и принявшая антисемитский характер так называемая «борьба с космополитизмом»,— расправа над членами Еврейского антифашистского комитета.

Читая книгу, невольно думаешь: не «кто-то» виноват, а все мы и каждый — одни промолчали, другие злорадно бросали в огонь хворост, третьи бездумно верили, кто-то питал живучие «инстинкты», радуясь... И если повествование Я. Рапопорта поможет вселить в совесть каждого из нас эту частичку «вины», то можно будет надеяться, что *такое* больше не повторится. Никогда.

Чингиз Гусейнов
Апрель, 1988 год.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.

А. Блок

Эти слова эпиграфа из стихотворения А. Блока, относимые к далекому прошлому — событиям первых десятилетий нашего века,— сохраняют свою современность. Отсюда их пророческое звучание.

Я вошел в жизнь в конце XIX века и продолжаю ее в конце XX. Надо ли говорить о той насыщенности событиями мирового значения, которыми характеризуется этот период и которые изменили лицо планеты? Эти события отразились и на советском медицинском микромире, в котором автор прожил основную часть жизни и отдал ему немало «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет».

Возвращаюсь к эпиграфу к этой книге. Нередко встречаются высказывания отдельных лиц (особенно среди числа лично заинтересованных) о том, что многие события прошлых мрачных лет должны быть забыты. О них, по мнению этих лиц, не следует напоминать, чтобы не омрачать светлого настоящего. Гениальный поэт А. Блок, отнеся цитированные строки эпиграфа к близким ему годам начала века, утверждал, что «дети страшных лет России забыть не в силах ничего». Можем ли и мы, современники страшных лет середины годов XX века, забыть их, к чему нас иногда призывают, да и нужно ли их забыть. Это — проблема не эмоциональная. Это проблема нашего долга перед следующими за нами поколениями и перед историей.

Наша обязанность — раскрыть перед ними всю правду прожитой нами жизни, долгие годы бывшую под запретом. Эта обязанность стала уже литературным и лозунговым трюизмом. Научная история нуждается не только в документальных материалах. Для нее чрезвычайно важны и литературные материалы современников не только публицистического, мемуарного, но и художественного характера. Эти материалы призваны осветить и дополнить документальные, и часто, как показывает опыт научных исторических исследований, они играют в них важную роль.

Книгу я писал, что называется,— на одном дыхании, ориентируясь главным образом только на свою память, поскольку она долго мне не изменяла. Да и документальные материалы оставались и до сего времени остаются для меня недоступными. Впрочем, я не испытывал большой нужды в них: ведь я не историк в обычном смысле этой отрасли знаний, и не стремился к исследованию их. Я хотел и старался с объективностью, окрашенной только совершенно естественными эмоциями, описать с возможной последовательностью все факты, свидетелем и жертвой которых я был. Я прибегал лишь к немногим литературным источникам, дополняющим мое повествование.

Я торопился писать: поджимали годы, боязнь не дописать. Конечно, с течением времени под различными информативными воздействиями может меняться понимание фактов, изложенных в книге, их анализ и интерпретация. Ведь мышление — не застойно. И может быть, если бы я сегодня описывал некоторые события и факты, изложенные в книге 15—13 лет тому назад, то угол зрения был бы другим. Но это, как и во всяком литературном произведении, вправе сделать сам читатель, независимо от автора: «фактура» же книги изменению не подлежит.

Я хочу пояснить мотивировку названия книги: «На рубеже двух эпох. Дело врачей 1953 года». Действительно, «дело врачей» было кульминацией сталинского 30-летнего периода произвола и беззакония. «Дело» как бы провело рубеж этому периоду как особой эпохе, за пределами которого началась эпоха восстановления ленинских норм жизни советского народа. Я считаю своим долгом напомнить с благодарной памятью решительные мероприятия нового руководства страной, предпринятые в первые же дни по ликвидации «дела врачей», и вслед за ними мероприятия по восстановлению справедливости и законности. Особенно я хочу напомнить о мужественной роли Н. С. Хрущева. Мои друзья и ученики неоднократно и настойчиво убеждали меня в необходимости оставить литературный след моего жизненного опыта в разных сферах, в частности — в «деле врачей», как к моему долгу. Это совпадало и с моими намерениями и желаниями. Результатом этого является настоящая книга, как выполненный долг.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ О ЗАГОВОРЕ МЕДИКОВ-ТЕРРОРИСТОВ. «ВРАЧИ-УБИЙЦЫ» В ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ИСТОРИИ ВЧК — МГБ

13 января 1953 года весь мир был ошеломлен сообщением, опубликованным в центральных советских газетах и переданным по радио. В этом сообщении мир был информирован о раскрытии в Советском Союзе (главным образом, в Москве) преступной организации крупных работников медицины, совершавших чудовищные преступления: пользуясь доверием своих пациентов, они подло умерщвляли их, назначая заведомо противопоказанные им по характеру заболевания и состоянию здоровья мероприятия, приводившие часто к неизбежной гибели. Их жертвой стали выдающиеся деятели Советского государства — Щербаков, Жданов, крупные военачальники. В эту организацию входили виднейшие представители советской медицины — профессора и академики (в дальнейшем к ним присоединили большую группу врачей, рангом пониже). Их преступная деятельность, которую они осуществляли по заданию разведок капиталистических стран, не ограничивалась умерщвлением пациентов; одновременно они вели шпионскую работу по заданию тех же разведывательных органов. В этом сообщении были названы имена некоторых активных членов преступной организации (М. С. Вовси, Я. Г. Этингер, Б. Б. Коган, М. Б. Коган, А. М. Гринштейн и другие), к ним был присоединен и народный артист СССР и видный общественный деятель С. М. Михоэлс, убитый за несколько лет до этого в Минске наездом неизвестного грузового автомобиля. Автомобиль и его водитель остались необнаруженными. Идейной платформой этой группы преступной шайки был еврейский буржуазный национализм, вдохновленный связью с американской еврейской организацией «Джойнт», о существовании которой, как впоследствии выяснилось, многие из привлеченных по этому делу не подозревали и даже не знали такого названия. Все сообщение имело яркую антиеврейскую направленность.

Помимо террористической организации еврейских буржуазных националистов, был арестован по аналогичному обвинению до этого сообщения и после него ряд крупных ученых медиков нееврейской национальности (В. Н. Виноградов, В. Х. Василенко, В. Ф. Зеленин, Б. С. Преображенский, М. Н. Егоров и другие), а еврейская группа была дополнительно укомплектована профессорами И. А. Шере-

шевским, М. Я. Серейским, Я. С. Темкиным, Э. М. Гельштейном, Б. И. Збарским, М. И. Певзнером, И. И. Фейгелем, В. Е. Незлиным, Н. Л. Вильком, автором этих строк и многими другими. Некоторые из них умерли до организации этого дела и до сообщения о нем и были «арестованы» посмертно (М. Б. Коган и М. И. Певзнер, а Я. Г. Этингер, арестованный в 1950 году, умер в тюрьме до его включения в список «извергов рода человеческого»).

Само сообщение 13 января об аресте большой группы медиков не было неожиданным. Аресты начались с ноября-декабря 1952 года; имена арестованных и число их не могло быть секретом для широких кругов населения Москвы и крупнейших центров.

Групповые аресты специалистов по профессиональному признаку не были новостью для советских граждан. Наряду с арестами, больших масс населения преимущественно из интеллигентной среды без профессионального разбора, были аресты групп, дифференцированные по их специальностям (инженеры, строители, военные, геологи, работники сельского хозяйства и т. д. и общественно-политические деятели). Из них формировались в недрах ГПУ — МГБ специализированные заговорщицкие группы с последующим физическим истреблением по приговорам открытого или — чаще — закрытого суда. Неожиданностью был чудовищный характер обвинения большой массы медиков, к тому же известных клиницистов с большой профессиональной популярностью.

В уголовной истории Советской страны уже были известны случаи аналогичных обвинений врачей, но они касались отдельных представителей врачебного сословия. В хронологическом порядке этот вид уголовной хроники, по-видимому, открыл хирург доктор Холин. Он внезапно исчез в конце двадцатых годов, и было совершенно непонятно, за что он арестован, какое преступление он мог совершить. По просочившимся слухам (они в основном подтверждались) передавали, что он был арестован в связи с операцией, произведенной М. В. Фрунзе. Об этой операции по поводу язвы двенадцатиперстной кишки ходили слухи, что она была произведена по настоянию Сталина. 31 октября 1925 года через двое суток после операции, произведенной крупнейшими хирургами во главе с профессором И. И. Грековым, М. В. Фрунзе скончался. В этих слухах был намек на то, что Сталин был заинтересован в операции и ее роковом исходе, и эта версия была использована в качестве сюжета для литературного произведения известного писате-

ля Б. Пильняка «Повесть о непогашенной луне». Вероятно, именно эта повесть стоила Б. Пильняку жизни. В разгар репрессий 1937 года он был арестован, обвинен в шпионаже в пользу Японии (он был в Японии и свои впечатления о поездке отразил в книге «Корни японского солнца») и расстрелян. Циркулировавшие непосредственно после смерти Фрунзе версии о сомнениях в необходимости операции с последовавшим смертельным исходом ее, по-видимому, все же достигли высших сфер, поскольку через несколько дней после похорон Фрунзе профессор И. И. Греков выступил в печати с путаными разъяснениями об обстоятельствах операции и смерти. В них он оправдывал необходимость операции и утверждал наличие показаний к ней, а смертельный исход объяснял (крайне невразумительно), главным образом, общим отягощающим фоном организма М. В. Фрунзе.

Многие из циркулировавших версий о причине смерти М. В. Фрунзе (особенно — версия о смерти от хлороформного наркоза) могут иметь правомерное медицинское основание. Следует при этом категорически отвергнуть мысль о заведомо криминальных действиях хирургов — известных уважаемых ученых. В настоящее время, по-видимому, придется удовлетвориться официальными материалами 1925 года с свидетельством современников о смерти Фрунзе; расчеты на другие источники, вероятно, лишены надежды *. Какие-либо сведения о роли Холина в операции Фрунзе отсутствуют. Если его арест имел какое-либо отношение к этой роли, то наиболее вероятно предположение, что он нужен был «органам», только как источник для криминального «досье» на оперировавших хирургов, на всякий случай — авось понадобится.

Такие «досье» были в практике ГПУ — МГБ. В них арестованными и признавшими свою вину были второстепенные участники «преступлений», а основные даже не подозревали об участии в них и продолжали трудиться, часто — в почете. Нередко такие «досье» оставались «вещью в себе», без употребления за отсутствием подходящей ситуации.

* После сдачи книги в печать, редакцией журнала «Дружба народов» было получено письмо Ю. К. Вишневского, сына члена КПСС с 1919 г., активного участника гражданской войны, расстрелянного в сентябре 1941 г. В этом письме, стимулированном моей публикацией в «Д. Н.» «Воспоминания о «деле врачей», содержатся интересные детали о смерти М. В. Фрунзе, по воспоминаниям современников этой трагедии. Эти детали усиливают подозрительную роль Сталина.

Приведу известный мне такой «парадокс» сталинской эпохи.

Во 2-м Московском медицинском институте клиникой факультетской хирургии в течение многих лет (1926—1943) заведовал известный хирург-профессор, а впоследствии академик — С. И. Спасокукоцкий. В числе его ассистентов был некий доктор Арутюнов. В 1938 году он был арестован органами ГПУ и, как всегда, исчез бесследно. Причина ареста, тоже как всегда, оставалась неизвестной. Эпизод этот вскоре был забыт как не представлявший чего-либо необычного для того времени, да и ранг исчезнувшего не способствовал долгому сохранению памяти о нем и интереса к нему. Неожиданно в 1940 году партийная организация института (Арутюнов был, кажется, членом КПСС) получила письмо от Арутюнова, написанное на листке ученической тетради и присланное, по-видимому, кем-то, освобожденным из заключения, по просьбе его «односидельца»— Арутюнова. В этом письме Арутюнов писал, что он осужден на 10 лет за участие в контрреволюционной организации, возглавлявшейся Спасокукоцким, в которую тот его вовлек. Далее он писал, что был уверен, что Спасокукоцкий расстрелян (по-видимому, на следствии Арутюнов все признал), раз он, только сообщник главаря организации, осужден на 10 лет. Случайно в концлагере в его руки попал клочок газеты с указом Президиума Верховного Совета о награждении профессора Спасокукоцкого орденом Ленина, и что, следовательно, он не только не расстрелян, но жив, здоров и пользуется благосклонностью Советского правительства (в дальнейшем был избран в Академию наук СССР). В связи с этим Арутюнов просит партийную организацию института ходатайствовать о его освобождении, как невинно осужденного. Его просьба осталась без последствий, никто не решился вступить в конфликт с ГПУ — МГБ, т. к. сомнения в обоснованности ареста в то время уже были преступлением против непогрешимости ГПУ, а передача письма в судебные органы могла вызвать ухудшение в судьбе осужденного.

Дело Арутюнова и дело Холина разделяет промежуток времени почти в 10 лет. Но принципиальная общность обоих дел убеждает в постоянстве ранее созданных приемов деятельности «органов». Остается загадкой целевая направленность этих приемов в подобных случаях, т. е. законспирированная политическая дискредитация «шефов» через второстепенных мнимых соучастников их преступлений. Весьма вероятно, что такой целью является формирование

готовых «досье» на шефов про запас, на всякий случай,— вдруг понадобятся. «Стукачи» для этой цели менее пригодны, они все же должны «настукивать» более или менее реальные факты или собирать их по целевому заданию. Более убедительны признания арестованных, каким бы путем они ни были получены. Может быть, Спасокукоцкий был недоволен Арутюновым, кому-нибудь высказал без всякой задней мысли свое недовольство, и подлая, но всесильная угодливость освободила профессора от нежелательного сотрудника (Спасокукоцкий как хирург пользовался большой популярностью в «сферах»).

Холин был, по-видимому, «первой ласточкой» в использовании врачебной профессии для политических целей и первой их жертвой. Одна из последующих «ласточек» поразила неожиданностью. Речь идет о докторе И. Н. Казакове, невежественном, но предприимчивом враче, нашумевшем в 30-х годах, авторе так называемой лизатотерапии как универсального метода в профилактике возрастных человеческих немощей, как панацеи при лечении различных заболеваний. Научной предпосылкой метода являлось представление о решающей роли нарушения функции желез внутренней секреции в разнообразной патологии человека. В частности, это относилось к половой сфере, к угасанию ее активности, что особенно волновало входящих в возраст и усталых от бурной жизни крупных политических деятелей. Для восстановления нарушенной функции желез внутренней секреции больному вводился лизат соответствующей железы (препарат, в котором содержался продукт этой железы); предварительно определялся «эндокринный профиль» пациента, т. е. схема состояния его желез внутренней секреции, нуждающихся в коррекции.

Контингент потребителей лизатотерапии был избранный. Это была верхушка советского общества — крупные администраторы, политические деятели, крупные военные и т. д. Казакову был создан специальный научный институт. Институт был на исключительном положении в отношении доступа в него в качестве пациентов, роскоши обстановки, питания и т. д., а сам Казаков был фигурой, недосягаемой для нормальной научной критики, с универсальной индульгенцией от высоких органов и лиц.

Н. А. Розенель (актриса, жена наркома А. В. Луначарского) в своей книге «Память сердца» пишет о том, как к тяжелобольному и вскоре умершему в начале 30-х годов А. В. Луначарскому (соратнику Ленина и первому наркому просвещения) пришли его друзья, крупные политические

деятели, в том числе — нарком по иностранным делам М. М. Литвинов, с настойчивой рекомендацией воспользоваться услугами Казакова как врача-чудодея. Они ссылались на личный опыт испытания на себе его врачебного мастерства. Казаков жаловался им, что лечащие врачи не допускают его к Луначарскому, хотя он вылечил бы его в кратчайший срок. Луначарский принял их рекомендацию, и Казаков включился в его лечение своими методами. Вскоре, однако, он был уличен в прямом жульничестве и поспешил жульническим манером самоустраниться от лечения Луначарского, безрезультатность которого к тому же стала очевидна.

Зная об отношении к Казакову в «высших сферах», я был чрезвычайно удивлен рассказом А. И. Абрикосова, производившего в 1934 году вскрытие трупа В. Р. Менжинского, председателя ОГПУ, об одном эпизоде при вскрытии. Присутствовавший при вскрытии крупный работник ГПУ обратился к Абрикосову со словами: «Посмотрите внимательно, не найдете ли вы в теле Менжинского следов действия казаковского зелья?» А. И. Абрикосова удивила не только наивность такого предложения с точки зрения возможностей патологической анатомии, но и контекст, в котором был упомянут Казаков, находившийся в то время в зените своей славы. По-видимому, над его головой уже был занесен меч ОГПУ, опустившийся четыре года спустя. Значит, версия о злодействе медицинских работников уже была в стадии активного созревания и достигла зрелости в процессе 1938 года по умерщвлению врачами сына А. М. Горького, самого Горького, Менжинского и др. В результате этого процесса были расстреляны в числе других доктор Л. Г. Левин (врач кремлевской больницы) и И. Н. Казаков; осужден на длительное заключение и погибший в нем профессор Д. Д. Плетнев. О смерти самого Менжинского в его биографии (БСЭ. Большая Советская Энциклопедия, 2-е изд., т. 27) сказано: «В. Р. Менжинский погиб на боевом посту. Он был злодейски умерщвлен по заданию главарей антисоветского контрреволюционного „правотроцкистского блока“» *. Версия об участии врачей в умерщвлении

* В действительности В. Р. Менжинский скончался от прогрессирующей ишемической болезни сердца, вызванной склерозом коронарных сосудов. А. М. Горький, всю жизнь лечившийся от хронического заболевания легких предполагаемого туберкулезного происхождения, умер от прогрессирующего хронического не специфического воспаления легких с резким рубцовым процессом в них и осложнениями со стороны сердца. Других версий во время вскрытия не возникало.

Горького, зафиксированная в приговоре суда и открыто не опровергнутая, существовала и поддерживалась даже спустя долгое время после ликвидации «дела врачей». Трудно было дуракам и мерзавцам с ней расстаться, о чем может свидетельствовать следующий эпизод.

В 1967 или 1968 году (т. е. спустя 30 лет после процесса об умерщвлении Горького) мы с женой отдыхали в санатории «Форос» ЦК КПСС в Крыму. В этом санатории был культработником, т. е. организатором «культурных мероприятий», молодой парень, член КПСС, глупый, самовлюбленный пижон. Однажды он повел группу отдыхающих на экскурсию в соседний санаторий «Тессели», бывший резиденцией Горького. Щеголяя своей осведомленностью об обстоятельствах смерти Горького, он показал кучу булыжников, которую врачи, лечившие Горького, якобы заставляли его перетаскивать с места на место под видом физического упражнения, чтобы вызвать его преждевременную смерть. Этот молодой болван передавал легенду, основанную на материалах суда 1938 года, вошедших во 2-е издание Большой Советской Энциклопедии (см. биографии Горького и Менжинского), не дезавуированных открыто, по крайней мере в части, касающейся злодеяний медиков. С мистическим ужасом взирали зрители на кучу камней, которых касались мученические руки Горького, направляемые на них «убийцами в белых халатах». Таким образом, единицы врачей-злодеев 30-х годов расплодились к 50-м годам в большую организацию из многих десятков виднейших деятелей медицины, а все событие вошло в историю под названием «дело врачей». Оно, как это видно, имело предшественников и не возникло, как Deus ex machina, как какой-то эксцесс природы, как метеор из далекого чуждого мира, ворвавшийся в атмосферу нашей планеты. Оно готовилось всей природой сталинской империи, и атмосфера для него готовилась и накаливалась в течение многих лет. Почему злая судьба постигла трех врачей из большой массы их в СССР? Попытаемся дать ответ на этот вопрос, по крайней мере в отношении Л. Г. Левина и Д. Д. Плетнева. Л. Г. Левин, руководящий работник кремлевской больницы, был образованный специалист, соавтор Д. Д. Плетнева в изданном ими руководстве по внутренним болезням для студентов и врачей, пользовавшемся популярностью в течение ряда лет. В «награду» за признание на следствии участия в «умерщвлении» А. М. Горького и его сына Левин мог передавать из заключения короткие записки. В них эзоповским языком он писал об общих условиях пребывания в

тюрьме, об инкриминируемом ему преступлении, сознанию в котором его вынудили угрозой расправы с семьей. Для спасения ее он на это пошел.

Старший сын Л. Г. Левина работал в Наркоминделе. Его не было в Москве в момент ареста отца. По срочном возвращении в Москву спустя два дня он написал В. М. Молотову письмо, в котором просил его вмешаться в это «недоразумение», поскольку В. М. Молотов хорошо знал отца и имел с ним контакты не только в служебных отношениях, но и в личных дружеских связях. Письмо это он сам передал в ЦК КПСС, и ответом на него был его арест в ту же ночь с последующим исчезновением из жизни. Семья Левиных много лет была в убеждении, что это письмо не дошло до Молотова. Однако его увидели в деле по посмертной реабилитации. Письмо до Молотова дошло, как об этом свидетельствовал автограф на нем Молотова следующего содержания: «Почему этот „профессор" еще в НКИД, а не в НКВД». Каламбур палача у плахи! Конечно, он получил директивное значение. Участие профессора Д. Д. Плетнева в «умерщвлении» Горького и его сына было воспринято советской, особенно медицинской, общественностью, казалось бы, уже привыкшей к острым блюдам 1937 года, как мрачная сенсация. Д. Д. Плетнев пользовался огромной популярностью, как образованный клиницист с большим врачебным опытом и как ученый, принятый в высших этажах советского руководства. Подлинные причины его ареста и осуждения (он был осужден на 25 *лет и умер в заключении накануне «дела врачей») не были известны, вероятно, и ему самому. Строились разные догадки. При той популярности, которую имел Д. Д. Плетнев, организаторы большого процесса сочли, по-видимому, необходимой предварительную общественную дискредитацию его, как человека, способного на аморальные поступки. Форма этой дискредитации была на уровне культуры и грязной фантазии авторов ее.

Подобно грому из ясного неба, вдруг в центральных газетах в 1939 году (в том числе и в «Правде») во всю ширину полосы появился гигантский заголовок: «Проклятие тебе, насильник, садист!» Под этим кричащим заголовком была статья (государственной важности!!), посвященная аморальным действиям профессора П. К нему на прием в качестве больной пришла гражданка Б., и профессор П. в припадке бешеной страсти (ему уже было за 60 лет!), вместо

* По официальным данным Д. Д. Плетнев был расстрелян в Орловской тюрьме в сентябре 1941 года в числе многих заключенных.

оказания гр-ке Б. необходимой помощи врачебным искусством, искусал ей грудь и нанес ей этим тяжелую физическую и моральную травму. Я знал эту гр-ку Б. Она была репортером одной из московских газет (кажется,«Труд») и иногда приходила ко мне, как проректору по научной и учебной работе 2-го Московского медицинского института, за какой-нибудь информацией. Внешность ее отнюдь не вызывала никаких сексуальных эмоций и даже не ассоциировалась с такой возможностью. Это была женщина лет сорока, с удивительно непривлекательной и неопрятной внешностью. Длинная, какая-то затрепанная юбка, башмаки на низком стоптанном каблуке; выше среднего роста, брюнетка сального вида, с неопрятными космами плохо причесанных волос; пухлое, смуглое лицо с толстыми губами. Один вид ее вызывал желание поскорее освободиться от ее присутствия. И вдруг оказалось, что она — это и есть г-ка Б., девственная жертва похоти профессора П., «насильника, садиста!». Узнав об этом, я говорил, что кусать ее можно было только в целях самозащиты, когда другие средства самообороны от нее были исчерпаны или недоступны. Тем не менее профессор П. был судим за этот «варварский» поступок и за нанесение увечий и осужден на 2 года.

Ответ на поставленный выше вопрос восходит к тайнам гибели в 1932 году Н. С. Аллилуевой, жены Сталина. Известно, что она покончила жизнь самоубийством выстрелом себе в висок. Была попытка скрыть эту явную причину смерти даже заменой при похоронах обычной прически Н. С. Аллилуевой зачесом на висок для маскировки огнестрельной раны. Официальной версией была смерть от аппендицита, неуклюже неправдоподобной даже для непосвященных. Посвященными в истинную причину смерти были А. Ю. Канель — главный врач кремлевской больницы, Л. Г. Левин и профессор Д. Д. Плетнев. Аллилуеву видели накануне трагедии без всяких признаков аппендицита, а утром она была обнаружена мертвой в постели с огнестрельной раной в виске и лежащим около трупа пистолетом. Всем им было предложено подписать бюллетень о смерти от аппендицита, от чего они все трое категорически отказались. Бюллетень был подписан другими врачами. Сталин не забыл этого отказа, и его злобной местью была версия «умерщвления» А. М. Горького Плетневым и Левиным. А. Ю. Канель умерла в 1936 году от менингита, иначе она, конечно, разделила бы судьбу «убийц» Горького.

В чем была провинность И. Н. Казакова, остается тайной. Казаков, как отмечалось выше, был принят в выс-

ших этажах сталинского общества, знал многие из его тайн и мог быть нескромным. Это, возможно, привлекло к нему внимание органов государственной безопасности, и, как выше отмечалось, он давно был у них на прицеле.

ПОДГОТОВКА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, ПРЕДШЕСТВОВАВШАЯ «ДЕЛУ ВРАЧЕЙ»: БОРЬБА С КОСМОПОЛИТИЗМОМ, «НИЗКОПОКЛОНСТВОМ ПЕРЕД ЗАПАДОМ» И ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ. ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА ТЕРРОРА В МИРЕ МЕДИЦИНЫ И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ.

Длительно накаливалась и подготавливалась антисемитская направленность «дела врачей», и психологической подготовкой к нему была так называемая борьба с космополитизмом, открытая в 1948 году редакционными статьями в газетах «Правда» и «Культура и жизнь». В этих статьях раскрывалась вредительская деятельность литературных, музыкальных и театральных критиков, по преимуществу еврейской национальности, якобы шельмовавших в своих критических статьях произведения русских писателей, поэтов, драматургов и одновременно прославлявших чуждые русскому и вообще советскому человеку произведения. В этих статьях, посвященных этим критикам, они именовались безродными космополитами, которым чуждо было все русское и советское, которое они беззастенчиво оплевывали.

Статьи эти, разумеется, получили широкий резонанс частью со стороны обиженных критикой, частью со стороны услужливых и услужающих лиц и организаций. Для характеристики такого резонанса можно привести короткий отчет о партийном собрании Союза советских писателей, опубликованный в газете «Правда» 11 февраля 1949 года под названием «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Докладчиком на этом собрании выступил секретарь правления Союза писателей А. Софронов. Он говорил: «Группа оголтелых, злонамеренных космополитов, людей без рода и племени, торгашей и бессовестных дельцов от театральной критики, подверглась сокрушительному разгрому в редакционных статьях газет „Правда" и „Культура и жизнь". Эта антипатриотическая группа в течение долгого времени делала свое антинародное дело. Выросшие на гнилых дрожжах буржуазного космополитизма, декаданса (?) и формализма, критики-космополиты нанесли немалый вред советской литературе и советскому искусству — они хулигански охаивали и злобно клеветали на все

то новое, передовое, все лучшее, что появлялось в советской литературе и советском театре...» Далее: «Юзовский, Гурвич, Борщаговский, Бояджиев, Альтман, Варшавский, Малюгин, Холодов и другие космополиты-антипатриоты приветствовали идеологию буржуазного Запада. Холопствовавшие перед буржуазной культурой, они отравляли здоровую атмосферу советского искусства зловонием буржуазного ура-космополитизма (?!), эстетства и барского снобизма (?!)». Далее идет конкретное разоблачение их деятельности. Например, они критиковали такие патриотические пьесы, как «Великая сила» Ромашова и «Зеленая улица» А. Сурова. Надо сказать, что эти спектакли шли в Малом театре при почти пустом зале, хотя билеты распределялись бесплатно в учреждениях и предприятиях, и бывали случаи, когда администратор театра обращался к публике с просьбой от имени артистов занять ближайшие к сцене ряды, т. к. артистам трудно играть перед пустым залом. Критик Альтман в докладе Софронова подвергся уничтожающей характеристике, в частности, за то, что он «постановку пьесы „Принцесса Турандот" считал знаменем искусства» (это значение спектакля подтверждено всей последующей историей театрального искусства). Уничтожающей критике подвергается деятельность Ю. Субоцкого, который «стремился отвлечь внимание писателей от нанесения ударов по безродному космополитизму», а также литературные критики Эрлих, Данин и др. В частности, о Данине сказано, что он «унаследовал методы оголтелых космополитов, в свое время травивших Горького и Маяковского (кто были эти космополиты?) и возвеличивавших антинародную безыдейную поэзию (в дальнейшем признанную вершиной поэзии) Б. Пастернака и А. Ахматовой (!). Весь доклад — безудержная ругань, в которой докладчик не ограничивал себя ни в малейшей степени необходимостью соблюдения хоть элементарной правды; это был не доклад, а донос, без необходимости соблюдения видимости правдоподобия и элементарного приличия, а смысл некоторых ругательных выражений может быть понятен только изобретателю их.

Всякое общественное явление имеет своих конкретных носителей. Поэтому борьба с космополитизмом, естественно, должна была вылиться в борьбу с конкретными носителями космополитического зла. В первой фазе этой борьбы на направлении главного удара были литературные критики. Затем начались поиски признаков космополитизма в творчестве писателей и поэтов. Например, у Багрицкого в поэме «Дума про Опанаса» герой — еврей Иосиф Коган,

а Багрицкий — тоже еврей. У И. Уткина в «Повести о рыжем Мотеле, раввине Исайе и комиссаре Блох» само название выдает с головой национальность героя, отсюда — эти произведения признаны космополитическими. И. Эренбург писал (Новый мир. 1965. № 3. С. 123) о тех мытарствах, которые он претерпел при издании пятитомника его произведений. «Почти на каждой странице произведений, много раз до того изданных, искали недозволенное. Случайно у меня сохранилась копия письма, отправленного в высокие инстанции в январе 1953 г.,— я искал защиты. Помимо различных изменений в тексте, от меня требовали переменить некоторые фамилии в повестях „День второй" и „Не переводя дыхания"». Эренбурга упрекали в том, что «в обеих книгах, написанных о русском народе, который вместе с другими народами строит заводы и преобразует Север, непомерно много фамилий лиц некоренной национальности». Следовал список семнадцати таких фамилий (из двухсот семидесяти шести) в повести «День второй» и девяти фамилий (из ста семидесяти четырех) в «Не переводя дыхания». «Я подумал,— добавляет Эренбург,— а что делать с фамилией, которая стоит на титульном листе?» Эренбург из деликатности (а вернее всего — с оглядкой на цензора) не пишет, о какой «некоренной национальности» идет речь в требовании цензоров или редакторов книг, но это ясно из самих фамилий и из фамилии автора на титульном листе.

Вся постановка вопроса о безродных космополитах, людях без рода, без племени, не имеющих родины, заключается в том, что им не дано понять творчества русских людей, русской и советской природы; они поэтому не имеют права ее касаться. Идеологи борьбы с безродными космополитами, вероятно, запретили бы и Исааку Левитану, великому певцу русской природы, коснуться ее своей гениальной, но еврейской кистью. Не случайно, что в период борьбы с космополитизмом подверглось гонению творчество Багрицкого, Светлова, В. Гроссмана, был изгнан из Большого зала Консерватории портрет Мендельсона. Портрет этого выдающегося композитора XIX века, внесшего огромный вклад в музыкальную культуру не только своим замечательным творчеством, но и «открытием» Баха, до него малоизвестного композитора, был в настенном медальоне Большого зала вместе с другими композиторами мирового класса. «Вынос» портрета Мендельсона, украшавшего вместе с другими композиторами Большой зал Консерватории, был совершен в период борьбы с так называемым космополитизмом, бывшим словесным прикрытием самого откровенного, непри-

крытого антисемитизма. «Вынесли» не Вагнера, другого немецкого композитора, но ярого немецкого националиста и шовиниста, кощунственно провозгласившего гений Бетховена принадлежавшим только Германии и ей служащим. Творчество Вагнера, замечательное в музыкальном отношении, было принято на вооружение гитлеровцами, т. к. он в нем якобы прославлял музыкой истинно германский дух. «Вынесли» соотечественника Вагнера — немецкого еврея Мендельсона и заменили его Даргомыжским. Не углубляясь в сравнительную оценку творчества обоих композиторов — Мендельсона и его «сменщика»,— существенно то, что при строительстве Большого зала Консерватории (в конце XIX века) общественный комитет, руководивший строительством, принял решение, что в медальонах должны быть только симфонисты (у Даргомыжского нет ни одной симфонии). Вопреки этому правилу, Мендельсона, пережившего в Большом зале Консерватории двух царей-самодержцев и царский антисемитизм, заменили Даргомыжским.

В советском обществе был накоплен многолетний опыт снятия портретов, в первую очередь — портретов провинившихся или обвиненных в каких-либо преступлениях политических и государственных деятелей. По внезапно исчезнувшим со стен портретам советские люди узнавали, что оригинал тоже бесследно исчез, по меньшей мере — с политического горизонта, а чаще всего — из жизни. Мендельсон не мог входить в эту категорию исчезнувших портретов. Периодически производится перетряска Досок почета на фабриках и заводах, в парикмахерских, пошивочных ателье, общественных столовых и ресторанах и т. д. Там, как известно, периодически меняется комплект фотографий передовиков производства по усмотрению «треугольника», состоящего из дирекции, партийной организации и профсоюза, и выставляется обновленная Доска почета, с которой на зрителей смотрят лица новых передовиков истекшего года. Однако в течение более полувека состав «передовиков музыкального творчества» в Большом зале Консерватории не меняется; была стабильной «Доска почета композиторов». Может быть, и здесь в середине XX века начал действовать общий принцип текучести персонажей Доски почета? Но кто были жюри периодического пересмотра сравнительной гениальности композиторов и кто из подлинных музыкальных художников согласился бы на такую роль? По-видимому, в истории со снятием портрета Мендельсона был произвол чиновников от искусства, проявивших «здоровую советскую инициативу» на общем поприще борьбы с космополитизмом.

Просто Мендельсону не повезло: с его фамилией и его родословной эти чиновники сочли невозможным его соседство с другими русскими и иностранными великими композиторами во имя арийской чистоты портретной галереи композиторов.

С идеями, заложенными в борьбе с космополитизмом в Советском Союзе, удивительно совпадают соображения по национальному вопросу фашиста, зятя Гимлера, в диалоге с советским писателем Л. Гинзбургом *. Фашист изрекал: «Нация — понятие крайне сложное, включающее в себя и этнографические, и психологические, и биологические моменты. Если хотите — и расовые. С этим необходимо считаться. Я не могу, например, назвать немецким писателем человека, который пишет по-немецки, но по причинам своего происхождения и биологической организации не в состоянии выразить самый дух той нации, языком которой он пользуется... Конечно, исключения возможны, но...» Реплика Гинзбурга: «Говоря об исключениях, наверное, вы подразумеваете Гейне?» Ответ фашиста: «Гейне — явление чрезвычайно противоречивое. Уроженец Рейна, человек восприимчивый, он в большой степени усвоил признаки немецкого духа, подтверждением чего является его „Лорелея"... Тем не менее Гейне так и не смог — да и не должен был!— преодолеть свое происхождение, и те его произведения, в которых пробивается это его начало, так и остались для нас чужими... Приведу пример более мне близкий — превосходного композитора Мендельсона-Бартольди. Можем ли мы считать его превосходную музыку немецкой? Думаю, что ни в коем случае... Стало быть, национальная культура, так же как и сама нация, не терпит никаких примесей... К какой нации человек принадлежит, определяет только состав его крови».

Какое трогательное единство идеологии оголтелого фашиста и борцов с космополитизмом.

Борьба с космополитизмом и его проявлением —«низкопоклонством перед Западом», разумеется, вышла за пределы литературной и театральной среды. Везде надо было вести эту борьбу и выявлять своих космополитов. Антиеврейская направленность борьбы была настолько откровенной, что ее было трудно прикрыть фиговым листком советского интернационализма. Даже бытовало двустишие: «Чтоб не прослыть антисемитом, зови жида космополитом». Но непрочный фиговый листок иногда прорывался, что созда-

* «Новый мир». 1969. 10. С. 133—134.

вало в этих случаях нежелательную ситуацию публичного нарушения политической девственности. Так было, например, в Институте профессиональных заболеваний. Там подвергся суровой критике на ученом совете профессор-физиолог Н. А. Бернштейн, крупный ученый, автор замечательной монографии «Биомеханика движений», в которой были усмотрены патриотическими ортодоксами проявления «низкопоклонства». В защиту его от благородного негодования ортодоксов выступила молодая аспирантка, в святой простоте воскликнувшая: «Это — недоразумение, ведь Николай Александрович — не еврей!» В действительности Н. А. Бернштейн — коренной русский по национальности, но с нерусской фамилией (таких в России много, ведущих свое происхождение от шведов, французов, прибалтийских немцев и др.).

Борьба с космополитизмом не имела ничего общего с теоретической принципиальной дифференциацией двух понятий: космополитизм и интернационализм. Когда-то в трудах теоретиков марксизма они мирно уживались, научно анализировались и не были в такой острой непримиримой вражде, как в описываемый период 40-х годов. В борьбу с космополитизмом с логической последовательностью вплеталась борьба с «низкопоклонством» перед Западом (перед «иностранщиной», в ее жаргонном обозначении), перед его наукой, общей культурой, литературой, поэзией, искусством в его многообразных формах, и естественно, что победителем в этой борьбе была национальная русская и советская наука, культура, литература и поэзия, искусство. От тлетворного влияния Запада советские люди ограждались не только воспитательно-агитационными мероприятиями, но и системой ограничительных мероприятий для изоляции их от западных соблазнов и искушений. В эту систему включалась организованная недоступность иностранной научной и художественной литературы; изъятие из музеев шедевров западной живописи и крестовый поход на поклонников и пропагандистов ее в среде советских художников; активная пропаганда музыки русских и советских композиторов в противовес музыке западных композиторов и т. д. Особенно рьяными борцами с низкопоклонством были те беспринципные и невежественные лизоблюды, которых в большом количестве расплодил сталинский режим и которые с таким же усердием разоблачали «низкопоклонников» и «низкопоклонство», поносили Запад с тем же рвением, с каким до этого (да и после этого) лизали ему пятки и менее приличные места.

Борьба с космополитизмом вылилась в борьбу за выявление приоритета русских и советских авторов в области науки, техники, прикладного естествознания. Как это знает история науки, нередко трудно установить, кто был первым. Этому даже посвящена специальная книга зарубежного автора под названием — «Кто первый?». В любой области науки можно проследить лестницу идей и фактов, завершившуюся последней ступенью в виде сформулированного научного закона, развернутой научной теории, технического воплощения. Тот, кому удался синтез всего накопленного его предшественниками, тот и имеет право на творческое авторство, а не тот, кто первый высказал соответствующую идею в абстрактной или гипотетической форме. Научное предвидение, несмотря на всю его иногда колоссальную роль в развитии соответствующей области науки, все же требует творческого развития, чтобы стать открытием. Часто необходимо добросовестное научно-историческое исследование для восстановления приоритета в тех случаях, когда он по разным причинам не был своевременно закреплен. Такой вклад в сокровищницу национальной науки должен быть внесен, как ее национальная гордость.

К сожалению, в советской медицинской и биологической науке погоня за приоритетами приняла в ряде случаев характер недостойной возни, оскорбительной для действительно огромного вклада, который внесли русские и советские ученые в мировую науку и который нигде не оспаривается, вызывая признательное восхищение. Эти соображения не были доступны беспринципным и невежественным борцам за приоритет отечественных ученых. Поскольку авторство ряда крупных исследований в восстановлении не нуждалось ввиду его полной и общепризнанной очевидности (например, И. П. Павлов), то свой пыл «квасные» патриоты направили на частные, иногда мелкие достижения, не имеющие большого значения. В своих поисках они опирались на общие приемы борьбы с космополитизмом и «низкопоклонством», и поддержкой им были установки временщика Лысенко на игнорирование «разлагающейся буржуазной науки». Оторванное от мировой науки поколение медиков и биологов варилось в собственном соку и в соку невежества. Для наиболее же пронырливых деятелей массовый отрыв от зарубежной литературы облегчал использование ее для скрытого плагиата и выдачу его за оригинальное исследование. Так борьба с низкопоклонством и за приоритеты давала не только ореол патриотического борца, но была и меркантильно выгодной.

Практически же достижения в восстановлении приоритета отечественных ученых в биологии и медицине свелись к нескольким неуклюжим попыткам, не поднимающим, а роняющим достоинство русской и советской науки, тем более что многие из этих попыток закончились конфузом.

Всему медицинскому миру известны, например, микроскопические узелки, развивающиеся в тканях больного ревматизмом, особенно — в сердце. Они во всей международной медицинской литературе (в том числе и в советской до определенного периода) носят название ревматических узелков Ашофа, по имени германского патолога, открывшего и описавшего их в 1904 году. Советский патологоанатом В. Т. Талалаев изучал строение этих узелков и дополнил описание их некоторыми деталями в своей монографии 1932 года, в которой он сам называет их узелками Ашофа. Кому-то пришла в голову в конце 40-х годов идея, продиктованная борьбой за приоритеты, переименовать «узелки Ашофа» в «узелки Талалаева». Не знающие подлинного вопроса медики, к тому же напуганные возможными упреками в низкопоклонстве, бесконтрольно приняли это переименование, и советская медицинская литература запестрела «узелками Талалаева». Пришлось А. И. Абрикосову посвятить этому вопросу специальную статью с освещением подлинной его истории и с отрицанием каких-либо оснований для присвоения этим образованиям имени Талалаева. Тем не менее в советской литературе (и только в ней) стало принято компромиссное название «узелки Ашофа-Талалаева». В зарубежной литературе (особенно издающейся в ГДР) при упоминании в тексте узелков Ашофа дается в сноске примечание, что в СССР их называют узелками Ашофа-Талалаева. Этот компромисс имел хоть и спорное, но все же хоть какое-то основание в исследованиях Талалаева о цикле развития узелков Ашофа, чего нельзя сказать о других аналогичных попытках. В хирургии много лет существует симптом Блюмберга, характерный для перитонита. Невежественные ревнители приоритета русской науки нашли, что еще раньше Блюмберга этот диагностический симптом открыл русский хирург Щеткин, и он был переименован в симптом Щеткина, включенный в советскую медицину в качестве обязательного его обозначения. Произошел конфуз: оказалось, что Блюмберг — русский профессор с иностранной фамилией, каких немало у выходцев из Прибалтики, потомков шведов и т. д. Пришлось произвести обратное переименование, но из стыдливости (а может

быть, и из политической осторожности) этот симптом иногда называют симптомом Блюмберга-Щеткина. В иммунологии существует особый феномен, открытый итальянским ученым Санарелли в 1923—1924 году и носящий его имя. Несколько позднее известный советский иммунолог П. Ф. Здродовский (честный и добросовестный ученый) повторил его в некоторой модификации, не претендуя на приоритет, поскольку воспроизведенный им феномен соответствует оригинальному феномену Санарелли. Это не помешало, однако, борцам за приоритеты приписать открытие этого феномена П. Ф. Здродовскому с переименованием его в «феномен Здродовского» (иногда нежнее — в феномен Санарелли-Здродовского). В одной из статей журнала «Эпидемиология, микробиология и инфекционные болезни» описываемого периода этот факт был сообщен читателям в совершенно идиотской, неуклюжей формулировке, гласящей, что П. Ф. Здродовским открыт феномен, *известный* под названием феномена Санарелли. Квасные грамотеи даже формулировку для своей стряпни не в состоянии были дать литературно приличной. Она напомнила мне автобиографию одного не вполне нормального гистолога — Х-ина, в которой он писал, что им в 1916 году открыты в поджелудочной железе образования, именуемые некоторыми авторами островками Лангерханса (они описаны этим ученым в 1869 году).

Достаточно приведенных примеров, чтобы подвести итоги всему ажиотажу вокруг поисков приоритета отечественных ученых в области медицины и биологии, закончившихся одновременно с кампанией против космополитизма. Положительный баланс этого ажиотажа, по добросовестному научному счету, равен нулю. Отрицательный же, если иметь в виду моральный ущерб, нанесенный советской науке, учету не поддается. От всей возни вокруг поисков приоритета сохранились только анекдоты. Один из них гласит, что, по достоверным сведениям, закон прибавочной стоимости был открыт за несколько веков до К. Маркса крепостным крестьянином Саратовской губернии, но не мог быть им опубликован по причине его неграмотности.

Хотя кампания борьбы за приоритеты кончилась к периоду «дела врачей», но след свой оставила в дальнейшей истории советской медицинской науки.

Борьба с космополитизмом с ее идеологической и политической платформы, разумеется, перешла и на платформу организационную. В московских медицинских вузах она была реализована в массовом изгнании профессоров и пре-

подавателей еврейской национальности. Во 2-м Московском медицинском институте были уволены профессора Э. М. Гельштейн, И. И. Фейгель, Я. Г. Этингер, А. М. Гринштейн, А. М. Геселевич и другие. Все они — известные ученые и специалисты. Все упомянутые, кроме Геселевича, были арестованы по «делу врачей». Процедура увольнения и поводы к ней были стереотипными. Назначалась комиссия, обследовавшая работу кафедры и клиники, руководимой этими профессорами, с посещением лекций этого профессора. Разумеется, комиссия обнаруживала ряд крупнейших дефектов в работе этого профессора, выводы комиссии обсуждались на ученом совете института или только в партийной организации (если профессор был членом КПСС), после чего выносилось решение об увольнении профессора. Иногда председатель «разгромной» комиссии или активный ее деятель был лично заинтересован в изгнании зав. кафедрой, поскольку ему было обещано, что он будет ее наследником. Вообще же изгнание евреев-профессоров из медицинских вузов открыло неожиданный легкий путь к кафедрам многим бездарным тупицам, прозябавшим около науки без надежды на ее признание. Научная активность для них была бесперспективной, ведь здесь требуются способности. Проще было использовать свою политическую локтевую активность, патриотически направленную против космополитов; она была беспроигрышной по результатам. Высшее руководство имело представление о том, как массовое увольнение опытных педагогов и ученых-медиков отразится на педагогическом, лечебном и научном процессе. Но оно, не скрывая этого, смотрело на это, как на необходимую острую болезнь, которой надо переболеть во имя светлого будущего медицинских вузов Москвы, Ленинграда и крупных центров без евреев. Сами же преемники вакантных мест без страха и сомнения занимали их. Они были убеждены в том, что ум присваивается вместе с должностью. Этот принцип, сформулированный великим русским сатириком, они приняли всерьез, как догму и как руководящее жизненное правило.

Процедуру изгнания человека из той области, в которую он вложил весь свой талант ученого и педагога, могу иллюстрировать изгнанием моего близкого друга Э. М. Гельштейна.

Э. М. Гельштейн являлся одним из типичных представителей того поколения медицинских работников, которое активно участвовало в становлении советской медицины в ее практической и научной части, в подготовке и воспи-

тании кадров врачей, покрывших себя славой в Великую Отечественную войну.

Э. М. Гельштейн быстро выдвинулся в первые ряды творческой медицинской молодежи, и не было ничего неожиданного в том, что коммунисту Э. М. Гельштейну в 1931 году (ему было в это время 34 года) было предложено занять кафедру терапии и факультетскую терапевтическую клинику во 2-м Московском медицинском институте. В течение 21 года с перерывом в период Великой Отечественной войны он с блеском руководил этой кафедрой, проявив талант педагога и организатора научного и лечебного процесса. Во всех этих областях его работа неоднократно получала одобрение с разных сторон. К началу Отечественной войны Э. М. Гельштейн имел прочно сложившуюся репутацию выдающегося ученого-клинициста. Он был первым крупным советским ученым-медиком, в первые же дни Отечественной войны он одновременно со мной заявил о желании добровольно вступить в Советскую Армию. Он получил назначение на Ленинградский фронт на должность главного терапевта фронта. Надо ли говорить о тяжести этого фронта в условиях блокады. Работа Гельштейна была отмечена рядом правительственных наград, присвоением ему почетного звания заслуженного деятеля науки. Блокадная гипертоническая болезнь, поразившая многих людей осажденного Ленинграда, не пощадила и его, и он возвратился с фронта с тяжелой формой этой болезни, закончившейся его ранней смертью в 1955 году. После демобилизации он вернулся в клинику к обычной работе, мужественно преодолевая болезнь и скрывая ее от окружающих. Но постепенно над его головой начали сгущаться тучи, одновременно или с небольшой задержкой сгущавшиеся и над другими аналогичными головами. Атаку открыла многотиражная газета 2-го Московского медицинского института инспирированной статьей, в которой вся деятельность профессора Гельштейна подвергалась не критике, а поруганию. Это был наглый пасквиль в стиле того времени, в котором охаивались и его лекции, на которые якобы студентов загоняли силой, и общее руководство клиникой, и научная работа. Это был удар, потрясший самолюбивого профессора беззастенчивым, наглым искажением действительности, с полным откровенным простором для безнаказанной клеветы. На эту атаку Э. М. Гельштейн реагировал чрезвычайно тяжело — с личных позиций незаслуженной обиды; он не видел в ней общественного явления, сфокусированного в данном случае на нем. Затем события развернулись по обычной схеме с прив-

лечением в атаку некоторых сотрудников кафедры (особенно одну из ближайших сотрудниц), обсуждением его деятельности на партийном собрании в обычном стиле того времени. Здесь же на собрании у него развился инфаркт сердца. Затем последовало обсуждение материалов комиссии, подтвердивших, конечно, материалы статьи и дополнивших ее клеветнический характер. Он позвонил мне утром после этого заседания, прося заехать к нему, и я никогда бы не мог себе представить этого гордого, самолюбивого и сдержанного человека в безудержных рыданиях, в которых я его застал. В этих рыданиях уже немолодого человека, прожившего жизнь в окружении всеобщего признания его достоинств человека ученого, с всеобщим уважением, была глубокая боль от незаслуженной обиды. Это не прошло бесследно для его сердца, подорванного в ленинградской блокаде, развились новые инфаркты с последующей аневризмой сердца, и он сам подал заявление об уходе с кафедры. В 1953 году он также был арестован по «делу врачей» и вскоре (в 1955 году) умер.

Попутно я должен коснуться некоторых событий, имевших непосредственное отношение к включению меня в круг «убийц в белых халатах», характеристики общей обстановки в медицинском мире, предшествовавшей «делу врачей», и некоторых лиц.

В числе сотрудников по прозектуре 1-й Градской больницы была Клеопатра Горнак. Это была в описываемую пору довольно миловидная молодая женщина, мещаночка по культурному уровню и жизненным запросам, среднего уровня интеллектуальности, компенсируемой хитрецой с средними профессиональными способностями, но с карьеристской хваткой. В 1940 году она была направлена ко мне в аспирантуру, но мое научное руководство было прервано осенью 1941 года войной и моим участием в ней, а практическое — возобновилось только в конце 1945 года в прозектуре больницы, в штате которой она состояла. Некоторые детали ее положения в прозектуре и взаимоотношений со мной я вынужден осветить, поскольку они получили звучание в событиях 1953 года.

За время моего многолетнего пребывания на фронте Клеопатра Горнак установила постоянный контакт с профессором Б. Н. М. В течение всего этого периода Б. Н. осуществлял руководство Клеопатрой Горнак, дал ей диссертационную тему, примитивную по замыслу и бездарную по ее научному смыслу, но беспроигрышную по требованиям того времени к кандидатским диссертациям. Ее заинте-

ресованность в сохранении связи с Б. Н. определялась более легким достижением кандидатской степени, чем с моей требовательностью. По линии практической работы патологоанатома, т. е. по больничной прозектуре, Клеопатра Горнак была в моем подчинении, но двойственность положения создавала известную напряженность отношений.

Однажды летом 1951 года (или 1952 года — точно не помню) Клеопатра Горнак сообщила мне, что ее вызывают на следующий день в МГБ и что причину вызова она не знает. Мне до сих пор не ясно, почему она информировала меня об этом, тем более что всякий вызов в это учреждение сопровождался предупреждением о секретности. Несомненно она догадывалась (или уже знала), что этот вызов связан со мной, и, может быть, из лучших побуждений хотела предупредить меня об этом. Когда же я спросил ее после визита в МГБ о причине вызова (после ее информации об этом визите я имел право на такой вопрос), то она сказала, что ее вызывали в связи с пропиской ее матери в Москве (она приехала с Украины), но содержание ответа и его форма не оставляли сомнения в том, что это подготовленная и, вероятно, продиктованная увертка. Она, возможно, получила задание наблюдать за моей деятельностью. Она стала держать себя более независимо и даже вступать со мной в дискуссии при обсуждении данных отдельных вскрытий, где, по ее мнению, обнаруживались грубые недостатки лечения. Я несколько раз делился с профессором А. Б. Топчаном, главным врачом больницы и моим другом, о сложности моих взаимоотношений с Клеопатрой Горнак, и однажды, когда я высказал желание избавиться от нее, ему изменила его постоянная сдержанность и в сильном возбуждении он шепотом воскликнул: «Если мы ее тронем пальцем, то завтра нас с тобой здесь не будет, понял?» Этим он ясно дал мне понять, что ему известно, как руководителю учреждения, о роли Клеопатры как информатора МГБ. Забегая вперед, скажу, что даже детали моих взаимоотношений с Клеопатрой Горнак и роль в них Б. Н. М. были известны в МГБ, что стало ясно из некоторых реплик моего следователя.

Мне запомнился конфликт с Клеопатрой Горнак, возникший при анализе материалов одного вскрытия и раскрывший ее роль, поскольку этот случай выплыл в процессе следствия. Речь шла о молодой женщине, родившей в акушерско-гинекологической клинике профессора И. И. Фейгеля (он тоже был в дальнейшем в числе «врачей-убийц») здорового ребенка. Спустя несколько дней после родов у нее возникли тяжелые явления со стороны головного мозга, от

которых она погибла. Вскрытие производила Клеопатра Горнак, и,зайдя в секционный зал к концу вскрытия, я застал следующую немую картину: по одну сторону секционного стола с вскрытым трупом женщины стоит в обличительной позе Клеопатра Горнак, по другую сторону — бледный как полотно, помертвевший, раздавленный профессор И. И. Фейгель и несколько его сотрудников в таком же состоянии. Разъяснение этой драматической сцены я получил от Клеопатры Горнак: она обнаружила тромбоз венозных сосудов твердой оболочки мозга с тяжелыми расстройствами мозгового кровообращения и объяснила развитие тромбоза сепсисом, т. е. послеродовым заражением крови. По реакции профессора И. И. Фейгеля и его ассистентов было очевидно, что в этом заключении содержалась какая-то устрашающая угроза, повергшая их в шок. Послеродовой сепсис — неприятное событие для родильного дома. Каждый случай такого осложнения обсуждается в специальной комиссии из специалистов-акушеров с детальным выяснением всех обстоятельств его возникновения, с принятием ряда эпидемиологических мероприятий для профилактики его распространения в роддоме. Это — чрезвычайное происшествие, но не такое уж исключительное, чтобы повергать в мистический ужас стоящих у секционного стола врачей, особенно — профессора Фейгеля, заведующего клиникой. Как правило, сепсис у роженицы источником своим имеет какой-то болезненный очаг, имевшийся у нее, и чрезвычайным происшествием является внесение инфекции медицинским персоналом при родовспоможении. В нормальных условиях все эти обстоятельства устанавливаются объективным и тщательным анализом, в котором клиника всегда бывает заинтересована. В данном случае, по-видимому, она не могла рассчитывать на такую объективность, очевидно, для этого не было нормальной обстановки. Отсюда — ужас перед последствиями, оправдываемый предысторией, непосредственно предшествовавшей описываемым событиям.

Предыстория же такова. На профессора Фейгеля, члена КПСС, в течение некоторого времени велась энергичная атака, как и на многих профессоров еврейской национальности, заведующих кафедрами во 2-м Московском медицинском институте. Атакующие действовали по стереотипному шаблону. Они стремились доказать профессиональное несоответствие профессора руководству клиникой — И. И. Фейгель до того времени успешно руководил клиникой на протяжении более 20 лет. Кроме того, ему инкриминировались какие-то опыты на русских (именно!)

женщинах, наносящие ущерб их здоровью. Главарем атакующей группы был профессор Ж.

Для меня стали очевидны та сила и те средства атаки, которым подвергается профессор Фейгель, и поэтому не было ничего удивительного в том, что заключение Клеопатры Горнак о послеродовом сепсисе прозвучало для него похоронным звоном. До сих пор я не могу решить, было ли это заключение только результатом невежества, поскольку каких-либо общеизвестных, классических признаков сепсиса не было ни в клинической картине болезни, ни в материалах вскрытия. Единственной находкой на вскрытии был тромбоз вен твердой мозговой оболочки, и, не имея в своей эрудиции объяснения причины его развития, она привлекла совершенно произвольное, лишенное обоснования объяснение: сепсис с тромбозом вен оболочек мозга. Для того чтобы раскрыть для читателя абсурдность такого заключения, следовало бы изложить патологию сепсиса и критерии его диагностики в клинике и на секционном столе. Общедоступным языком сделать это чрезвычайно трудно. Поэтому прошу верить моему более чем полувековому опыту и моей эрудиции: сепсиса здесь не было даже в намеке. Как показал анализ истории болезни, у роженицы были до родов нарушения в составе крови, которые явились основой для развития тромбоза в послеродовом периоде с нередкой наклонностью в этом периоде к нарушениям в свертывающей системе крови. Однако Клеопатра Горнак, по-видимому, решила остаться верной своей невежественной версии, и случай этот, наряду с другими, был в моем уголовном досье в МГБ в качестве одного из доказательств сокрытия мной преступных действий евреев-профессоров.

Что касается профессора Фейгеля, то его судьба, как заведующего кафедрой, была предрешена, а освободившуюся кафедру получил атакующий Ж.

При таком профессиональном и этническом уровне профессор Ж. в моих действиях, совершенно корректных и объективных (тем более, что я знал, с кем имею дело), усматривал при деловых контактах и стремление нанести ущерб его профессиональному достоинству.

Однажды при случайной встрече в фойе Дома ученых осенью 1952 года он выразил мне в каких-то неопределенных выражениях его оценку моих действий и заключил ее словами: «Ну, ничего, ничего, скоро Вы узнаете...» Что я узнаю, он недосказал, остановился, но в этих словах была совершенно открытая угроза, и я действительно «скоро узнал...». В одном из предъявленных мне обвинений —

скрытые злодеяния еврейских террористов и дискредитация честных советских ученых — я легко узнал участие **Ж.**

Рассказанные истории — типичный пример для того времени; вариации могли касаться только реакции сердца в зависимости от эмоциональной устойчивости субъекта (разовьется или не разовьется инфаркт!).

Подобные события отнюдь не способствовали созданию и сохранению обстановки в вузе, необходимой для творческой, научной и педагогической работы. На еще не изгнанных профессоров давило ожидание изгнания и психологическое давление общей атмосферы. Многие профессора, независимо от их национальной принадлежности, жаловались на напряжение, с которым они читали лекции; чрезвычайно мешала скованность, из-за боязни не так выразиться, быть неправильно понятым, дать повод для политического искажения формулировок и т. д. Лекции подслушивались «уловителями» «космополитических и других идеологических извращений» (медицину надо было оберегать от них!). Боялись использования технических достижений для такого подслушивания (магнитофонные замаскированные записи). Все это создавало иногда трагикомические ситуации и эпизоды. Один из них, характерный для описываемой эпохи, заслуживает передачи.

Действующие лица этого эпизода: 1. Профессор А. М. Чарный, зав. кафедрой патологической физиологии Центрального института усовершенствования врачей, человек крайне осторожный и живущий в постоянной боязни неприятностей и их ожидании. 2. Профессор Ш. Д. Машковский, член-корреспондент Академии медицинских наук, заведующий кафедрой паразитологии того же института, ученый с мировой известностью, безупречной порядочности и высокой общей культуры.

Однажды в осенний вечер 1952 года у меня в кабинете раздался звонок, и я услышал взволнованный голос А. М. Чарного. Передаю разговор с ним почти дословно. «Яков Львович, скажите, профессор М., кажется, Ваш друг?» Я, разумеется, ответил утвердительно (он один из ближайших многолетних друзей моих и всей семьи). «В таком случае,— продолжал А. М. Чарный,— я должен Вас предупредить, чтобы Вы были с ним осторожны, он подлец и провокатор!» Я сначала даже не понял, о ком идет речь, поскольку такая характеристика никак не ассоциировалась с личностью Ш. Д. Машковского, и, переспросив А. М. Чарного, о ком идет речь, получил подтверждение, что

речь идет именно о Ш. Д. Машковском. На вопрос «Что произошло?» А. М. ответил, что я еще не знаю о его выступлении в сегодняшнем заседании совета профессоров института. Я был потрясен. Я не допускал мысли о каком-либо подлом поступке Ш. Д. Машковского, но подумал, что, возможно, он, вследствие плохой ориентации в общей обстановке, допустил какой-нибудь ляпсус, вызвавший такую характеристику. Оказалось, что «провокационное» выступление Ш. Д. Машковского заключалось в том, что он говорил о желательности снабжения кафедр магнитофонами для записи лекций. У меня отлегло от сердца. Я вспомнил, что Ш. Д. Машковский неоднократно выражал сожаление об отсутствии магнитофона, т. к. многие интересные мысли, возникающие по ходу чтения лекции, потом ускользают из памяти. Я полностью разделял это желание Ш. Д. Машковского, т. к. всякая лекция, если она не стандартно и стереотипно вызубренная, действительно творческий процесс, заслуживающий фиксации в записи. Я спросил у А. М. Чарного, в чем же он усматривает подлый, провокаторский характер этого выступления, и сказал, что соображения о необходимости магнитофона я неоднократно слышал от Ш. Д., на что Чарный ответил: «Как! Вы разве не понимаете, что он хочет, чтобы лекция была записана на магнитофон!» Я понял опасения А. М. Чарного. Патологическая физиология — одна из основных теоретических дисциплин в медицинском курсе, а в теории медицины в ту пору был полнейший разброд, особенно в связи с происходившими дискуссиями, и любое высказывание могло оказаться крамольным или быть признанным таковым чиновными блюстителями методологической чистоты в теориях медицины. Недостатка в таких чиновниках, даже с учеными степенями и званиями, желающих погреть карьеристские руки на методологической бдительности, не было. Я видел в этом эпизоде только комическую сторону, хотя смешного в нем, по существу, мало, но Ш. Д. Машковский был крайне смущен, когда узнал о неожиданной интерпретации его невинного для нормального общества выступления.

Я не могу охватить весь политический горизонт периода, предшествовавшего «делу врачей» и подготавливавшего его. Я могу лишь осветить его с точки зрения личных восприятий, как мощного психологического напора, идущего из разных областей общественной жизни и закончившегося этим «делом». Арестована академик Л. С. Штерн. Разгромлен и арестован еврейский антифашистский комитет

почти в полном его составе. Трагическая судьба его — казнь всех 12 августа 1952 года — стала известна позднее. Это был расстрел еврейской культуры в СССР, уничтожение лучших ее носителей. До этого — трагическая гибель (преднамеренное и организованное убийство) замечательного артиста С. М. Михоэлса (Вовси). Наконец, процесс Сланского в Чехословакии. Здесь впервые прозвучали откровенные антиеврейские нотки — участие «сионистов» в чудовищных преступлениях, их сотрудничество с гестапо, роль в гибели Фучика. В этом же процессе участвовали и врачи, обвинявшиеся в злонамеренном, ведущем к гибели лечении своих пациентов из круга видных политических деятелей Чехословакии. Помню свою оценку этого известия и впечатление, произведенное им на меня. Не надо было быть пророком, чтобы предвидеть, что этот процесс и его идеологическая основа — прелюдия к развитию аналогичных явлений и у нас, что в этом вопросе мы не отстанем от Чехословакии. Да и ясно было, что инициатива здесь исходила не от Чехословакии — аналогичного опыта еще у них не было. Для меня было также ясно, что антиеврейские нотки в этом процессе и участие в нем врачей — действительно только прелюдия к постановке его и у нас в более мощной форме, в соответствии с величиной державы. Все лето и осень 1952 года были под угнетающим впечатлением этого дела.

Были и более мелкие симптомы в советском медицинском и непосредственно окружающем меня мире. Симптомы начались еще до дела Сланского, некоторые дошли до меня значительно позднее, и я о них не подозревал; это были, выражаясь медицинскими терминами, скрытые симптомы продромального периода, который, как впоследствии выяснилось, был довольно длительным. Первый откровенный симптом был зимой 1950/1951 года в виде телефонного звонка в мою квартиру на Б. Афанасьевском переулке. В ответ на мое «алло» я услышал глуховатый голос, без всякого обращения сказавший: «Слушайте и не повторяйте, никому ничего не говорите. Говорят из МГБ. Завтра в 3 ч. дня будьте на Волхонке у дома № (кажется, 7). Вас встретят». Тон был абсолютно императивный и не допускавший возражений или отговорок. Надо ли говорить, как я был взволнован этим приглашением, о смысле и цели которого я не строил никаких догадок. Я только понимал, что шутить с этой организацией нельзя и что придется идти. В назначенное время я был у этого дома; ко мне подошел высокий мужчина (я не помню — в шинели сотрудника МГБ или в

штатском пальто) и пригласил войти в квартиру на первом этаже, двери которой открывались прямо на улицу. Это была, судя по обстановке, обычная жилая квартира из нескольких комнат.

В одной из них сидела какая-то женщина с внешностью домработницы, которая что-то шила или вышивала и, когда мы проходили мимо нее, не обратила на нас никакого внимания. Что это была за квартира,— обычная ли жилая квартира, принудительно заарендованная у хозяев для «деловых свиданий», или квартира специального назначения в системе МГБ для той же цели,— для меня осталось загадкой, над которой я не стал ломать голову, хотя сама обстановка удивила меня своей обывательской будничностью и мещанским уютом. Я со спутником прошел в крайнюю из комнат, и произошла «задушевная» беседа. Началась она с вежливого осведомления о моем здоровье и самочувствии и еще с каких-то осведомительных общих вопросов, на которые я давал такие же общие ответы. В большом, но тщательно скрываемом напряжении я все ж ждал даже с некоторой долей любопытства раскрытия тайны моего приглашения: не для осведомления же о моем здоровье меня пригласили. Эта тайна скоро раскрылась. Капитан начал с информации о сложной и тревожной общей политической ситуации, в которой находится страна, окруженная со всех сторон врагами, что враги находятся и внутри страны, тщательно маскируясь, и что необходима неусыпная бдительность для обезвреживания их коварных замыслов. Для этой благородной цели МГБ нуждается в моей помощи. Короче говоря, я сразу понял, что идет вербовка меня в осведомители.

Я недоумевал, почему выбор пал на меня, чем они руководствовались, но это я понял позднее. Из дальнейшей беседы (она носила в большей степени односторонний характер) я понял, что моего собеседника специально интересует настроение еврейской части населения Москвы: разговоры, которые ведут евреи между собой (на каком языке?), особенно те, в которых затрагиваются политические проблемы, в частности, связанные с США и Израилем.

Занятая мной позиция в этом собеседовании отнюдь не была оригинальной. Существо моей позиции стереотипное: я — советский человек и член КПСС, и, если бы я заметил какие-либо подозрительные действия или явления, мой долг был бы немедленно сообщить о них в соответствующие органы, не дожидаясь приглашения в сотрудники. В последние же я абсолютно не гожусь по общему складу

своего характера. К тому же по роду своей деятельности я больше имею дела с трупами, чем с живыми людьми. Объем и характер моей информированности крайне ничтожен, а круг лиц, с которыми я общаюсь, ограничен небольшим числом медиков, главным образом профессоров, и контакты с ними имеют чисто профессиональный характер. Тогда мой собеседник просил назвать лиц, с которыми я общаюсь. Перечень мой содержал профессоров, с которыми у меня существует непосредственное общение (Абрикосов, Аничков, Виноградов, Лукомский, Бакулев, Преображенский, Давыдовский и др.). Я не мог не включить в группу лиц, с которыми я встречаюсь, моих самых близких друзей — Э. М. Гельштейна и А. А. Губера, полагая, что мои многолетние дружеские связи с ними, безусловно, уже известны. Все указанные мной фамилии были записаны собеседником. Этот список во время моего пребывания под следствием по «делу врачей» фигурировал и обсуждался в допросах. Капитан интересовался моим служебным положением, жилищными условиями, говоря, что его организация может их значительно улучшить. От этого содействия я категорически отказался, ссылаясь на отсутствие у меня необходимости в их улучшении. В общем, как говорится в официальных бюллетенях, стороны после длительного собеседования ни к какому соглашению не пришли, и мой собеседник при расставании не скрыл разочарования и недовольства по этому поводу.

Я полагал, что «инцидент» этой встречей исчерпан и я буду оставлен в покое. Но я недооценил настойчивости «органов» в достижении своих целей и того, что они рассчитывали не только на квартирную и служебную приманку, как на пряник, но и на кнут, который был в их руках и который был пущен в ход в дальнейшем.

Спустя некоторое время после этой встречи (я не помню — какое) снова раздался телефонный звонок, и я услышал уже знакомый мне голос, пригласивший меня явиться на следующий день в вестибюль гостиницы «Москва» к 4 часам дня, где он меня встретит у газетного киоска. Я попытался уклониться от встречи ссылкой на свою служебную занятость в этот день, но, конечно, это было наивной отговоркой. Капитан обещал, что он договорится с руководством института о том, чтобы меня освободили к этому часу от служебных дел. Он отлично понимал, что я предпочту сам урегулировать этот вопрос, чем прибегнуть к посредничеству «органов». Шел я на это свидание уже снабженный опытом первого и с твердым решением бескомпромиссного,

твердого и резкого отказа, с готовностью на все, вплоть до самого худшего. Я решил, что не должен оставить у них и тени сомнения в том, что им не удастся меня сломить в моем решении, что оно должно быть категоричным без всяких оттяжек и увиливаний, вроде — я подумаю, взвешу, потом дам ответ и т. д. Я понимал, что если в моих ответах будет хоть ничтожная, микроскопическая щель, то они в нее влезут. И я шел на это свидание с полной готовностью к тому, что я с него не вернусь. У киоска меня встретил тот же капитан, в лифте поднял меня на какой-то этаж и ввел в гостиничный номер, где нас ждал, сидя в кресле, военный в форме полковника МГБ (чин по тому времени высокий). Завязался разговор в стереотипном содержании, но уже с совершенно откровенным подчеркиванием, что МГБ нужны сведения о евреях, что нужно знать об их настроениях, антисоветских намерениях и что здесь нужна не моя патриотическая и партийная самодеятельность, а направленная и регулируемая деятельность. Эта часть разговора шла в резком ключе. Полковник сказал, что их интересует многое, например, о чем говорят за обеденным столом в интимном кругу у начальника Главугля. Он назвал еврейскую фамилию начальника, которую я тут же забыл. Может быть, я перепутал его должность, но в ее названии слово «уголь» было. Я удержался от вопроса о том, как я могу попасть за стол к этому «углю», о котором понятия не имею (как и он обо мне), т. к. сообразил, что в этом вопросе будет та самая щель, которой я опасался, и что заботу обеспечить меня застольем у «угля» они возьмут на себя. Полковник держал в руках список лиц, с которыми я встречаюсь, записанный капитаном при первой встрече, и, упершись в фамилию «Губер», сказал, что следовало бы его «прощупать». Я сказал, что Губер не медик, а искусствовед, на что полковник подал реплику, что искусствоведы их тоже интересуют. Но я добавил, что Губер — не еврей, а 100-процентный русский, после чего интерес к нему со стороны полковника сразу угас. Возник вопрос об Израиле, о мечте евреев уехать туда. Я сказал, что о таких мечтаниях мне ничего неизвестно, по крайней мере от тех евреев, с которыми я встречаюсь, а если таковые имеются, то, по моему мнению, в них Советский Союз не нуждается, пусть едут. На это последовала реплика полковника: «А если мы не заинтересованы в их отъезде?» Постепенно тон полковника из первоначально спокойного, хотя и враждебно-холодного, стал возбужденно-резким, после моего совершенно категорического отказа с ссылкой на то, что по общему складу своего харак-

тера я для роли осведомителя не гожусь и что я не слышал ни разу никаких криминальных высказываний от моих собеседников евреев. Тогда он задал мне в лоб вопрос: «И вы никогда не слышали, как ученые-евреи говорят, что головы у нас не хуже, чем у американских ученых, а работаем мы хуже?» Я внутренне похолодел. Я сразу узнал эту фразу: она принадлежала мне. Я произнес ее в беседе с одним отдыхающим в санатории «Истра» зимой 1949/1950 года. Я говорил ему о постановке дела в наших научных институтах, что, несмотря на большие затраты на науку в СССР, в силу плохой организованности научной работы, научная отдача у нас низкая, хотя головы наши не хуже, чем у американских ученых. Услышав от полковника эту фразу, вырванную из контекста осведомителем (собеседник безусловно был им), я понял, что я на крючке, что это тот кнут, которым хотят меня запугать и заставить сдаться. Я сделал вид, что просто не понимаю криминального смысла этой фразы, и, по-моему, она свидетельствует о патриотизме автора ее, его заботе, о советской науке. В общем, разговор окончился руганью (разумеется, односторонней) и приказом: «Убирайтесь вон», отнюдь не обидевшим меня грубой формулировкой. Я с радостью его исполнил, унося ощущение, что такое внимание к евреям (1950 г.) — грозный, зловещий признак.

На этом, однако, эпизод с вербовкой меня в осведомители не кончился. Кончился он осенним вечером 1950 года или весной 1951 года, когда я получил вызов явиться в военкомат по адресу какого-то переулка на Сретенке, т. е. в районе Лубянки, а не в моем районе. Не надо было быть очень сообразительным, чтобы понять, каков в действительности этот военкомат в районе Лубянки, вдали от моего района и вблизи от МГБ. Я ничего не сказал жене, но решил, что на случай моего неожиданного исчезновения она должна быть информирована о его причине. Поэтому я отнес моим самым близким друзьям те небольшие денежные сбережения, которые у меня были, скромные семейные ценности и предупредил друзей о моем возможном невозвращении из «военкомата». В пустынном помещении военкомата я застал ожидавшего меня молодого человека, под диктовку которого я написал о своем отказе от связи и сотрудничестве с органами МГБ и обязательство о сохранении в тайне переговоров, которые со мною вели. Все это я без колебаний подписал. На этом вся эпопея с вербовкой в осведомители кончилась, и она снова всплыла лишь в ходе следствия по «делу врачей».

Процитировав меня самого, полковник дал мне ясно понять, что я у них на виду не только как потенциальный, но неудавшийся сотрудник, но и как потенциальный объект их основной деятельности. Впрочем, к этой мысли многие советские люди привыкли, сжились с ней. Она все время существовала в подсознании, откуда сигналы обреченности периодически прорывались в сознание «при каждой новой жертве боя». Но великая сила приспособляемости человеческой психики допускала «мирное сосуществование» этой реальности с повседневной работой, с повседневными заботами, с волнениями профессионального, творческого и бытового характера. Про себя, а иногда вслух в обществе близких и проверенных друзей я лишь цитировал ироническую фразу из «Бориса Годунова»—«Завидна жизнь Борисовых людей...». Так живущая в подсознании уверенность в неизбежности финала естественного жизненного пути не мешает ощущать жизнь во всей ее многогранности, сохранять остроту вкуса к ней и радоваться ей. Поэтому дыхание Лубянки, в конце концов, вытеснилось из эмоциональной сферы и только всплывало в памяти, как memento mori — помни о смерти (эту сентенцию некоторые шутники переводят, как «не забудь умереть»).

1-Я ГРАДСКАЯ БОЛЬНИЦА. МЕСТО ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНЫ И РОЛЬ ПАТОЛОГОАНАТОМА.

Летом 1951 года был ликвидирован Институт морфологии Академии медицинских наук, атакованный с разных сторон, в основном — как рассадник «вирховианства». Многие его сотрудники очутились в положении безработных.

Моя личная судьба сложилась следующим образом. Моя лаборатория ликвидированного Института морфологии АМН СССР размещалась в прозектуре 1-й Градской больницы им. Пирогова на Ленинском проспекте. Одновременно я был руководителем этой прозектуры. В этой роли я и остался после ликвидации Института морфологии. Однако местом моей основной работы стал Контрольный институт им. Тарасевича*, где я занял соответствующую моему званию профессора научную должность заведующего лабораторией патоморфологии. В этих двух учреждениях я работал

* Ныне НИИ стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л. А. Тарасевича.

до самого моего ареста 3 февраля 1953 года. Я должен описать обстановку в этих двух учреждениях, поскольку с ней и с моим окружением в них связан ряд фактов, непосредственно предшествовавших аресту.

Начну с 1-й Градской больницы. Это одна из старейших и крупнейших городских больниц Москвы. В течение многих десятков лет (с начала нынешнего века) отделения больницы служат базой для клиник 2-го Московского медицинского института (вначале — Высших женских медицинских курсов, затем Медицинского факультета 2-го Московского университета). Во главе этих клиник стояли выдающиеся ученые-медики, заложившие лучшие традиции лечебной, научной и педагогической работы. Десятки тысяч врачей получили свое образование в этих клиниках и с благоговением относятся к памяти учителей, от которых восприняли великую мудрость врача. В период моей работы в этой больнице такими учителями были терапевты — В. Н. Виноградов (его сменил в конце сороковых годов профессор П. Е. Лукомский), Э. М. Гельштейн, Я. Г. Этингер; хирурги — С. И. Спасокукоцкий и сменивший его в 1943 году А. Н. Бакулев; офтальмолог М. И. Авербах; невропатологи — Л. С. Минор, А. М. Гринштейн; отоларингологи — Свержевский, Б. С. Преображенский; акушеры-гинекологи И. Л. Брауде, И. И. Фейгель, а также я и др. Все это — выдающиеся клиницисты и педагоги; многие из них — В. Н. Виноградов, Э. М. Гельштейн, Я. Г. Этингер, А. М. Гринштейн, Б. С. Преображенский, И. И. Фейгель — были жертвами «дела врачей», т. е. в расцвет этого «дела» больница была обескровлена. Если к этому добавить, что арестованы были некоторые ассистенты этих ученых, то на примере одной этой клинической больницы видно, какое опустошение в ряды виднейших представителей медицины внесло это «дело».

Во главе больницы, ее главным врачом, был профессор Абрам Борисович Топчан. Одновременно он был заведующим урологической клиникой, а с 1937 года — ректором 2-го Московского медицинского института. Старый (по стажу) член партии, добрый и доброжелательный человек, с большим тактом, он пользовался любовью студенчества и уважением профессоров и преподавателей. Он был последовательно уволен со всех должностей. При увольнении его с последней (в 1951 г.) — ректора 2-го Московского медицинского института — долго не могли найти более или менее обоснованную формулировку приказа об увольнении. Наконец, когда он уже был фактически уволен и его место

занял бывший зам. министра здравоохранения по кадрам Миловидов, был опубликован в «Медицинском работнике» лаконичный, без какой-либо мотивировки, приказ: «Директора 2-го Московского медицинского института профессора Топчана Абрама Борисовича освободить от занимаемой должности». Я тогда говорил, что у авторов приказа не хватило изобретательности для мотивировки увольнения. Надо было внести в его формулировку только одно краткое слово «как»: «Директора 2-го Моск. мед. института профессора Топчана, *как* Абрама Борисовича, и т. д.».

Находясь в окружении «врачей-убийц», мне, естественно, невозможно было удержаться от соблазна, чтобы не включиться в этот круг и не внести в него действенную лепту своей медицинской специальности. Чтобы был понятен ход мыслей организаторов «дела» для включения меня в его панораму, необходимо осветить место патологоанатома в клинической больнице и его действительные взаимоотношения с клиницистами, непосредственными исполнителями «злодейских замыслов». Иначе не совсем понятно, какое участие в них можно приписать патологоанатому.

Патологоанатомическое отделение больницы (оно имеет еще сохранившееся старое наименование — прозектура, т. е. место, где производятся секции-вскрытия, а его руководитель — прозектор) в какой-то степени является центральным учреждением больницы, нити к которому тянутся из всех клинических отделений. Нити эти — грустные, т. к. они тянутся от смертного одра, неизбежного там, где имеют дело с болезнями. Вскрытие — это завершающий акт обследования больного в тех случаях, когда смерть победила и болезнь, и усилия врача победить ее. Всякая смерть, если только она не естественная, это — какое-то поражение медицины, и одна из задач вскрытия — определить, все ли было сделано, чтобы избежать этого поражения, и оставляла ли болезнь для этого какие-либо возможности. Это в каждом отдельном случае — трудная задача, решение которой требует от прозектора и высокого профессионализма, и полной объективности.

Основная задача вскрытия — проверка точности клинического диагноза, правильности определения врачом природы болезни, закончившейся роковым исходом. Эта задача решается путем тщательного изучения патологических изменений разных органов, сопоставления найденных изменений с их прижизненной трактовкой, чем определяется соотношение патологоанатомического диагноза с клиническим, их совпадение или расхождение. В последнем

случае речь идет о клинической ошибке диагностики, устанавливаемой обычно уже по ходу вскрытия и в его результате. Нередко, однако, уточнение или определение патологоанатомического диагноза требует длительного микроскопического исследования частиц органов и тканей, взятых при вскрытии. Попутно выясняется целесообразность примененных лечебных мероприятий, их соответствие установленной при вскрытии природе болезни и их своевременность. Особенно это относится к случаям, где имело место хирургическое вмешательство. Эта сторона требует от прозектора особенного такта. Только в случаях грубых ошибок прижизненной диагностики патологоанатом может вынести суждение о том, в какой мере эта ошибка повлияла на лечебные мероприятия, и, как следствие этой ошибки,— не были применены рациональные лечебные воздействия. Однако и в этих случаях такое суждение не может быть вынесено в одностороннем порядке. Традиционной формой вынесения такого суждения, сложившейся на протяжении десятков лет, является совместное обсуждение патологоанатомом и клиницистом всех данных историй болезни и патологоанатомического обследования, сопоставления их на специальных клинико-анатомических конференциях, лечебно-контрольных комиссиях, где детально и объективно анализируются все материалы, относящиеся к данному больному, в том числе — существо и причина ошибки диагностики и лечения, если они были сделаны.

В существующих определениях под врачебной ошибкой понимается «добросовестное заблуждение врача при выполнении им его профессиональных обязанностей». В этом определении обязательным его элементом является эпитет «добросовестный», т. е. предполагается, что врач сделал все, что требовал от него долг, он вложил в диагностику и лечение больного всю свою компетенцию, но это не оградило его от ошибки, установленной при вскрытии. Недобросовестное отношение, повлекшее за собой ошибку, квалифицируется иначе: это преступная ошибка или преступная небрежность. Опыт показывает, что самый высокий уровень профессиональной и научной компетенции не гарантирует полную безупречность диагностики, но только повышает степень такой гарантии. Краткость пребывания больного (запоздалая госпитализация), тяжесть его состояния резко ограничивают современные диагностические возможности, не всегда компенсируемые современной высокой медицинской техникой, использующей все достижения электроники, автоматики, радиоизотопов и др. Однако даже

при полноте использования всего могучего технического арсенала основным фактором все же является мышление врача, его способность анализа симптомов, получаемых при помощи всех методов обследования больного, и синтеза их; результатом синтеза и является четко сформулированный диагноз. Самый совершенный компьютер не может заменить это мышление. По мере совершенствования методических приемов повышаются требования к точности диагноза и к его формулировке. На службу такой диагностике поставлены в последнее десятилетие весьма совершенные методы исследования, а требования к точности ее, в частности, выдвигаются практикой хирургии сердца, сосудов, мозга и других органов. Особые требования при этом предъявляются специализированным лечебным учреждениям, предназначенным для лечения определенных болезней или болезней определенных органов.

Регистрация врачебной ошибки при вскрытии требует от прозектора, помимо специальной эрудиции, здравого и объективного учета всех данных клинического обследования больного, всей обстановки лечебного учреждения и всех деталей лечебно-диагностического процесса. Оценка правильности лечебных мероприятий, их соответствия характеру болезни и ее отдельных проявлений часто выходит за пределы компетенции прозектора и не может явиться его специальной задачей. Исключение представляют только явные и грубые, в частности — хирургические, ошибки, допущенные в лечении больного. Речь может идти либо от отсутствия показанных, либо от применения противопоказанных при данном заболевании методов лечения. Однако и здесь требуется от прозектора и специальная эрудиция, и осторожность критики, чтобы она не походила на одну из записей А. П. Чехова в записной книжке: «Больной умер от того, что ему вместо 15 капель валерианы дали 16». Медикаментозные мероприятия широко варьируют при одной и той же болезни в зависимости от ее формы, стадии, опыта врача в лечении данной болезни и применении данного препарата, да и самый ассортимент медикаментозных воздействий подвержен широкой изменчивости, так как меняется с течением времени оценка эффективности одного и того же медикамента. Во время клинико-анатомических конференций нередко развивались оживленные дискуссии между разными специалистами высокой врачебной компетенции вокруг применения какого-либо медикаментозного средства и общей системы лечения данного больного с высказываниями иногда разных точек зрения на один и тот же метод лечения.

Между тем именно мотивы преднамеренно неправильного лечения были основными в «деле врачей-убийц», а услужливые «эксперты» МГБ угодливо поддерживали версию о неправильном лечении, перекликавшуюся с цитированной записью Чехова в его записной книжке. В медицинских кругах бытует анекдотический эпизод, героем которого якобы был известный ученый-клиницист из Вены — профессор Эппингер. К профессору Эппингеру обратился на частном приеме один пациент, у которого Эппингер обнаружил чрезвычайно тяжелое заболевание. По долгу врача он предупредил больного о неизбежном роковом исходе болезни в течение года. Прошло несколько лет, и Эппингер случайно встретил этого пациента в полном здравии. Он был чрезвычайно удивлен своим неоправдавшимся прогнозом, расспросил больного, кто и чем его лечил и вылечил, и после разъяснения пациента изрек: «Вас неправильно лечили». Возможно, это — анекдот (хотя компетентные источники утверждают, что этот эпизод действительно был), но в описываемый мной период не было анекдота, который не мог бы быть воплощен в мрачную действительность, в криминальную версию о заведомо неправильном лечении.

Вскрытие трупов, посмертное исследование больного,— традиционная сторона деятельности патологоанатома, идущая из далекой древности. На вооружении патологоанатома в течение длительного периода истории медицины была только его наблюдательность, зоркость его глаз при определении природы болезненного процесса в соответствии со сложившимися представлениями о ней. Эти представления менялись и продолжают меняться непрерывно и в наше время по мере обогащения методов исследования, внесения в них достижений ряда смежных наук, особенно микробиологии, вирусологии, общей биологии, генетики, и по мере общего технического прогресса. Мощным оружием в руках патологоанатома стал микроскоп, позволяющий в наше время видеть детали составных клеточных элементов организма размером в несколько ангстремов (ангстрем — одна десятая миллимикрона, а микрон — тысячная часть миллиметра), т. е. различать даже молекулы, составляющие клетку. Вооружение микроскопом глаза патологоанатома безгранично расширило познание природы болезней, проникновение в существо структурных изменений, лежащих в ее основе. Точность определения истинной природы болезненного процесса, т. е. точность морфологической диагностики, безмерно выросла, благодаря микроскопу, занявшему та-

кое же, если не большее, место в технической оснащенности патологоанатома, как и секционный нож.

Внедрение микроскопической техники в повседневную работу патологоанатома резко расширило применение биопсий, как чрезвычайно важного приема для уточнения диагностики болезненного процесса у больного человека. Само название — биопсия — показывает, что речь идет о вырезывании кусочка живой ткани (bios — жизнь), доступной для ножа хирурга, из очага поражения у больного. Вырезанный кусочек ткани направляется патологоанатому для исследования его в микроскопе и определения существа болезненного процесса в этом кусочке. Так производятся биопсии болезненно измененных участков кожи, половых желез и органов мужчины и женщины, полостей рта, носа, уха, частиц опухолей разных органов, лимфатических узлов и т. д. Это делается в тех случаях, когда врачу не ясен характер поражения, а выяснение его необходимо для лечебных мероприятий. В последнее время иногда вместо вырезывания ножом кусочка ткани (хирургическая биопсия) производят насасывание ее шприцем (аспирационная биопсия), и таким образом удается получать материал для исследования и из внутренних органов (печень, селезенка, почки и др.). Исследование материалов диагностических биопсий, т. е. специально выполненных с диагностической целью, чрезвычайно важная задача, налагающая на патологоанатома большую ответственность. От его заключения, сформулированного в гистологическом диагнозе, зависит общий диагноз болезни и требуемых ею лечебных вмешательств. Так, например, в случаях наличия опухолевого узла в грудной железе женщины необходимо решить вопрос о доброкачественном или злокачественном характере этого узла. В первом случае достаточно удаления такого узла, во втором — необходима радикальная операция (удаление всей железы с мягкими тканями грудной клетки, близлежащих лимфатических узлов, а иногда и удалением яичников — гормональных стимуляторов злокачественной опухоли в грудной железе) с последующей химиотерапией и облучением области операции. Таким образом, от заключения патологоанатома зависит решение жизненно важного вопроса: достаточно ли ограничиться сравнительно безобидной и щадящей операцией или необходимо большое по объему хирургическое вмешательство, наносящее большой физический и моральный ущерб женщине. Сколько за этим в дальнейшем жизненных трагедий, разбитых семей в силу отказа мужа продолжать жизнь с «калекой».

Складывающиеся при этом жизненные ситуации в семье иногда принимают неожиданный характер. Однажды врач-гинеколог, ассистент клиники, принесла мне для исследования готовые препараты биопсии опухоли шейки матки, произведенной в другом лечебном учреждении. Исследовавший эти препараты патологоанатом этого учреждения (по-видимому, малоопытный) дал заключение о злокачественном характере процесса в биопсированном кусочке (рак). Больную направили для радикальной операции (удаление матки со всеми ее придатками) в гинекологическую клинику вместе с гистологическими препаратами, на основании исследования которых был поставлен диагноз рака. Больную подготовили к операции, накануне которой эти препараты были принесены мне для консультации. Не требовалось большого труда, чтобы убедиться в ошибочном диагнозе рака и отвергнуть его. У больной (молодой женщины) был совершенно доброкачественный процесс, для ликвидации которого достаточно было консервативного лечения; больная была назначена к выписке. Спустя несколько дней лечащая эту женщину врач пришла снова ко мне с просьбой дать письменное заключение по этим препаратам. На мой удивленный вопрос, зачем это сейчас понадобилось (разумеется, это заключение было дано), врач рассказала, что муж больной отказывается взять жену домой, настаивает на операции, грозя жалобой на клинику, которая выпускает без операции больную с угрожающей смертью болезнью — раком. Мне показалась подозрительной такая настойчивость мужа, и я посоветовал врачу постараться выяснить причину такой неожиданной реакции мужа: вместо радости от отведенной угрозы страшной болезни он настаивает на наличии ее и требует тяжелой операции. Через несколько дней врач сообщила мне о реальности моих подозрений. Оказалось, что муж (человек не очень высокой культуры и морали), не дожидаясь смерти жены от смертельной в его представлении болезни или от исхода тяжелой операции, позаботился о «преемнице» приговоренной к смерти жены, и «преемница» уже жила в его доме на положении новой жены. Создалась сложная бытовая и, в общем, драматическая ситуация, поводом для которой было ошибочное заключение по биопсии.

Один этот пример показывает, какую огромную ответственность несет патологоанатом при исследовании материала диагностической биопсии, когда за кусочком ткани — судьба человека, зависящая от эрудиции патологоанатома, его опыта и от сознания этой ответственности. Правильно

направить руку хирурга или удержать его от ненужной операции — частая и важная задача патологоанатома.

По существующим правилам все ткани и органы, удаленные у человека хирургическим путем, подлежат исследованию патологоанатома. Это делается для проверки правильности клинического диагноза, требовавшего хирургического вмешательства (опухоли органов, воспалительные процессы разной природы и др.). Даже такие частые объекты, как червеобразные отростки (аппендиксы), удаленные по поводу аппендицита, подвергаются гистологическому (микроскопическому) исследованию, которое хотя и изредка, но все же дает неожиданные результаты, наряду с банальными в подавляющем большинстве случаев. Так, иногда за клинической картиной аппендицита скрывается рак червеобразного отростка, требующий специального послеоперационного наблюдения за больным. Об одном грустном событии, явившемся результатом небрежного отношения хирурга к заключению прозектора по исследованному им удаленному аппендиксу и подчеркивающем всю огромную важность изучения операционного материала, расскажу. Однажды при исследовании присланного после операции аппендэктомии материала в нем не было обнаружено червеобразного отростка. Была обнаружена только жировая ткань с явлениями острого воспаления (по-видимому, брыжейка отростка). В заключении, посланном в хирургическое отделение, было обращено специальное внимание хирурга на это обстоятельство, но, как показали дальнейшие события, хирург не придал ему должного значения. Больная была выписана в положенный послеоперационный срок со справкой о том, что ей была произведена операция аппендэктомии (удаления отростка). Спустя 1,5 года эта больная снова поступила в хирургическую клинику с картиной разлитого гнойного перитонита (воспаления брюшины), от которого спасти ее было уже невозможно, она скончалась. При вскрытии было установлено, что источником гнойного перитонита было гнойное воспаление червеобразного отростка, оказавшегося на своем обычном месте (гнойный аппендицит). Стало очевидным, что при первой операции хирург ошибочно удалил вместо отростка связанные с ним ткани и, игнорируя заключение патологоанатома, больную выписал с соответствующей справкой. Когда спустя 1,5 года у больной снова развились явления аппендицита, то врачи, наблюдавшие больную на дому, были введены в заблуждение справкой о перенесенной операции аппендэктомии и наглядным следом последней в виде рубца на брюшной стенке, больная была вследствие это-

го поздно госпитализирована с роковым исходом. Виновный в этом трагическом событии врач понес моральное наказание, но к жизни жертву его небрежности оно, конечно, не вернуло.

Исследование материалов диагностических биопсий и лечебных операций занимает в работе патологоанатома не меньшее место, чем вскрытие трупов умерших. Патологоанатом держит в своих руках не только труп, но часто и судьбу живого человека. По личному опыту должен сказать, сколько мучительных переживаний нередко доставляет сознание ответственности за эту судьбу, особенно в тех случаях, когда в микроскопической картине биопсии нет ясности для категорического диагноза, и приходится мобилизовывать и всю свою эрудицию, и весь свой личный и литературный опыт, прибегать к консультации со своими коллегами для выяснения правильности суждения.

Я вынужден был осветить роль, значение и место патологоанатома в общей системе лечебной медицины. Это место и это значение далеко не исчерпываются моим описанием. За его пределами — огромная исследовательская работа. Но и из краткого освещения деятельности патологоанатома видно, насколько она сложна, многообразна и полна высокой ответственности. Именно поэтому она требует обширных знаний клинической патологии во всех ее областях, непрерывного накопления опыта. Можно утверждать, что ни в одной медицинской специальности не действует такая широкая система взаимных консультаций, к которой прибегают патологоанатомы в трудных случаях патологоанатомической диагностики.

Я уделил много места вопросам чисто медицинским потому, что ведь само «дело врачей» было не только политической, но и чисто медицинской проблемой в своем существе, находившейся в руках злонамеренных невежд и мерзавцев. Им недоступна была вся сложность объективного анализа и оценки действий врача. Да они и не стремились к такой объективности. Она им только мешала, как мешала на протяжении всей их деятельности по уничтожению многих представителей технической интеллигенции, выдающихся военных, ученых разных областей науки и вообще массы лучших представителей советского народа и Коммунистической партии.

ИНСТИТУТ ИМ. ТАРАСЕВИЧА. АРЕСТЫ МИКРОБИОЛОГОВ. ОБЩАЯ АТМОСФЕРА В ИНСТИТУТЕ. ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ НАУЧНЫХ КАДРОВ И МОИ ПЕРСПЕКТИВЫ.

Материалы и события, о которых я только что написал, относятся главным образом к моей деятельности клинического патологоанатома в большом лечебном учреждении. Отличной от этой обстановки была обстановка и содержание работы в Государственном контрольном институте противоинфекционных препаратов профессора Тарасевича. С этим институтом я был связан с 1947 года, сначала в качестве консультанта по патологической морфологии, а с 1951 года он стал, как я уже писал, местом моей основной службы. Этот институт — один из первых институтов молодого Советского государства. Он выкристаллизовался как институт чисто микробиологического профиля, в задачи которого входила апробация различных лечебных и профилактических противоинфекционных препаратов (противобактерийных сывороток и вакцин), прежде чем они вводились в практику здравоохранения. Изготовление лечебных и профилактических сывороток и вакцин — сложный технологический процесс, специализированный в зависимости от того инфекционного агента, против которого направлена соответствующая сыворотка или вакцина. Этим определяется большое многообразие действующих в медицине противоинфекционных препаратов. Самой древней является противооспенная вакцина Дженнера. Она получается из оспенного гнойного пузырька (пустулы) коровы, откуда и возникло общее название вакцины (vaccinia — коровья оспа). Это было еще в домикробиологическую эру, открытую Пастером, подарившим миру антирабическую вакцину (вакцину против бешенства). Бурное развитие микробиологии во второй половине XIX века, продолжающееся до настоящего времени, ознаменовалось открытием инфекционных возбудителей многих болезней (туберкулез, тиф, дифтерия, пневмония, гнойные инфекции и др.). Вслед за тем были открыты вирусы (это уже XX век) и их роль в возникновении ряда болезней (корь, грипп, энцефалит, полиомиелит и многие другие болезни). Совершенно естественным было стремление микробиологов и вирусологов, следуя общему принципу вакцинации, т. е. предохранительных прививок человеку ослабленных возбудителей болезни, создавать вакцины для выработки у него иммунитета против соответствующего вирулентного (патогенного) возбудителя. Другим направлением было

введение человеку сыворотки крови животного, которого заражали определенным инфекционным агентом, чтобы вызвать у него образование и поступление в кровь антител против этого агента и потом вводить эти готовые антитела человеку. По мере развития бактериологии, вирусологии и иммунологии в лабораториях и институтах всего мира происходила интенсивная работа по получению профилактических и лечебных вакцин и сывороток. Непрерывным потоком шли предложения о новых противоинфекционных препаратах и усовершенствованных новыми методами старых, уже давно введенных в практику. Даже древняя вакцина — противооспенная — и та подвергается непрерывному усовершенствованию с улучшением всех ее свойств. Одним из последних достижений в этой области было получение предохранительной вакцины против полиомиелита — грозного и тяжелого по последствиям заболевания. Требовалась объективная и строгая проверка всех выпускаемых противоинфекционных препаратов, чтобы не пустить в массовую практику здравоохранения тех, которые способны принести вред человеку, вместо основного требования к ним — предохранить его от инфекционной болезни. Такими требованиями были два: 1) препарат должен обладать иммуногенными свойствами, т. е. после его введения в организм создавать в нем иммунитет (невосприимчивость) к соответствующему инфекционному заболеванию; 2) он должен быть безвредным для организма, для чего он должен утратить вирулентные свойства соответствующего инфекционного возбудителя и сохранить только иммуногенные, что достигается специальной его обработкой (атенуированием). Необходим был тщательный контроль этих качеств препарата, так как история вакцинации знает печальные и даже трагические события, вызванные применением препарата, не обладающего этими качествами.

Наряду с биологическими противоинфекционными препаратами, где в качестве исходного материала для приготовления их пользовались живыми возбудителями болезни, обработанными должным образом или, как говорят, атенуированными для снятия с них их болезнетворных свойств, в последние десятилетия бурно развивается химиотерапия инфекционных болезней (и рака), эра которой открыта великим микробиологом П. Эрлихом. В лечебное дело каждый год поступают новые химические препараты против различных болезней. Контроль всех поступающих в здравоохранение лечебных и профилактических противоинфекционных препаратов, изготовляемых в Советском Союзе,

осуществляет Контрольный институт им. Тарасевича, находящийся в системе Министерства здравоохранения СССР. Контролируется качество не только вновь предлагаемых препаратов, но и каждая серия их, изготовляемая по уже апробированной технологии.

Большой вклад в развитие микробиологии и в разработку методов приготовления вакцин и сывороток внесли отечественные ученые, и многие из них поплатились за это жизнью. Не следует думать, что они заражались в процессе работы с активными вирулентными бактерийными или вирусными возбудителями болезни, которые были объектами их творческой деятельности, хотя такие лабораторные заражения иногда имели место. Они и не производили на себе самих опасные эксперименты для проверки некоторых своих научных предположений и гипотез. История науки знает и таких героев. Наши ученые пали жертвой активной вирулентной деятельности органов ГПУ — МГБ, временами косившей советскую науку с силой и эффективностью, которой могла бы позавидовать самая тяжелая и массовая инфекция. Характерной была и избирательность объектов их активности в разные периоды, как и при некоторых инфекционных эпидемических болезнях. Эта избирательность коснулась и микробиологов, и первой ее жертвой в хронологическом порядке надо назвать Институт им. Мечникова во главе с его руководителем, крупным ученым микробиологом С. В. Коршуном. В 1930 году он и ряд сотрудников этого института были арестованы. Некоторые из них вышли из заключения, С. В. Коршун не вернулся, погиб там. Следующая большая группа крупнейших микробиологов была репрессирована в годы массовых репрессий (1937—1939 годы). В числе их — замечательные ученые, внесшие большой вклад в науку, в ее организацию, в подготовку кадров микробиологов, в борьбу с инфекциями,— Барыкин, Кричевский, Любарский, Гартох, Великанов и другие. Все они были обвинены в антисоветской деятельности и вредительстве, каждый в своей специальной научной и практической области. Все они, разумеется, в этом признались и понесли соответствующее наказание — расстрел. Барыкин — автор вакцины против брюшного тифа — признал вредительское назначение этой вакцины (она до сих пор изготовляется по его методу и имеет название автора). Кричевский был основателем и директором научно-исследовательского Института микробиологии с большой практической деятельностью и школой подготовки высококвалифицированных кадров микробиологов. Он признал, что

организовал институт со специальной вредительской целью в области подготовки кадров микробиологов. Любарский, крупнейший специалист в области микробиологии туберкулеза, по-видимому, решил, что чем абсурднее будут его показания и чем шире круг вовлеченных в преступную деятельность микробиологов, тем очевиднее будет вся нелепость обвинения, и оно будет отвергнуто. Но его расчет был «без хозяина», т. е. ГПУ, который любую нелепость принимал с охотой, лишь бы она давала повод для расстрела. Аналогичные по общему характеру были обвинения в адрес других микробиологов, и все приговоры выносились без привлечения научной экспертизы для их обоснования. Вместо этого в деле арестованных микробиологов были клеветнические доносы некоторых их бездарных коллег *.

В числе репрессированных были также крупные ученые Л. А. Зильбер и П. Ф. Здродовский, но они работали много лет в заключении под наблюдением сотрудника ОГПУ, были, в конце концов, освобождены и скончались в почете и уважении. Аресты бактериологов имели массовый характер и были произведены во многих городах Советского Союза. Эти аресты были, по существу, разгромом советской микробиологии накануне нависшей уже войны с ее угрозой применения бактериологического оружия, разработка которого и средств защиты от него энергично велась в разных странах. Кому было на руку уничтожение микробиологической элиты в такое время, как, кому было на руку уничтожение военной элиты и массы ученых, специалистов разных областей — остается областью догадок и предположений, связанных с именем Сталина.

Некоторые эпизоды из арестов микробиологов 1937 года воспринимались бы как комические, если бы это не был комизм сталинской эпохи, вплетенный в общий трагедийный фон и только усиливавший последний. Я был свидетелем одного из таких эпизодов, и не могу удержаться, чтобы не рассказать о нем, как о штрихе времени.

В те предшествовавшие годы я был тесно связан с Медгизом и как автор, и как редактор. Директором издательства был твердый и опытный хозяин Д. Л. Вейс. Главным редактором был С. Ю. Вейнберг, влюбленный в издательское и библиотечное дело, умный, энергичный, красивый человек.

* При посмертиой реабилитацин осужденых микробиологов прокуратурой были иаправлеиы в Институт нм. Тарасевича для иаучиой экспертизы матерналы дела, так как приговор, о чем указывалось в сопроводительном пнсьме, был выиесеи без иаучиой экспертизы. Мне, как сотрудиику института, этн матерналы стали доступны для ознакомления.

Оба они пали жертвой репрессий и канули в вечность, каждый, вероятно, по индивидуальным показаниям, не связанным с их издательской деятельностью. После их ареста было назначено новое руководство Медгиза. Руководителем издательства стала невежественная в вопросах медицины, с крайне низкой общей культурой средних лет женщина. Фамилию ее я не помню, да это и не имеет значения: она типовой образ той эпохи.

В это время поступили из типографии гранки руководства по микробиологии, написанного профессором Ивановского медицинского института Елисеевым. Гранки были посланы ему для авторской правки с обычным указанием о необходимости срочного возврата с авторской визой. Прошел положенный срок — гранки не возвращаются. Елисееву посылается настойчивое требование возврата гранок, опять без всякой реакции на это требование. На третье телеграфное требование гранки вернулись без авторской правки в сопровождении краткого сообщения жены профессора о том, что «профессор Елисеев болен». Диагноз болезни, охватившей многих бактериологов, стал чрезвычайно подозрительным, а в случае его подтверждения печатанье книги должно быть немедленно прекращено, само имя репрессированного подлежит забвению. Но как получить подтверждение? Все каналы для этого закрыты; самый факт репрессии может оказаться ложным слухом, распространение которого грозит наказанием, да и о действительном факте можно говорить только шепотом, чтобы не омрачать общий жизнерадостный розовый фон «завидной жизни Борисовых людей». Новый главный редактор нашла выход из положения в законспирированном, по ее убеждению, тексте телеграммы, посланной в адрес директора Ивановского медицинского института: «Сообщите, болен ли Елисеев, или что еще». Ответа не последовало, но по «агентурным» сведениям оказалось роковое и безысходное «что еще». Профессор Елисеев канул навсегда в недрах ГПУ — МГБ, а в узком круге работников Медгиза и связанных с ним научных работников формула «что еще» приобрела символическое употребление.

В Контрольном институте на меня было возложено участие в контроле качества вакцин и сывороток методами экспериментальной морфологии. Животным (морским свинкам, кроликам, белым крысам и мышам, а в ряде случаев, как при испытании вакцины против полиомиелита — обезьянам) вводился испытуемый препарат, и по морфологическому исследованию органов животных определялось

наличие или отсутствие в них болезненных изменений, как показатель степени безвредности препарата. Определялась также его способность вызывать реакции иммунитета по специальным морфологическим показателям его развития.

Во главе института, его директором, был С. И. Диденко. Это был старый (по стажу) член партии, носитель ее лучших традиций, прошедший большую жизненную школу. Он был выходцем из крестьянской среды. Первая мировая война застала С. И. Диденко в Черноморском флоте. Он окончил военно-фельдшерское училище и был фельдшером на минном крейсере «Прут». После окончания гражданской войны он получил высшее медицинское образование, стал врачом и специализировался в области микробиологии, и уже при мне получил после защиты диссертации ученую степень кандидата медицинских наук. Партийная организация, довольно многочисленная (около 20 человек), состояла преимущественно из женщин в соответствии с преобладающим составом сотрудников института. В большинстве своем — это был типичный продукт сталинской эпохи. Это была интеллигенция сталинской формации, т. е. узкие специалисты (некоторые с кандидатскими степенями), мало интеллигентные в обычном понимании этого слова; роботы, безоговорочно принимавшие все изуверство сталинского режима как высшее достижение коммунизма. Они без критики приняли бы фашизм, если бы им сказали, что это и есть коммунизм. Справедливости ради следует сказать, что в дальнейшем, особенно после XX съезда партии, многие из них пересмотрели критически свои взгляды, как бы прозрели, что они открыто признавали.

Научным результатом моей работы в Контрольном институте им. Тарасевича было объединение морфологических процессов в организме животных после введения им лечебных вакцин для создания у них иммунитета. Объединение этих сложных процессов и их клеточного состава было сформулировано в понятии об иммуноморфологии как важнейший раздел общего учения об иммунитете. Учение об иммуноморфологии в общей и частной патологии инфекционных и некоторых других болезней получило дальнейшее развитие и продолжение в трудах многих последователей, а я получил признание пионера этого учения не только у нас, но и за рубежом.

В это партийное окружение попал и я после перехода осенью 1951 года на основную работу в Контрольный институт. Я быстро убедился в полярности сил в этой организации, за исключением небольшого виляющего «болота».

Напряженная обстановка в макромире, естественно, распространилась и на мой микромир. Осенью 1952 года по Контрольному институту им. Тарасевича поползли «зловещие» слухи, источником которых было руководство партийной организации: Рапопорт подписался на абонемент в Государственный еврейский театр на осенне-зимний сезон 1952/1953 года. Это «страшное» известие передавалось шепотом из уст в уста и воспринималось с таким же ужасом, как если бы Рапопорт зарезал ребеночка. По существу, в подписке на абонемент спектаклей в Еврейский театр не было чего-либо криминального и недозволенного. Объявление о продаже этих абонементов распространялось, как я потом узнал, открыто, да и не могло распространяться иначе. Необходимость выпуска таких абонементов была вызвана целью усилить резко упавшую посещаемость театра. Евреи боялись близости к носителю еврейской духовной культуры — театру, над которым к тому же встал ужас ареста ведущего артиста театра Зускина, неясность его судьбы (он был казнен в августе 1952 года), ужас злодейского убийства души театра — С. М. Михоэлса. Внутренние пружины этого злодеяния и его исполнители хотя и остались нераскрытыми и окруженными мистическим страхом, но ощущение общности этой мистики с той, которая окружала здание на площади Дзержинского (Лубянки), было всеобщим. Приобщение к еврейской культуре через театр стало признаком еврейского буржуазного национализма, во всяком случае — поводом для подозрения в нем, что было равносильно подозрению в антисоветской, контрреволюционной сущности, от которой один шаг к активному предательству, измене Родине, шпионской деятельности и т. д. Нет ничего удивительного в том, что евреи Москвы в своей массе стали бояться театра, спектакли в нем проходили при практически пустом зале. Таким образом, с одной стороны, театр продолжал носить название государственного, формально он существовал, но фактически был «вещью в себе». Его избегал народ, для которого он существовал; более того — он боялся его и даже его тени, которая могла пасть на посетителя. Бытовало оправданное или неоправданное, но характерное для настроения эпохи, представление, что за посетителями ведется слежка, что каждый берется на учет «органами», как потенциальный (или скрытый) враг Советского государства. Вот и я попал в число подозреваемых бдительностью партийной организации, членом которой я состоял. Для этого достаточно было одного слуха о приобретении мной абонемента в одиозный, хотя и государ-

ственный театр. У руководителей партийной организации хватило все же осторожности не проверять этот слух беседой со мной (хотя меня о нем информировала секретарь партийной организации) — это было бы уже слишком откровенной антисемитской самодеятельностью. Поэтому реакция ограничилась только злобным шипением. Должен заметить, что и слух был необоснованным — никакого абонемента я не приобретал, но отнюдь не «страха ради иудейского». Я почти не знаю еврейского языка, поэтому редко посещал Еврейский театр. Я был только на нескольких спектаклях, содержание которых я знал («Путешествие Вениамина III», «Король Лир» и др.) и мог, как и многие русские, любоваться талантливой игрой замечательных актеров — Михоэлса, Зускина и других. Поэтому, не имея постоянной связи с театром, я не знал о выпущенных абонементах, целью которых была материальная поддержка труппы театра, находящегося накануне финансового краха, иначе бы я обязательно его купил.

Интерес к моей личности за пределами института проявился осенью 1952 года появлением комиссии (формально, кажется, Московского комитета КПСС) с специальным заданием обследования состояния и состава научных кадров. Но вскоре выяснилось, что в действительности их интересовал только один «кадр»— я, остальные были только фиговым прикрытием основного интереса. В чем он состоял, я быстро выяснил из беседы со мной руководителя этой комиссии. Остальных членов ее, кажется, никто не видел; по-видимому, это были только статисты для видимости комиссии. Руководитель был мужчина лет 45—50, умеренно-интеллигентный, по крайней мере, во владении русской речью, в полувоенной форме — в военной гимнастерке без погон; его можно было принять за демобилизованного военного. Я должен изложить некоторые детали, чтобы было более понятным краткое содержание этой беседы.

Обследователь поинтересовался персональным составом моей лаборатории и, по-видимому, был удовлетворен его национальной принадлежностью. Вся моя лаборатория в ту пору состояла, кроме меня, из двух сотрудников: младшего научного сотрудника Татьяны Васильевны и лаборанта Марии Ивановны. Т. В. Мигулина была моей студенткой на кафедре гистологии Московского университета. Она далеко не блистала способностями для научной работы, что подтвердилось всей ее последующей деятельностью. По существу, она была на уровне квалифицированного лаборанта

и таковым оставалась всю жизнь. Формально она была единственный научный кадр в моей лаборатории.

Обследовавший лабораторию товарищ поинтересовался содержанием работы лаборатории, но не совсем понял, для чего нужны морфологические исследования в контроле качества сывороток и вакцин. Пришлось ему разъяснить. Далее, он проявил особый интерес к подготовке кадров в моей лаборатории, хотя таким кадром была одна Т. В. М. (не считая аспирантки В. Имшенецкой, к которой придется еще вернуться), и спросил, какие у меня установки в этом отношении. Я решил проявить максимальное понимание в свете общих задач того периода и сказал ему, что я постараюсь подготовить в кратчайший срок, в течение полугода, Т. В. М. для заведования лабораторией, чтобы после моего увольнения лаборатория не осталась без руководителя. Этот план настолько отвечал его собственным установкам, что он забыл, что автор этого плана становится его же жертвой, и одобрительно воскликнул: «Это правильно!» А может быть, он и не забыл, а считал нормальным самопожертвование еврея во имя общей идеи. Во всяком случае, я поймал его на крючок, обнаживший цель комиссии, о чем с иронической горечью рассказал С. И. Диденко, разделившему горечь, но не иронию.

СГУЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЫ 1951—1952 ГОДОВ. ПЕРВЫЕ АРЕСТЫ ПРОФЕССОРОВ-МЕДИКОВ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ 13 ЯНВАРЯ 1953 ГОДА. РЕАКЦИЯ ЗА РУБЕЖОМ И В СССР. МИТИНГИ. ВЗРЫВ ОЗЛОБЛЕНИЯ. ОЖИДАЕМЫЕ РЕПРЕССИИ. ПАНИЧЕСКИЙ СТРАХ ПЕРЕД МЕДИЦИНОЙ.

Надвигался 1952 год. Сгущение политической и общественной атмосферы нарастало удушающими темпами. Чувство тревоги и ожидания чего-то неотвратимого достигало временами мистической силы, поддерживаемое реальными фактами, один за другим наслаивающимися на общий фон. В декабре 1950 года арестован профессор Я. Г. Этингер и его жена. Их аресту предшествовало таинственное исчезновение их приемного сына — Яши, студента Московского университета. Он утром ушел в университет и бесследно исчез. Я. Г. Этингер строил разные предположения насчет его исчезновения. Пользуясь своими личными связями с крупными работниками Министерства госбезопасности

(МГБ), которых он лечил, он обращался к ним за помощью в розысках пропавшего сына, который, может быть, пал жертвой преступления со стороны каких-либо его товарищей, завлекших его для этого за город. Его заверили именитые пациенты из МГБ, что принимаются все меры к розыску пропавшего, но пока они безрезультатны. Как и следовало ожидать, он в это время находился в заключении МГБ, будучи арестован на улице по дороге в университет. На языке МГБ этот прием носил название «секретное снятие», цель которого в данном случае совершенно неясна, если исключить заведомое садистское стремление доставить дополнительные волнения профессору. Впрочем, пути МГБ неисповедимы. Накануне ареста Я. Г. Этингера я его навестил, настроение было чрезвычайно подавленное у этого всегда самодовольного человека. В последующие дни я неоднократно звонил ему по телефону, чтобы узнать, нет ли сведений об Яше, но на звонки никто не откликался. Нетрудно было догадаться, что за этим молчанием скрывается «что еще», но проверка догадки не заставила долго ждать. Канули в трагическую неизвестность также писатели, поэты, литераторы, артисты, ученые — члены еврейского антифашистского комитета. Та же судьба постигла академика Л. С. Штерн. Летом 1952 года (а некоторые в 1951 году) из кремлевской больницы были изгнаны без объяснения причин многие выдающиеся клиницисты, работавшие там много лет в качестве консультантов, лечившие выдающихся деятелей Советского государства. В их числе — М. С. Вовси, В. Н. Виноградов. Арестованы бывший начальник санупра Кремля, т. е. кремлевской больницы А. А. Бусалов, профессор П. И. Егоров, профессор Я. Г. Этингер, врач С. Е. Карпай. Отстранены от работы академик А. И. Абрикосов и его жена Ф. Д. Абрикосова-Вульф (патологоанатом) и многие другие.

Я не беру на себя функции и роль историка «дела врачей», не изучая специального документального материала, был вдалеке от того, что происходило в центре деятельности «врачей-убийц» — в кремлевской больнице. Могу лишь сообщить только о событиях, сведения о которых доходили из случайных источников, а нескромный интерес к ним в ту пору (да и позднее) мог иметь тяжелые последствия. Однако и у близких к этим событиям сотрудников этой больницы, с которыми у меня были случайные встречи, была только растерянность, а не осведомленность о причинах этих грозных событий, их существе, иногда некоторые из них с большой осторожностью делились со мной, отмечая полное непонимание происходящего.

С опозданием я узнал о том, что из числа патологоанатомов первой жертвой, попавшей под тяжелый удар (арестован), был рядовой сотрудник патологоанатомического отделения кремлевской больницы А. Н. Федоров. После освобождения он вскоре исчез из моего поля зрения, и я, к сожалению, ничего не могу сообщить ни о его дальнейшей жизни, ни об инкриминированных ему обвинениях (вероятно, были стереотипы, и он, по-видимому, не был информирован о том, чем вызван интерес к некоторым сторонам его деятельности в больнице).

Мелкий, но характерный штрих того периода. Он касается моей старшей дочери — Ноэми (Ляля), окончившей летом 1952 года 2-й Московский медицинский институт. При распределении оканчивающих на работу ей дали назначение в распоряжении МГБ на Сахалин, т. е. практически обслуживать концентрационный лагерь. Назначение она приняла безропотно, оценивая ситуацию. Я понимал, что в этом назначении, которое может выдержать здоровый мужчина, а не слабая девушка, сыграла роль личность отца, т. е. моя, и решил изложить свою оценку зам. министра здравоохранения А. Н. Шабанову. Тот с ней, по-видимому, согласился, неожиданно вырвавшимся восклицанием: «Да, это уже чересчур!» Назначение было заменено направлением в Великие Луки, которое начальник Управления кадров Минздрава изменил на Торопец, куда она и отправилась работать.

Наступила глубокая осень, последняя осень сталинской эпохи. События приближались к их кульминационному пункту. Из уст в уста передаются слухи один страшнее другого. Органами МГБ раскрыт «еврейский» заговор на Московском автомобильном заводе. Произведены массовые аресты, внесшие опустошение в руководящий инженерный состав. Попытки директора завода Лихачева, чье имя носит сейчас завод, вмешаться в эту акцию остались тщетными. Раскрыты «еврейские» заговоры в Московском метрополитене и другие. Поползли по Москве зловещие слухи, проверка которых была сопряжена с большим риском. Говорят, что арестованы профессора М. С. Вовси, Б. Б. Коган, В. Н. Виноградов, А. И. Фельдман, но как проверить эти слухи? Нельзя проявлять активного интереса к ним и даже произносить интересующие вас фамилии — это опасно. Надо делать вид, что ничего не произошло. Но постепенно приходило подтверждение слухов разными путями. Сын В. Н. Виноградова — В. В. Виноградов (теперь профессор-хирург) был ассистентом А. Н. Бакулева, клиника которого

помещалась в 1-й Градской больнице. Однажды он пришел в прозектуру по какому-то делу, вид у него был убитый; я осторожно спросил: «Что с отцом?» Он ответил кратко: «Плохо». Все стало ясно. Количество арестованных профессоров-медиков нарастало (В. Х. Василенко, А. М. Гринштейн, его жена профессор Попова, Б. С. Преображенский, М. Н. Егоров и многие другие). Медицинский мир не только подавлен, он раздавлен. Никто не понимал в чем дело, но ясно было, что речь идет о «раскрытии» обширного заговора медицинской верхушки, и каждый еще находящийся на свободе член этой верхушки ждал своей участи. Я помню встречу наступающего Нового, 1953 года в кругу близких друзей. Настроение было далеко не праздничное, никто не ждал от наступающего года ничего хорошего и, конечно, не думал, что этот год станет годом освобождения. Я поднял тост за свободу, в ее банальном, обывательском, а не философском смысле.

Наступил памятный день 13 января 1953 года. Наконец грянул гром, и все прояснилось из сообщения ТАСС в отделе хроники, текст которого я привожу.

«1953, 13 января. Хроника.

Арест группы врачей-вредителей.

Некоторое время тому назад органами госбезопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью, путем вредительского лечения, сокращать жизнь активным деятелям Советского Союза.

В числе участников этой террористической группы оказались: профессор Вовси М. С., врач-терапевт; профессор Виноградов В. Н., врач-терапевт; профессор Коган М. Б., врач-терапевт; профессор Коган Б. Б., врач-терапевт; профессор Егоров П. И., врач-терапевт; профессор Фельдман А. И., врач-отоларинголог; профессор Этингер Я. Г., врач-терапевт; профессор Гринштейн А. М., врач-невропатолог; Майоров Г. И., врач-терапевт.

Документальными данными, исследованиями, заключениями медицинских экспертов и признаниями арестованных установлено, что преступники, являясь скрытыми врагами народа, осуществляли вредительское лечение больных и подрывали их здоровье.

Следствием установлено, что участники террористической группы, используя свое положение врачей и злоупотребляя доверием больных, преднамеренно, злодейски подрывали здоровье последних, умышленно игнорировали данные объективного обследования больных, ставили им неправильные диагнозы, не соответствующие действитель-

ному характеру их заболевания, а затем неправильным лечением губили их.

Преступники признались, что они, воспользовавшись болезнью товарища А. А. Жданова, неправильно диагностировали его заболевание, скрыв имевшийся у него инфаркт миокарда, назначили противопоказанный этому тяжелому заболеванию режим и тем самым умертвили товарища А. А. Жданова. Следствием установлено, что преступники также сократили жизнь товарища А. С. Щербакова, неправильно применяли при его лечении сильнодействующие лекарственные средства, установили пагубный для него режим и довели его таким путем до смерти.

Врачи-преступники старались в первую очередь подорвать здоровье советских руководящих военных кадров, вывести их из строя и ослабить оборону страны. Они старались вывести из строя маршала Василевского, маршала Говорова, маршала Конева, генерала армии Штеменко, адмирала Левченко и др. (Массовый расстрел крупных советских военачальников в 1937 году не ослабил оборону страны! — *Я. Р.)* Однако арест расстроил их злодейские планы и преступникам не удалось добиться своей цели.

Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие извергами человеческого рода, растоптавшие священное знамя науки и осквернившие честь деятелей науки, состояли в наемных агентах у иностранной разведки. Большинство участников террористической группы (Вовси, Коган, Фельдман, Гринштейн, Этингер и др.) были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт», созданной американской разведкой якобы для оказания международной помощи евреям в других странах. На самом же деле эта организация проводит под руководством американской разведки широкую шпионскую террористическую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе. Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директиву «об истреблении руководящих кадров СССР» из США от организации «Джойнт» через врача в Москве Шимелиовича и известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса. Другие участники террористической группы (Виноградов, Коган М. Б., Егоров) оказались давнишними агентами английской разведки.

Следствие будет закончено в ближайшее время (ТАСС)».

Это ошеломляющее известие нормальный человеческий разум не мог вместить. Особенно это относилось к разуму людей, близко знавших лиц, перечисленных в сообщении ТАСС. Это — миролюбивые ученые и врачи, носители высшей гуманности медицинской профессии, преданные ей душой и телом, посвятившие служению ей всю свою жизнь, в подавляющем большинстве далекие от политики. Я хорошо знал всех их, со многими меня связывала дружба на протяжении многих десятилетий. Надо было иметь слишком затуманенный предыдущими процессами мозг, начиная с Шахтинского дела, процесса Промпартии, чтобы принять на веру текст сообщения и осмыслить его. Как говорили, лучше всего выразил свое отношение к этому сообщению диктор и обозреватель английского радио. Передав по радио информацию о раскрытии в Советском Союзе заговора крупнейших ученых-медиков, умерщвляющих своих пациентов, он комментировал это сообщение наиболее вероятной реакцией любого англичанина, если бы он услышал по радио сообщение о том, что король Георг умер не от болезни в глубокой старости, а был умерщвлен своим лечащим врачом — известным ученым. Англичанин воскликнул бы: «Произошло ужасное несчастье: к микрофону пробрался сумасшедший».

О реакции общественного мнения и государственных деятелей зарубежного мира сведения поступали с трудом (каналы для этого были перекрыты) и были весьма скудными. Но и та информация, которая доходила до запечатанных ушей советского гражданина, свидетельствовала, что эта реакция была весьма активной в попытке повлиять на здравый смысл советских руководителей или пробудить его. По радио передавали выступление тогдашнего президента США Д. Эйзенхауэра, командовавшего войсками союзных армий во 2-й мировой войне, одной из самых популярных личностей послевоенного мира. Он заявил в категорических выражениях, что поручил со всей тщательностью выяснить, была ли какая-нибудь связь у арестованных советских ученых-медиков с американскими разведывательными органами, и заверил словом президента, что даже имена этих «американских шпионов» этим органам не были известны и никаких поручений от этих органов они никогда не получали. Аналогичный смысл и аналогичную категоричность имело заявление английского выдающегося деятеля — У. Черчилля и других государственных деятелей Великобритании. Бурную активность проявлял Израиль, пытаясь защитить своих соплеменников от кровавого навета, перед которым бледнеет «дело Бейлиса». Не зря «дело врачей»

называли «делом Бейлиса атомного века». Международная ассоциация юристов-демократов, всегда занимавшая активную просоветскую позицию, обратилась с требованием участия ее представителей в суде над «убийцами в белых халатах», в чем ей было отказано. Высказывались в резко критической форме и многие до того просоветски настроенные видные представители зарубежной интеллигенции, и можно утверждать, что «дело врачей» сыграло немалую роль в критическом осмысливании этой интеллигенцией многих основ советского строя сталинской эпохи. Ведь удалось же Сталину околпачить даже такого проницательного и умного писателя («стреляного воробья», по его собственной характеристике), как Л. Фейхтвангер, посетившего Советский Союз в памятном 1937 году и унесшего самые светлые впечатления о Сталине. Он отразил их в своей книге «Москва, 1937 год». Нужен был исключительно сильный раздражитель в виде «дела врачей» для прозрения идеалистов, ослепленных легендой о Сталине и о советском рае, созданном им.

Авторы сценария под названием «Дело врачей, или изверги рода человеческого», конечно, не знали принципов классической трагедии в древней драматургии. Но инстинкт подсказал им необходимость противопоставления света и тьмы в их инсценировке. Тьмой была коллекция невиданных зверей, обряженных в белые халаты и удостоенных высоких научных степеней и званий, но выходцев из глубинных тайников человеческой мерзости. Равный им по масштабу светлый антипод должен был быть на уровне пречистой богородицы или по меньшей мере — Жанны Д'Арк. Такой светлый образ нашелся. Это была некая Лидия Федосеевна Тимошук, рядовой врач кремлевской больницы, работавшая в кабинете электрокардиографии. По совместительству с светлым образом преподобной богородицы она была секретным сотрудником (сокращенно — сексотом) органов госбезопасности. Они имелись в каждом учреждении. Это были секретные доносчики обо всём и о каждом, как правило — изобретатели фактов. По собственной ли инициативе или по подсказке хозяев эта «богородица» со всей своей профессиональной компетенцией куриного уровня открыла наличие заведомых искажений в медицинских заключениях крупных профессоров, консультантов больницы, разоблачила их сознательную преступную основу и этим раскрыла глаза органов госбезопасности на существование ужасного заговора.

Открытое всему миру известие о ее «благородной» роли вызвало в Советском Союзе буквально взрыв восторга

и восхищения. Пресса задыхалась и захлебывалась словесными выражениями этого восторга. Правительственные поэты воспевали ее подвиг в стихах. Это было почти религиозное преклонение перед этой «великой дочерью русского народа», как ее в ту пору величали в печати. Ее сравнивали с Жанной Д'Арк, она — спасительница родины от заклятых врагов. Её заслуги были отмечены правительством присуждением ей 20 января 1953 года высшей награды — ордена Ленина за помощь в разоблачении «врачей-убийц».

Нет ничего удивительного в том, что ослепленное и оглушенное тем же сталинским дурманом население Советского Союза в своем большинстве приняло бесконтрольно, на веру, сообщение ТАСС о «врачах-извергах». Оно привыкло к «острым блюдам», некоторые даже находили в них вкус и с ажиотажем встречали каждое новое «острое блюдо». А тут было преподнесено такое, перед которым казались пресными все предыдущие блюда. Такой детектив не могло бы создать самое изощренное воображение. Здравый смысл далеко не у всех обитателей Советского Союза видел в этом сообщении не истинное событие, а очередную «Сказку Крыленко». Так называли выступления Н. Крыленко *, видного партийного деятеля первых лет революции, в качестве прокурора ряда инсценированных в 30-х годах судебных процессов, в результате которых были расстреляны многие невинные люди, среди них многие государственные и партийные деятели.

Очень многие, в том числе и некоторые медицинские работники, бесконтрольно приняли на веру содержание сообщения от 13 января. Реакция была двойная: дикое озлобление против извергов человеческого рода (другого названия для них не могло быть) и панический ужас перед «белыми халатами», в каждом носителе которого видели потенциального, если уже не действующего убийцу. Никогда не забуду перекошенного от злобы и ненависти лица моего лаборанта М. И. С., процедившей сквозь стиснутые злобой зубы: «Проклятые интеллигенты, кувалдой бы их, кувалдой по черепу». Можно было не сомневаться, что если бы ей дали в руки кувалду, то эта, в общем, хотя и не очень добрая, но и не кровожадная, женщина воспользовалась бы ею. Во всех учреждениях — стихийные и организованные митинги с требованиями самой суровой казни для преступников, и среди участников митингов многие предлагали себя в па-

* Н. Крыленко впоследствии был расстрелян, реабилитирован в 1988 году.

лачи. Предлагали себя для этой цели и представители медицинской профессии, врачи и даже профессора, то ли действительно оболваненные и наказанные богом лишением разума, то ли подчеркивавшие этим свое отмежевание от собратьев по профессии, зверских преступников. Страсти разжигала и советская печать, клеймившая в исступленных от заказанного гнева статьях извергов рода человеческого.

Советская пресса буквально неистовствовала в злобном словоизвержении. Это была самая разнузданная черносотенная пропаганда. Общий тон и направление дала ей центральная официальная пресса. «Известия» в передовой статье 13 января, т. е. подготовленной к опубликованию до сообщения МГБ, повторяя в начале общее содержание этого сообщения, писали: «Действия извергов направлялись иностранными разведками. Большинство продали тело и душу филиалу американской разведки — международной еврейской буржуазно-националистической организации „Джойнт"... Полностью разоблачено отвратительное лицо этой грязной шпионской сионистской организации. Установлено, что профессиональные шпионы и убийцы из „Джойнт" использовали в качестве своих агентов растленных еврейских буржуазных националистов, которые проводят под руководством американской разведки широкую шпионскую, террористическую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе. Именно от этой международной еврейской буржуазно-националистической организации, созданной американской разведкой, получил изверг Вовси директиву об истреблении руководящих кадров в СССР через врача в Москве Шимелиовича и известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса. Другие участники террористической группы (Виноградов, Коган М., Егоров) оказались давнишними агентами английской разведки». Попутно эта статья напоминает об умерщвлении Куйбышева, Менжинского, Горького врачами Левиным и Плетневым.

В числе извергов названы два Когана: Б. Б. и М. Б. Оба они родные братья, но один из них — Б. Б.— был американским шпионом, а другой — М. Б.— английским. По-видимому, шпионаж был семейной профессией Коганов, обслуживавшей только лишь две иностранных разведки ввиду численного недостатка братьев.

Интересна одна деталь, не отображенная в сообщении МГБ: Коган М. Б., тоже профессор-медик, скончался от рака (потребовавшего ампутации руки) за несколько лет до того, как стал шпионом. В этой роли он мог действовать

только в загробном мире, что, однако, не смущало следственный аппарат МГБ, принимавший для своих целей на вооружение и чертовщину, в чем я мог лично убедиться в дальнейшем.

Старалась советская пресса через все свои литературные каналы. Внес свою лепту и «Крокодил» карикатурами на еврейских убийц; этим карикатурам могла бы позавидовать самая черносотенная печать царского времени, к которой брезгливо относилась даже консервативно настроенная часть дореволюционной интеллигенции.

Среди массы откровенных погромных статей наиболее омерзительными, воскрешающими самую отвратительную бульварную антисемитскую прессу периода еврейских погромов 1904—1905 годов особо выделялись статьи Ольги Чечеткиной, разводившей чернила «слюною бешеной собаки». Вспоминается и отвратительное впечатление от статей Густы Фучиковой, вдовы легендарного героя Чехословакии, Юлиуса Фучика, автора бессмертного «Репортажа с петлей на шее». С трудом ассоциируются те нежные строки, которые посвятил Фучик в «Репортаже» своей подруге и увековечил ее в них ореолом чуткости и благородства,— с звериной злобой, выраженной в ее литературных откликах на «дело» с терминологией бандитского дна. Не верилось, что это писала нежная, интеллигентная женщина, друг Фучика, а не уголовник-бандит, если только Фучик в своих тюремных воспоминаниях о ней не идеализировал ее. К организации антиеврейского народного гнева были привлечены и неарестованные евреи в лице их видных представителей в советском мире: крупные ученые, известные музыканты, композиторы, артисты, военные и т. д. Они должны были заклеймить письмом в редакцию газеты «Правда» своих собратьев по национальности, оказавшихся извергами рода человеческого. Организация этого письма, как мне передавали, была поручена тройке евреев: их имена мне называли, но я не привожу их, т. к. не могу ручаться за достоверность. Да это и не имеет значения, они — тоже жертвы.

Текст письма мне известен только со слов некоторых из них, кто его подписал, будучи призван к этому. Содержание его не блещет оригинальностью, вкратце оно сводится к следующему: «Евреям советская власть открыла широкий доступ во все области, дала свободу развития всех их способностей, а презренные изверги отплатили за это потрясающим вероломством. Отмежёвываясь от этих выродков, подписавшиеся требуют для них самой высокой кары». Это — смягченный текст письма. Как мне рассказывал один

из подписавших его, дискуссия развернулась не вокруг его основного содержания, а вокруг тех эпитетов, которыми следует заклеймить «извергов». Предлагался разнообразный их ассортимент. Почти все призванные подписать этот документ безоговорочно это сделали, некоторые даже не читая, отнесясь с равнодушием к его тексту. Я не называю имена тех, кто подписал этот гнев евреев против евреев. В числе их — известные всему миру имена. Они такие же жертвы этой эпохи, как и те, на кого они излили гнев, отштампованный в редакции «Правды». Один из подписавших (композитор Блантер) говорил мне, что у него каждое утро дрожали после этого руки, когда он получал «Правду», ожидая увидеть этот омерзительный документ с его подписью под ним. Но я считаю обязательным назвать имена тех, которые имели мужество отказаться или уклониться дать свою подпись. Это — народный артист СССР Рейзен, герой Отечественной войны, командир казачьего конного корпуса генерал-полковник Крейзер и Илья Эренбург, композитор И. О. Дунаевский. Конфуз произошел с композитором Глиэром. Когда ему, приняв его за еврея, предложили подписать это письмо, он не возражал против того, чтобы дать свою подпись, но заявил, что он — не еврей, что его отец — немец, а мать — украинка. После такого разъяснения ему было отказано в чести дать свою подпись.

Документ этот света не увидел. То ли решили, что «хороших» евреев не должно быть (особенно в связи с намечаемыми последующими акциями против всей национальности), то ли публикация письма по каким-то причинам задержалась и утратила актуальность после смерти Сталина. Но самый факт подготовки такого документа — лишний штрих к моральной панораме сталинской эпохи.

Москва всегда была во всем примером для всего Советского Союза. Стала она примером и в организации «дела врачей». В каждом крупном и даже провинциальном центре находили своих «убийц в белых халатах». Не отставать же от Москвы! Поэтому определить точное число арестованных врачей могут только МГБ и судебные органы. Списки, опубликованные в газетах арестованных и затем реабилитированных 4 апреля 1953 года, были далеко не полными. Из известных мне арестованных профессоров и врачей в опубликованных списках не было, например, фамилий В. Ф. Зеленина, Б. И. Збарского, Э. М. Гельштейна, Г. Х. Быховской, М. Я. Серейского, И. И. Фейгеля, В. Е. Незлина, Н. Л. Вилька, моей и многих других, не говоря о женах арестованных. Сокращать список, по-видимому, было не-

обходимо, иначе проще было бы опубликовать фамилии оставленных на свободе. В ряде крупных центров, особенно на Украине, были уволены из медицинских институтов профессора-евреи, уцелевшие от арестов (в дальнейшем большинство их было восстановлено).

Был и пример, близкий нашей семье. Брат моей жены, Г. Я. Эпштейн, известный ученый-травматолог, был последовательно уволен со всех занимаемых им в Ленинграде должностей: зав. кафедрой травматологии Ленинградского государственного института усовершенствования врачей и руководитель большого отдела в Ленинградском институте травматологии им. Вредена. Оказавшись безработным, он приехал в Москву в Управление кадрами Министерства здравоохранения РСФСР просить какое-либо назначение по специальности. Принявший его начальник Управления кадров Трофимов (теперь министр здравоохранения РСФСР) предложил ему участок в Якутской области. Обычно такие места замещаются оканчивающими медвузы при распределении их на работу. На вопрос профессора Г. Я. Эпштейна о том, считает ли Трофимов такое назначение правильным использованием его научного уровня, профессионального уровня и его возраста (57 лет), тот ответил без обиняков: «Таким, как Вы (!!), я ничего другого предложить не могу. Советую принять это предложение, т. к. в скором времени я и это Вам дать не смогу». В этих словах был откровенный намек на то, что в ближайшее время евреев ждет более суровая судьба.

Мне передавали следующий факт, с ручательством за его достоверность, подтверждающий подготовку к этой акции. Речь идет о киевском профессоре-педиатре, лечившем детей крупного государственного и партийного деятеля Украины; врач был много лет домашним врачом этой семьи, пользовавшимся ее расположением и симпатией. После 13 января он был уволен из медицинской системы, обслуживавшей государственную и партийную верхушку. Спустя некоторое время после этого ему позвонила жена этого государственного деятеля и попросила его навестить ее заболевшего ребенка, хотя врач уже не состоял в соответствующей лечебной организации, о чем он ей сказал. Он, естественно, не отказал ей в этой личной просьбе, навестил ребенка и дал необходимые лечебные указания. Его несколько удивило, что мать ребенка не отпустила его и попросила немного задержаться. Он заподозрил, не хочет ли она заплатить ему за его, уже частный, визит. Спустя некоторое время его пригласили в кабинет, где был, по-видимому,

специально прибывший отец ребенка. Не объясняя ничего, он спросил у профессора, имеется ли у него возможность уехать из Киева и поселиться в каком-либо глухом небольшом городке или селении не районного масштаба, и в случае наличия такой возможности — сделать это безотлагательно. В этом вопросе скрывался совет врачу и предупреждение об участи, которая ждет его в Киеве. Профессор не успел воспользоваться советом этого, несомненно порядочного человека, рнсковавшего многим, еслн совет этот получит огласку. Вскоре, однако, произошел неожиданный благополучный финал «дела врачей», и необходимость для врача укрыться отпала.

Общественная ситуация, сложившаяся после правительственного сообщения о «врачах-убийцах», да и внутренняя подоплека этого дела является незаконченным советским изданием так называемых «холерных бунтов». Укоренившееся название «холерные бунты» дано волнениям, возникшим несколько раз в прошлом веке в различных областях царской России. Они охватывали широкие крестьянские массы во время жестоких эпидемий холеры, присоединявшихся к и без того бедственному положению голодающего, бесправного, невежественного крестьянства. Вспышки ярости, накопленной годами нищеты и бедствий озлобленных человеческих масс, были вначале направлены против медицинского персонала, отряды которого самоотверженно боролись с ужасной болезнью. Необразованные темные массы приписывали врачам распространение холеры и обрушивали на ннх первые вспышки своей ярости, жертвами которой пали многие врачи. Заодно в дальнейшем они обрушивали свою ярость на своих вековых угнетателей — представителей власти, помещиков, и бунт принимал такой широкий социальный размах, что его подавление требовало специальных карательных мероприятий. «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный»,— писал А. С. Пушкин о Пугачевском восстании.

«Дело врачей» — 1953 — это тот же «холерный бунт», перенесенный в XX век в условия сталинской империи. Разница заключалась лишь в том, что «холерные бунты» XIX века были стихийным выражением народной ярости. Советский же «холерный бунт» был организованным, а возникшая ярость советского народа была направленной и регулируемой. Как и в XIX веке, в 1953 году первыми и главными объектами народного гнева были врачи, которым приписывались чудовищные преступления. Как и в холерных бунтах XIX века, в 1953 году озлобление народа, оболваненного

соответствующей пропагандой, было от врачей распространено на интеллигенцию вообще (вспомните высказывание моей лаборантки: «Кувалдой их, интеллигентов, кувалдой!»), а открытые всеми государственными средствами пропаганды каналы антисемитизма были приняты с особым воодушевлением, подготовленные всей длинной предысторией.

Согласно общим закономерностям, история повторяется, но в формах, соответствующих новой исторической обстановке. «Дело врачей», по его целевому назначению,— это сталинский «холерный бунт», заключительный аккорд сталинской «неоконченной симфонии».

Второй формой реакции на публикацию ТАСС был панический ужас перед медициной, охвативший широкую обывательскую массу. В каждом медике, независимо от ранга, видели вредителя, обращаться к которому за лечебной помощью было рискованно. Муссировались «достоверные» слухи о многочисленных фактах ухудшения здоровья и течения болезни у больных после применения назначенного врачом лечения. Вообще, ничего невозможного в этом нет, так как назначенное лечение вовсе не всегда приводит к немедленному резкому перелому течения болезни в сторону выздоровления. В ряде случаев происходит даже нарастание симптомов болезни до критического перелома ее и при активных лечебных мероприятиях. В описываемый период напуганный обыватель в этих фактах видел преступную руку «убийц в белых халатах».

Передавались из уст в уста «достоверные» сведения о случаях смерти больного непосредственно после визита врача, якобы арестованного и тут же расстрелянного. Во многих родильных домах были якобы умерщвлены врачами новорожденные младенцы. Не было той нелепости, которую бы ни изобретала изощренная изуверская обывательская фантазия. Резко упало посещение поликлиник, аптеки пустовали в результате массы слухов о фактах резкого ухудшения болезни после приема безобидных и банальных медикаментов, содержащих, однако, яд. Помню такой эпизод: в Контрольный институт, где я тогда работал, пришла мать ребенка, молодая женщина, и принесла для исследования пустой флакон из-под пенициллина. Ребенок ее болел воспалением легких, и после инъекции пенициллина его состояние, по ее словам, резко ухудшилось; подобные аллергические реакции на антибиотики бывают нередко. Эту реакцию она приписала яду, содержащемуся в пенициллине, и потребовала исследования остатков содержимого флакона. При этом она заявила, что прекращает какое-либо

лечение ребенка, и на мое указание, что этим она обрекает ребенка на возможную гибель от пневмонии, она с исступленной категоричностью сказала, что она к этому готова, но никаких лекарств давать ребенку не будет: пусть умирает от болезни, а не от яда, который ему дали. Были среди врачей и дополнительные к арестованной группе жертвы идеи о «врачах-вредителях».

Над врачами, особенно еврейской национальности, тяготел страх уголовной ответственности за свои действия, которые больному или его родственникам покажутся преступными. Некоторые граждане проявляли особую готовность к реализации такой угрозы. Я сам был свидетелем предусмотрительности со стороны одного мужа, доставившего свою жену в приемное отделение 1-й Градской больницы для госпитализации. Держа в руках блокнот и перо, он с грозной невозмутимостью допрашивал персонал и записывал фамилию врача, принимавшего больную, № отделения и палаты, куда направят больную, фамилии заведующего отделением, палатного лечащего врача, не скрывая, что это ему нужно для наблюдения за их действиями и вмешательства прокуратуры в нужный момент. Разумеется, вся эта обстановка не повышала обычной ответственности врача; она только нервировала его и настораживала к возможной уголовной ответственности и к перестраховке от нее. Врач должен был действовать с оглядкой на прокурора, что навряд ли способствовало созданию атмосферы, необходимой для нормальной врачебной деятельности. Не поддаются учету подобные физические и моральные издержки «дела врачей»!

ПРЕДВЕСТНИКИ АРЕСТА. АРЕСТ, ОБЫСК, РЕАКЦИЯ ОКРУЖЕНИЯ. ЛУБЯНКА, ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Нарастали события в личном плане. Смысл некоторых из них мне стал понятен только после ареста. К ним относится вызов в райвоенкомат в декабре 1952 года, т. е. за несколько недель до ареста. Незадолго до моего вызова приглашение явиться в военкомат (одного и того же — Ленинградского района) получил мой близкий друг, о котором я уже писал, профессор Э. М. Гельштейн. К этому времени он уже был уволен из 2-го Московского медицинского института, где занимал кафедру факультетской терапии, и находился на пенсии. Он перенес два инфаркта (развившихся у него в процессе принудительного освобождения от кафедры), перешедших в хроническую аневризму сердца и

сделавших его инвалидом. С удивлением рассказывал он мне о том, что происходило в военкомате. Ему заявили, что он вызван для медицинского переосвидетельствования, как бывший участник Отечественной войны. Для облегчения задачи комиссии он информировал ее о состоянии своего здоровья и принес электрокардиограммы, регистрировавшие тяжелое поражение сердца. Впрочем, тяжелое состояние сердца было очевидным и без кардиограмм. К его удивлению, врачебная комиссия признала его годным к несению военной службы в мирное и военное время, т. е. полностью здоровым. В нем заговорила не боязнь призыва в армию; он видел в решении комиссии грубую врачебную ошибку и, как опытный врач, указал им на это. Тогда для решения вопроса они пригласили «военкома». Вошел полковник, который, глядя на профессора Э. М. Гельштейна, сказал: «Он хорошо выглядит, годен к военной службе». На Э. М. Гельштейна все это произвело впечатление какой-то странной инсценировки, смысла которой он не понимал. Особенно поразило его, что решение было предоставлено полковнику, удовлетворенному его внешним видом. Конечно, это был не военком, а полковник МГБ. Спустя несколько дней вслед за ним и я получил приглашение в военкомат. Принявший меня молодой капитан сказал мне, что в армии необходимости во мне в данное время * и в ближайшем будущем нет и что военкомат хочет снять меня с учета, но для проформы мне нужно пройти медицинское переосвидетельствование (перед демобилизацией весной 1945 года я был признан ограниченно годным к несению военной службы вследствие гипертонии и после травмы на фронте). Я несколько удивился, зачем нужно переосвидетельствование, раз имеется предварительное решение о снятии меня с военного учета, но решил, что это — формальная процедура, каких в армии много. Врачебная комиссия, состоявшая из нескольких человек (в числе их — одна женщина), приняла меня с приветливостью, побеседовали о гипертонии вообще, не производя никакого медицинского освидетельствования, и я был отпущен с впечатлением о выполненной какой-то формальности, не требовавшей врачебной компетенции. Каково же было мое удивление, когда в возвращенном мне на следующий день моем военном билете, вместо отметки о снятии с учета, стоял штамп: годен к военной службе в военное и мирное время. Я ничего не понимал. Лишь

* Во время Отечественной войны я был главным патологоанатомом Карельского и 3-го Прибалтийского фронтов.

позднее, после событий 1953 года, я понял, что все «переосвидетельствование» имело свои задачи и что штамп «годен к военной службе» означал пригодность по состоянию здоровья к пребыванию в тюрьме. То же относилось, конечно, и к профессору Э. М. Гельштейну, арестованному одновременно со мной.

14 января, на следующий день после опубликования сообщения ТАСС, я был вызван к главному врачу (директору) 1-й Градской больницы, который вручил мне приказ по больнице об освобождении меня от занимаемой должности прозектора больницы, как работающего по совместительству. Было совершенно очевидным, что мотивировка увольнения была формальной отпиской, т. к. большинство заведующих отделениями больницы в ранге профессоров числились на основной работе в учреждениях, где занимали профессорские должности. При этом главный врач (Л. Ф. Чернышев) в категорической форме рекомендовал мне не оспаривать этот приказ нигде, давая понять, что он согласован с высшими инстанциями или продиктован ими. Но и без этой рекомендации мне и в голову не приходила мысль о каком-либо оспаривании приказа. Я прекрасно оценивал всю ситуацию и подлинные мотивы изгнания из больницы авторитетного ученого и компетентного специалиста, каким я уже тогда был, члена КПСС, награжденного орденами Советского Союза, в том числе орденом Ленина. В прозектуре еще до моего прихода знали об этом приказе. Я застал там настоящий траур, причина которого мне еще не была известна, а сотрудники хранили молчание. Особенно поразили меня слезы моего старого лаборанта, фельдшера Е. Х. Рожкова, проработавшего со мной около 30 лет. Он рыдал, не скрывая это, догадываясь, конечно, об истинном смысле этого события. Я передал все дела заместившей меня моей сотруднице Н. В. Архангельской.

Дня через два после моего увольнения мне позвонили по телефону из больницы и просили быть на митинге, посвященном сообщению ТАСС о «деле врачей», в котором упоминается в качестве одного из активных вредителей профессор Я. Г. Этингер. Клиника до его изгнания находилась на территории больницы. В ней же до войны находилась и клиника арестованного профессора В. Н. Виноградова. Не состоя уже в коллективе больницы, я мог бы отказаться от приглашения. Однако именно потому, чтобы не быть обвиненным в сознательном уклонении от выступления (а его, несомненно, ожидали, имея в виду мои деловые и личные контакты с Я. Г. Этингером), я решил приехать на

митинг. Я не помню его содержания, вероятно, оно было стереотипным для того времени. Бесновалась Золотова-Костомарова — совершенно невежественная в научном и профессиональном отношении, бывший ассистент профессора Этингера и наиболее остервенелая его гонительница, занявшая после изгнания его кафедру, но недолго удержавшаяся на ней.

В своем выступлении я сказал, что «потрясен сообщением 13 января о чудовищных преступлениях медиков, в том числе и Я. Г. Этингера, которых я знал много лет и со многими из которых был в дружеских отношениях. Их знали и многие из присутствующих, знали о том авторитете и уважении, которым они пользовались. Я, как, конечно, и многие присутствующие, не мог заподозрить в них людей, способных на такие злодеяния. Я и сейчас не могу представить, что впечатление, которое они производили на протяжении многих лет знакомства, было результатом тщательной маскировки. Я не могу присоединиться к некоторым из выступавших, что давно видели в Этингере предателя Родины и потенциального убийцу, иначе я реагировал бы на это так, как от меня требовал мой долг гражданина и члена КПСС».

Это был мой последний перед арестом контакт с 1-й Градской больницей. Он возобновился только спустя 5 лет, но уже в другой обстановке.

Мрачные события нарастали. Снаряды падали все ближе и ближе, и росла ужасная уверенность, что скоро один из них нацеленно попадет в меня. В этой уверенности почему-то особое значение имел арест 25 января профессора В. Ф. Зеленина, известного терапевта, учителя моего и моей жены и нашего друга. Моя жена была в эти дни в Торопце Великолукской области, где навещала нашу старшую дочь, окончившую в 1952 году медицинский институт и получившую туда назначение на работу. Получив известие от меня во время телефонного разговора об аресте Зеленина, жена немедленно выехала, так как по непонятным психологическим механизмам придала ему особо роковой смысл, хотя аналогичные сообщения поступали непрерывно.

В течение нашей жизни мы с женой неоднократно обсуждали «жизнерадостные» перспективы возможного ареста. Почему он мог меня миновать? Ведь не миновал же он многих известных нам людей, в том числе друзей и знакомых, честных тружеников, преданных своей родине. У меня были неосторожные (по тому времени) поступки, продиктованные профессиональной и просто человеческой

совестью, и у моей жены иногда был наготове «джентльменский набор» (как я его называл), состоящий из пары смен белья, носовых платков, мыла и т. д., т. е. из всего того, что «там» может быть необходимым. Обсуждая с женой очередную, уже ближайшую, казалось бы, неизбежную перспективу ареста, мы повторно возвращались к теме о поведении «там». Моя жена была почему-то убеждена, что, безусловно, расстреливают тех, кто, не выдержав истязаний и других пыток, о которых ходили ужасающие слухи, подписал требуемые показания. Поэтому она умоляла меня быть стойким, выдержать все, мобилизовать для этого все свое мужество, но не подписывать выколоченных признаний в мифических преступлениях. Эту просьбу я помнил всегда, она сопутствовала мне в течение всего тюремного периода и была мощной поддержкой в самые тяжелые минуты. До нас доходило расширенное до абсурда понятие о преступлениях в органах госбезопасности, где чудовищным преступлением против партии и Советского государства мог оказаться самый невинный, самый естественный, бытовой поступок, совершаемый нормальным человеком ежедневно, если этот человек почему-то подлежал уничтожению. Я убедился в этом в дальнейшем и на личном опыте, а следователь раскрыл мне некоторые теоретические обоснования советской криминологии, сформулированные гнусной памяти А. Я. Вышинским. Даже дети знали о том, как расширено было у нас понятие о политическом преступлении, о чем может свидетельствовать детский анекдот, принесенный из школы. Сидят в тюремной камере медведь, волк и петух и обмениваются информацией о совершенных преступлениях. Медведь говорит: «Я корову загрыз». Волк: «Я овцу зарезал». Петух говорит: «А я — политический; я пионера в задницу клюнул».

Приближался роковой день —3 февраля. В этот день я выступал в ученом совете Медицинской академии в качестве оппонента по одной диссертации. После заседания я заехал в книжный отдел Дома ученых за зарубежными журналами для себя и для профессора Э. М. Гельштейна, у которого болезнь резко ограничила возможности передвижения. Вечером я позвонил профессору Э. М. Гельштейну, чтобы сообщить ему о взятых для него журналах, но на телефонные звонки не было никакого отклика. Меня это удивило, так как я знал, что больной Э. М. Гельштейн никогда не покидает квартиры, а вечером дома и жена его — Г. Х. Быховская, доцент ЦИУ, известный врач-невропатолог. Я позвонил профессору С. Я. Капланскому, соседу по дому и другу

Гельштейнов, чтобы осведомиться у него о возможной причине молчания их телефона. Он сказал, что это случайность, подтвердив, что кто-нибудь из них всегда дома. Наконец, около 10 часов вечера телефон Гельштейна откликнулся взволнованным голосом домработницы, сообщившей, что только что всех увезли после суточного обыска. Это был снаряд уже совсем рядом, и не оставалось сомнения, что следующий — в меня. Мы обещали быть в этот вечер у наших друзей Мошковских, живших с нами в одном доме. Я захватил с собой те очень скромные сбережения, которые у нас были, чтобы просить Мошковских сохранить их и вернуть оставшимся членам моей семьи после моего ареста. Вечер был траурный в полном смысле этого слова. Все понимали, хотя об этом не говорили, что это вечер траурного прощания навеки. Но каждый думал о себе с тенью надежды, что судьба минет его. Только у меня не было и этой тени при всем моем оптимизме. С таким настроением мы отправились домой около часа ночи.

Войдя в наш подъезд,мы удивились присутствию лифтерши, обычно уходившей в 24 часа и запиравшей лифт. Рядом с лифтершей стоял мужчина боксерского вида в штатской одежде, что тоже нас удивило и было подозрительным. Поднимаясь в лифте, я высказал жене предположение, что это — сотрудник МГБ, но жена, многократно видевшая их на площадках нашей лестницы, следящими без стеснения за кем-то во дворе, сказала, что «те» выглядят иначе. Дальнейшие события показали, что это был член оперативной группы, прибывшей для моего ареста, с заданием либо караулить лифтершу, чтобы она не ушла и не смогла предупредить каким-либо образом меня о ночных посетителях, либо схватить меня, если я сделаю попытку к бегству (вероятно — совмещение обоих заданий). Открыв входную дверь ключом и войдя в переднюю, я сразу оценил всю ситуацию. У входа в переднюю справа от двери стоял молодой мужчина в стандартной штатской одежде эмгебешников (синее пальто с серым каракулевым воротником, шапка ушанка с таким же мехом), встретивший меня наглой полуулыбкой. В ярко освещенной столовой, дверь которой выходила в переднюю, я увидел, вернее почувствовал, присутствие многих людей. Я настолько был психологически подготовлен к подобной встрече, что у меня вырвалось восклицание, адресованное стоящему у входа эмгебешнику: «А, привет!» Это не было ни бравадой, ни тем более вежливостью хозяина, приветствующего гостя. Известная пословица гласит: «Не ко времени гость — хуже татарина».

Мой гость полностью отвечал смыслу этой пословицы, только с некоторым оттенком: он был незваный, но не был нежданный, и мое приветственное восклицание значило: «Наконец-то!» Так смерть снимает ужас ее ожидания.

На «привет» гость ответил тем, что стал быстро обшаривать мои карманы, выворачивая их и задавая стандартный вопрос: «Оружие есть?» Войдя в столовую, я застал в ней большое общество: двух или трех молодых эмгебешников в военной форме, немолодого полковника, а также подавленных и напуганных всем происходящим дворничиху, взятую, по-видимому, в качестве понятой, и нашу домработницу — молодую девушку. Полковник предъявил мне ордер на мой арест и обыск в квартире, который я даже не прочитал, не проявляя никакого интереса к его тексту и к его авторам, и лишь заметил дату выдачи ордера: 2 февраля. Как потом выяснилось, этой же датой был помечен ордер на арест Э. М. Гельштейна, но, по-видимому, большая перегрузка работой оперативников МГБ не дала им возможности одновременного ареста, и я оставался на свободе на сутки больше Э. М. Гельштейна.

Я не помню всех деталей процедуры ареста, да они и не интересны, протекали по отработанному шаблону. Спокойным и даже заботливым тоном опытного в этих делах человека полковник давал советы жене о необходимом ассортименте вещей («джентльменский набор»), которые мне надо дать в «дальнюю дорогу», сказав, что никакой еды не нужно. Попрощавшись с женой и запомнив на всю жизнь ее многозначительное —«мужайся», сказанное в виде самого последнего напутствия, я в сопровождении полковника с узелком в руке отправился в неизведанное. При спуске по лестнице полковник в своем спокойном тоне сказал: «Если кто-нибудь из соседей встретится, скажете, что едете в командировку». Я ничего не ответил на этот совет, хотя он мне показался наивным: советские люди отлично знали, в какую командировку едут ночью в сопровождении полковника госбезопасности. Внизу у лифта уже не было ни лифтерши, ни «боксера». Вместе с полковником я сел в поджидавшую легковую машину. По дороге я задал скорее себе, чем ему, вопрос вслух: «В чем меня могут обвинить?» Полковник утешающе ответил: «Может быть, Вы нужны в качестве свидетеля». Я удивился также вслух: «Разве свидетелей арестовывают?» Ответ: «Иногда бывает необходимость в их изоляции». В тягостном молчании продолжался путь по ночной Москве, пока перед машиной не открылись знакомые всем москвичам глухие тяжелые ворота Лубянки

(со стороны Сретенки), и машина въехала со своими пассажирами в ее двор. Так начался этап, конец которого тонул в бесконечном мраке, возможно, загробного мира.

Все последующее воспринимается сейчас (да воспринималось, по-видимому, и тогда), как мрачное сновидение с провалами. Сохранились лишь отдельные куски происходившего, без возможности воссоздать целую картину в ее последовательности. Я помню лишь, что до меня вначале не доходил в полной мере весь драматизм происшедшего со всеми его последствиями, и я обнаруживал у себя даже какой-то исследовательский интерес, какое-то любопытство к тому новому, что меня ждет. Еще по пути в Лубянку меня интриговал вопрос, какое конкретное обвинение мне предъявят. Ждать пришлось недолго. После короткого пребывания в боксе я попал в комнату, где за столом сидел с официально-каменным и деланно-строгим, презрительным лицом молодой военный в форме МГБ с погонами капитана. Войдя в комнату (т. е. будучи доставленным в нее), я привычно поздоровался. Это был автоматизм вежливости, не покидающий меня иногда даже на автомобильных трассах, где я на матерную ругань по моему адресу из соседней автомашины из-за какой-нибудь промашки отвечал вежливым «извините». Хозяин комнаты оказался следователем. В дальнейших контактах я узнал имя, отчество и фамилию «гражданина следователя», запомнил ее: Роман Евгеньевич Одленицкий. Это был молодой человек (лет около 30), с узким лицом, с налетом интеллигентности и плутовства. К его характеристике, возможно, я еще вернусь. На мой сдержанный привет он ответил едва заметным надменным кивком и нечленораздельным коротким мычанием. Видимо, большее не входило в ритуал обхождения с арестованными, исключавший проявления вежливости. Без всякого вступления он мне заявил: «Вы арестованы как еврейский буржуазный националист, враг советского народа; рассказывайте о Ваших преступлениях». Этой декларацией мое любопытство было удовлетворено, и у меня наступило какое-то облегчение, но отнюдь не из-за удовлетворенного любопытства. У меня «отлегло от сердца», когда я услышал формулировку обвинения. Мне казалось, что мне будет чрезвычайно легко доказать его вздорность, что я никогда не был еврейским буржуазным националистом, а тем более врагом советского народа. Поэтому я был уверен, что мне не доставит никакого труда опровергнуть возводимое на меня обвинение. Наперед скажу, что я, разумеется, заблуждался, так как не знал, что такое «еврейский буржуазный национализм» в интерпрета-

ции МГБ, в чем его конкретное содержание. Я бы мог привести много конкретных свидетельств моего российского и советского патриотизма, моей искренней преданности и глубокой привязанности к своей стране, начиная с детства, и эти чувства перехлестывали через многие оскорбления и многие мытарства, через которые мне, как еврею, пришлось пройти в течение жизни. Чувство собственного достоинства не позволяло мне никогда приводить эти свидетельства в доказательство чувства родины в любой обстановке. Они не изменили мне и в тюрьме. Эти чувства, общие всем людям еврейского происхождения, отдавшим своей родине весь свой, иногда недюжинный, талант; их великолепно выразили Маргарита Алигер в своей замечательной поэме «Твоя победа», И. Г. Эренбург в своем литературном памятнике «Люди, годы, жизнь» и многие другие. Поэтому с полной искренней убежденностью я ответил следователю, что еврейским буржуазным националистом я никогда не был, никаких преступлений против советского народа не совершал. Следователь повторил формулу обвинения и требование не запираться, а рассказывать о своих преступлениях. Я обратился к нему с предложением конкретизировать мои преступления, сказать, в чем конкретно меня обвиняют, и тогда я смогу ответить, совершал ли я такие преступления или нет. Это вызвало молниеносную реплику: «Э, нет, Вы сами все расскажете!» Я только в дальнейшем понял, что в МГБ сам обвиняемый должен изобретать свои преступления, здесь жрецы правосудия не желают этим себя затруднять. «Переплевывание» со следователем продолжалось около одного часа. Кончилось оно тем, что следователь пригрозил: «Либо Вы будете давать нужные показания, тогда Вы останетесь здесь; хотя здесь не санаторий, но условия более или менее приличные. Либо, если будете продолжать упорствовать, то я доложу начальству об этом, и Вы будете переведены на спецрежим». Угроза, смысл которой к тому же был не ясен, не подействовала. Следователь стал что-то писать, писал долго и дал мне подписать то, что называлось протоколом. Здесь я впервые познакомился с его своеобразным стилем, основоположника которого мне потом называли, но я забыл его фамилию для авторского увековечения. Протокол состоял из вопросов и ответов, и первые из них в их общем стиле и содержании я запомнил.

Вопрос. Вы, Рапопорт, арестованы как еврейский буржуазный националист, враг народа. Показывайте о Ваших преступлениях.

Ответ. Никаких преступлений я не совершал.

Вопрос. Лживое лецимерное заявление.
(«Лецимерное» — это его орфография, а не моя, даже в этой обстановке мне не изменил мой редакторский стереотип — замечать ошибки).

Ответ. Никакого лецимерия нет.

Вопрос. Не увиливайте и рассказывайте о Ваших гнусных действиях.

Ответ. Никаких гнусных действий я не совершал.

Вопрос. Вам, Рапопорт, не уйти от ответственности за ваши преступления.

Ответ. Никаких преступлений я не совершал...
и т. д.

Заняла вся эта уголовная викторина, под титульной шапкой — «протокол допроса», целую страницу. В конце страницы — подписи вопрошающего и отвечающего, после чего вопрошающий удалился.

На смену ему явился спустя некоторое время какой-то солдатского вида субъект, накрыл мои плечи парикмахерской салфеткой с следами частого употребления, и я подвергся первому посвящению в арестанты — стрижке головы наголо. После этой процедуры — принудительный душ (как я убедился в дальнейшем, за личной гигиеной заключенного в тюрьме МГБ следили тщательно). После душа поставили около едва теплой батареи и приказали: «Сохни». Я выполнил приказание и старательно сох, прибегая в гораздо большей степени к собственному теплу, чем к теплу батареи. Пока я сох — тщательный осмотр брюк, пиджака, ботинок. Срезаны пуговицы, на которых были оттиснуты какие-то фирменные буквенные знаки, после чего брюки держались на мне только из трогательной привязанности и на единственной неграмотной пуговице. Проникнуть в тайный смысл лишения брюк и пиджака их пуговичной принадлежности — невозможно, если не представить, что на пуговицах заранее крамольной фирмой была оттиснута антисоветская агитация. Извлечены шнурки из ботинок, видимо, для предупреждения самоповешения на них.

Остриженный, обмытый, высушенный и обеспуговиченный, я был запакован в «черного ворона» и отправился в нем в дальнейшую неизвестность. Конструкция «черного ворона» многократно описана в нашей литературе. Все же я ее повторю для непосвященных, тем более что за 25 прошедших лет техника шагнула вперед, возможно, изменились средства транспортировки арестантских тел. Мой «черный ворон» был обычным фургоном для перевозки

хлеба, мяса. Приспособление его для перевозки человеческой живности заключалось в том, что он узким продольным проходом был разделен на две части, разделенные глухими перегородками на несколько узких кабинок, в каждую из которых мог втиснуться человек средней упитанности. К задней стенке кабины была прикреплена скамейка для вынужденного сидения, при котором колени упирались в дверцу кабины. В последней был «глазок», через который сопровождающий надзиратель мог время от времени лицезреть лицо пассажира, освещенное слабой электрической лампочкой. В задней части «ворона» железные двери, как в обычном фургоне.

Тронулись в путь. Ехали долго, пересекали какие-то рельсы, стояли долго перед шлагбаумом, поскольку я слышал шум проходящего поезда. Какая-то из остановок продолжалась долго, по всей вероятности, не меньше получаса, если сохранилось в этом космическом герметическом аппарате земное представление о времени. По-видимому, мои стражи покинули его по своим делам (наверное, заглянули в пивную, ведь было уже утро), поскольку, вернувшись, с трогательной заботой осведомились: «Эй, ты, ты там не замерз?», и, удовлетворенные ответом (самолюбие не позволяло дать им отрицательный ответ), тронулись дальше.

Был уже день, когда «ворон» въехал в какой-то двор (я это определил по звуку отпираемых и запираемых ворот), выраженные тюремные признаки которого я определил по выходе из своего уютного купе.

Затем я был введен в комнату в нижнем этаже, где меня встретила женщина лет 30 с миловидным, человеческим лицом, в одеянии врача. Мне предложено было раздеться. Имея в виду белый халат и белую шапочку этого милого доктора, я полагал, что подвергнусь обычному медицинскому осмотру, для чего снял пиджак и сорочку, и был удивлен и даже сконфужен (я не утратил мужского самосознания) предложением раздеться догола. От такого милого предложения трудно было отказаться, особенно при ассистенте-надзирателе. Приятная докторица осмотрела все отверстия (ушные, носовые, рот, горло), кончая заднепроходным с глубоким введением в него пальца (хорошо, что осмотр отверстий был не в обратной последовательности). При этом она неожиданно изрекла вслух: «Геморроя нет», как будто удивленная неожиданным отсутствием его у пожилого еврея-профессора. Я не удержался, задал вопрос: «А разве без геморроя не расстреливают?» Юмора в этом вопросе она, очевидно, не усмотрела, в нем было больше злости

(в этом доме юмор, по-видимому, был вообще редким гостем), и только удивленно и, как мне показалось, с интересом на меня посмотрела. Может быть, она знала меня, меня знали многие врачи и как педагога, и как участника многих научных конференций. Лишь недавно я догадался (и то с чужой помощью) о причине такого внимания к естественным отверстиям моего организма: не принес ли я с собой в них ампул с ядом. А до этого я шутил — не искала ли она там атомную бомбу или скорострельную пушку.

Что же в это время происходило у меня дома? Об этом мне рассказала жена по моем возвращении из «мертвого дома». Я это возвращение называл эксгумацией, что почти было близко к истине: эксгумация — извлечение из могилы захороненного трупа. Оставшиеся «сотрудники» приступили к обыску. Обыск был произведен также и на моей даче, куда «сотрудники» поехали в сопровождении моей жены. Он производился чрезвычайно тщательно, просматривалось все в поисках компрометирующих материалов. Следы этой тщательности я обнаружил по возвращении и освобождении запечатанных двух комнат, где в общую кучу были свалены различные материалы — коллекции научных диапозитивов, научные рукописные и печатные материалы, книги. Тщательно просматривались в поисках крамолы документальные материалы, но в них, по-видимому, ничего откровенно контрреволюционного и компрометирующего в смысле принадлежности к террористической организации выявить не удалось. Во всяком случае, как мне сообщила потом жена, они периодически сообщали по телефону о скудости материала обыска. И вдруг — сенсация, всеобщее возбуждение: найден яд! Это была картонная аптечная коробочка с ампулами атропина с символической наклейкой для сильнодействующего препарата, изображающего человеческий череп. Атропин этот был в домашней аптечке, как необходимое средство для срочной инъекции при острой коронарной недостаточности с резким приступом стенокардии. Об этой находке было тут же сообщено по телефону «товарищу генералу» в МГБ: найден яд! Этой находке было придано такое же значение, как если бы были обнаружены бомбы, пулеметы, пистолеты и другие вещественные признаки террористической деятельности. Ведь яд — это оружие террориста-врача, который убивает своих доверчивых пациентов ядом, а не при помощи огнестрельного оружия. Сенсация получила широкое распространение, и по двору передавались слухи: у Рапопорта нашли яд! Страшная коробочка была со всей тщательностью опечатана сургучной печатью,

и я потом видел ее в руках у следователя. Коробочка уже была распечатана, и одна ампула была пустой; по-видимому, содержимое ее подверглось анализу, установившему его состав и назначение. Тем не менее следователь спросил: «Зачем вам нужен был яд, хотели отравиться при аресте?» По-видимому, он полагал, что я могу пойти по пути Геббельса, Гитлера, Гиммлера и других фашистов, как их последователь. На это я ответил, что травиться у меня не было оснований и никакой подготовки к самоубийству я поэтому не делал. Да и следствию уже известен характер яда и его назначение. Больше к этому вопросу в процессе следствия не возвращались; то ли сенсация безнадежно провалилась, то ли другие вопросы на время затмили ее, то ли он еще найдет свое лицо в обстоятельном заключении о моей террористической деятельности.

Из других компрометирующих вещей были изъяты финский нож в кожаных ножнах и фашистский штандарт — красный флажок с черной свастикой в центре. Происхождение этих вещей я объяснил. Финский нож (кстати, настолько тупой, что им нельзя было даже нарезать хлеб) был мне подарен на Карельском фронте одним начальником госпиталя. Его сделал санитар-умелец этого госпиталя. Такие «финки» имели почти все военнослужащие Карельского фронта, это был его местный сувенир. Пользоваться им, как холодным оружием, было невозможно по причине его топорной тупости, и даже ножны — признак холодного оружия — не придавали ему угрожающего бандитского значения. Что касается фашистского штандарта, то я его нашел на письменном столе в помещении только что покинутого немцами их штаба в Риге. Штандарт я взял в качестве сувенирного трофея, но предусмотрительно, во избежание подозрений в преклонении перед фашистской свастикой, написал на нем чернилами дату взятия трофея и место: «Рига, 13 октября 1944 года» (день освобождения Риги от немцев). Тем не менее следователь спросил: «Откуда у вас немецкая свастика? Ну, я понимаю американский флаг, но фашистская свастика — для еврея это уж чересчур!» Пришлось обратить его внимание на мою надпись на свастике, разъясняющую ее происхождение. Больше к этим вопросам следствие не возвращалось, хотя и эти материалы могли быть признаны компрометирующими доказательствами — ведь следствие было не закончено и прервано в его разгаре...

Такая возможность не могла быть исключена. Ведь вся история деятельности «органов» по истреблению советских людей богата примерами того, что нет той нелепости, ко-

торая не могла бы служить доказательством преступной деятельности или преступного намерения. Этими примерами насыщены все материалы, выявленные при реабилитации невинно осужденных людей. И чем тупой финский нож и атропин меньшее доказательство преступных намерений владельца, чем согнутый в дугу ствол пулемета со сбитого немецкого самолета, найденный ребятами под Москвой недалеко от места падения и взрыва этого самолета? Между тем именно этот ствол служил вещественным доказательством заговора группы молодежи, раскрытого «органами» в 1943 году, под названием «Отомстим за родителей». Эта группа молодежи (среди них сын близкой нашей приятельницы З. С. К., и он рассказал нам после возвращения из концлагеря все детали дела) были дети репрессированных и расстрелянных родителей. Они якобы организовались для отмщения за гибель отцов.

При обыске у одного из них и был обнаружен фигурировавший в качестве вещественного доказательства скрюченный ствол пулемета. Под пытками кто-то из ребят показал, что из этого пулемета они хотели расстрелять Сталина при проезде его по Арбату из окна комнаты одной из девушек — члена этой группы. Суд не смутили ни анекдотическое вещественное доказательство, ни тот факт, что окно, из которого должно было быть выполнено покушение, выходило во двор, а не на Арбат. Поэтому у меня сейчас нет уверенности, что вопрос о роли атропина, тупой финки и фашистского штандарта был исчерпан кратким разговором об этих находках, не получивших пока, однако, отображения в протокольных вопросах-ответах.

Что же дальше происходило дома? Обыск продолжался около двух суток, закончился изъятием массы корреспонденции и различных документальных материалов, опечатанием двух комнат из четырех, две были оставлены в распоряжении жены и младшей дочери-школьницы. Часть имущества, по-видимому, подлежащего конфискации после моего осуждения, была перенесена в опечатанные комнаты, часть оставлена жене под расписку. При обыске особенно свирепствовал «сотрудник», производивший личный обыск при аресте; другие, молодые ребята, держали себя более миролюбиво и даже вступали в дискуссии с этим «сотрудником» по ряду вопросов. Так, например, он требовал переноса пианино в опечатанные комнаты, а его коллеги возражали, говоря, что им пользуется моя младшая дочь-школьница. Обнаружив коллекцию старых денежных ассигнаций царского выпуска, он хотел их присоединить к компрометирую-

щим материалам, мол, я получал ими плату за шпионскую деятельность от американской разведки, но остальные его коллеги стали урезонивать его, говоря, что это «Наташина коллекция». И в этих эпизодах я вижу подтверждение моих убеждений, созвучных утверждению поэта, что «не только собаки живут на земле». Среди изъятых материалов была переписка с женой в период поездок каждого из нас отдельно друг от друга. Все письма моя жена хранила на протяжении многих лет. Почерк у меня неразборчивый, к нему надо привыкать, и мои корреспонденты говорили, что при многократном чтении каждого письма в нем всегда обнаруживается что-нибудь новое. Мой следователь (я его назвал потом куратором) однажды дал мне прочитать какое-то непонятное ему место в одном из моих писем. Я ответил, что я сам не всегда разбираю написанное мною и что прочитать мои письма хватит работы для трех лейтенантов до выхода в отставку в чине генерала. Забегая вперед, скажу, что вся корреспонденция была мне возвращена, и, разбирая ее, я обнаружил одно письмо моей жены ко мне в Крым, датированное августом 1938 года, которое само по себе служило бы для МГБ тягчайшей уликой моей тесной связи с преступной организацией евреев-террористов. В нем жена пишет, что меня разыскивает М. С. Вовси. Его клиника помещалась в Боткинской больнице, где главным врачом был доктор Шимелиович, упоминаемый в сообщении ТАСС среди главарей преступной организации. В это время он уже был казнен (12 августа 1952 года) вместе с другими 24 членами еврейского антифашистского комитета. После 13 января имена Вовси и Шимелиовича были настолько одиозны, что любые формы связи с ними навлекали тяжелые подозрения. Достаточно сказать, что даже в дачном кооперативе «Научные работники» (где и моя дача) рассматривали в правлении вопрос об исключении из числа членов кооператива и изъятии дачи у одного члена кооператива только потому, что он сдавал Вовси дачу. Правда, следует заметить, что этот кооператив отличался среди других открытым мародерством. Среди членов кооператива — владельцев дач — было много репрессированных в эпидемию 1937—1938 годов. Едва сведения об аресте достигали правления кооператива, как оно исключало арестованного из его членов, выбрасывало из дачи оставшуюся семью, дачу изымало и передавало кому-либо из знакомых по «балансовой» стоимости (обычно во много раз меньше реальной) или даже не только без уплаты ее, но и с передачей ему паенакопления арестованного. Это был открытый грабеж обездоленных под при-

крытием благородного отмежевания от «врага народа». При этом подобная операция производилась даже до вынесения приговора и включения в него пункта о конфискации имущества. Арест уже был приговором в то смутное время, а подавленная семья, если она оставалась на свободе, боялась протестовать, да ни одно из судебных или других советских учреждений не стало бы на ее защиту. На собственном опыте я познакомился с мародерскими обычаями, царившими в дачном кооперативе, проводниками и рьяными приверженцами которых были члены партии, многие с учеными степенями и званиями, бессовестные мародеры, наживавшиеся на несчастье других. Едва я был арестован (а сведения об этом немедленно достигали правления кооператива, так как на даче тоже производили обыск), как я был исключен из числа его членов, а дача передана какому-то полковнику МГБ, приезжавшему с женой знакомиться с подарком. Не повезло полковнику, он не успел вступить в фактическое владение дачей, иначе не видать мне ее. Выгони его потом, ведь дача уже не моя, а передана ему, отними у него!

Вернусь к письму жены. Она пишет, что Вовси и Шимелиович хотят пригласить меня перейти из 1-й Градской в Боткинскую больницу заведовать патологоанатомическим отделением. Можно не сомневаться в интерпретации этого намерения следствием МГБ: уже в 1938 году «они», «террористы», хотели привлечь меня к своим злодейским замыслам в качестве укрывателя их преступлений! Оно, это письмо, могло вести на эшафот. Намерение Вовси и Шимелиовича не было реализовано, так как встретило сопротивление со стороны руководства 1-й Градской больницы и Медицинского института, где я тогда работал.

Реакция макромира на арест врачей-убийц была изложена выше. Как же реагировал окружавший меня и семью микромир на мой арест? Я получил подтверждение поэтического тезиса, что «не только собаки живут на земле». Общее отношение к моей жене было отношением общего сочувствия, как правило, молчаливого, но угадываемого ею. Лишь иногда кто-нибудь с оглядкой, как бы бдительный взор не видел, осведомлялся обо мне, и получал неутешительный ответ: «Ничего не известно». Были и активно сочувствующие, не скрывавшие этого, и из таковых я в первую очередь должен с глубокой и вечной благодарностью назвать семью Беклемишевых. Это были наши соседи, жившие этажом ниже нас. Глава семьи Владимир Николаевич, известный ученый-энтомолог, академик Академии медицинских наук, принадлежал к навсегда и безвозвратно ушедшему

яркому типу русской интеллигенции, о котором мы знаем из бессмертных характеристик Тургенева, Толстого, Чехова и других писателей дореволюционной эпохи. Одна внешность его была выразительной: высокий, худощавый, прямой, с острой бородкой клинышком. Ему не хватало только «крылатки» для литературного портрета дореволюционного «демократа». Поражала широта его интересов и эрудиции в области истории, литературы, этнографии и глубокое их знание по источникам на всех европейских языках и древних (латинском и греческом). Ко всему этому он был глубоко религиозным (не богомольным), и изображение Иисуса Христа было в его кабинете-спальне. Всякая встреча с ним оставляла впечатление благородства, которое излучали его несколько наивные и добрые глаза, хотя простачком его никак нельзя было назвать.

Прекрасным дополнением к нему была его жена Нина Петровна — веселый, жизнерадостный, общительный человек, добрый и добросердечный, но вполне «от мира сего», прекрасно в нем разбирающийся без потери своей лучезарности.

На мой арест Владимир Николаевич реагировал посвоему. При встрече с женой он не просто здоровался с ней, чего избегали даже некоторые из близких друзей, он снимал шляпу и кланялся ей почти земным поклоном. И в этом поклоне было не просто обычное сочувствие: это был земной поклон великомученице. Нина Петровна реагировала посвоему. Она в первые же дни после моего ареста навестила жену, в то время как всеобщий страх контакта с семьей «врага народа» окружил мой дом глухой стеной, и даже близкие друзья избегали посещать его. Нина Петровна участливо предложила жене материальную помощь, от которой жена, однако, отказалась.

У нас много лет была няней наших детей тетя Ксения. По переезде в дом ЖСК «Медик» мы устроили ее на работу в этом же доме лифтершей — труд гораздо более легкий, чем няни и домработницы. Ей дали комнату в этом же доме. Она выговаривала арестовавшим меня «сотрудникам»: «Как вам не стыдно, кого вы арестовываете? Арестовали такого человека!» Ее отношение ко мне и к семье было даже известно следователю. Он как-то сказал мне, что у вашей семьи остается в доме преданная домработница. Эта няня Ксения обратилась к священнику ближайшей церкви с вопросом, может ли она молиться за еврея? Тот ответил утвердительно, и няня Ксения «отмолила» меня, как она утверждала после моей «эксгумации». Моления возносила к небу и наша

старая знакомая — еврейка, пожилая женщина, и свои обращения к еврейскому богу дополнила длительным постом. Небесные троны несомненно пошатнулись бы, если бы не достигли цели совместные усилия русского и еврейского богов по вызволению из смертельной опасности одного безбожника. Как я потом узнал, обращения к богу, за отсутствием возможности обратиться к кому-нибудь из земных всемогущих, были со стороны многочисленных моих друзей и просто знакомых, далеких от религии и признания высшего небесного начала.

В качестве примера других этических и моральных принципов могу привести друга нашего соседа. Это было в период «дела врачей». Его дочь, ровесница моей младшей дочери Наташи, училась с ней в одном классе, и Наташа помогала ей в домашних занятиях. Когда меня арестовали, у Наташи оставались ее ученические тетради, и она хотела вернуть их ей. На дверной звонок ей открыл дверь сам папа. Увидев Наташу, он заорал на нее,— как она, мерзавка, смела явиться к ним. Эти слова он дополнил таким толчком в грудь, что Наташа упала и едва не скатилась с лестницы. Тетради рассыпались, Наташа убежала, сохранив память об этом эпизоде на всю жизнь.

Для настроения части общества того времени характерна реакция школьного класса, где училась Наташа (ей в ту пору было 14 лет), на мой арест. Обычно при аресте кого-либо из родителей с детей-школьников, если они были пионерами, перед линейкой срывали пионерские галстуки и исключали из пионеров. Я случайно в 1937 году подслушал разговор на улице двух пионеров, смеясь, обсуждавших такое событие: «Когда с Гришки срывали галстук — ревел!» Комсомольцев на общем собрании исключали из комсомола. О моем аресте знали многие сверстники и однокашники Наталии, жившие в одном с нами дворе. Но никто не проронил по этому поводу ни слова. Это был самопроизвольный заговор молчания. Он раскрылся лишь после моего освобождения, когда товарищи открыто поздравляли с этим Наташу.

Всей этой обстановке известную пикантность придавало одно событие, бывшее за несколько дней до ареста. Учительница истории и географии в школе была особой своеобразной и, несомненно, с некоторым психическим ущербом. Вызвав Наташу, прекрасно отвечавшую урок об Америке (американская конституция), она все же поставила ей 4. На следующем уроке ученики, возмущенные такой несправедливой оценкой, спросили учительницу

о причинах такой несправедливости, на что учительница дала такое разъяснение. В шаржированно-передразнивающем тоне она сказала: «А как она говорила об Америке? Ах, какая это замечательная страна, как там хорошо, я тоже туда поеду, у меня там тетя». Эту «тетю» учительница в обличительном пылу сама родила. Придя домой, Наташа рассказала нам об этом, и я решил, что на это я, как член КПСС, должен реагировать, так как такому восхищению Америкой 14-летней девочкой, бесспорно, может быть приписана родительская индукция. Вместе с женой мы посетили директора школы, разумную женщину. Она случайно присутствовала на уроке во время ответа Наташи, и мы спросили у нее, заметила ли она что-либо особенное в этом ответе. Та, не зная о чем идет речь и поэтому держа себя настороженно-выжидательно, справилась у себя в записи о посещении этого урока и сказала, что ничего особенного, кроме какой-то стилистической мелочи, она не заметила. Тогда мы рассказали о цели визита. Она осторожно подтвердила, что за учительницей числятся ненормальные поступки, ставящие вопрос о продолжении ее деятельности, и что она с ней переговорит. Результатом нашего визита было то, что на следующем уроке учительница в присутствии класса извинилась перед Наташей, утверждая, что в ее замечании ничего предосудительного не было, и просила передать об этом отцу. Отец в это время уже был в одиночной камере Лефортовской тюрьмы. Как торжествовала бы учительница, если бы она об этом знала! Ведь это было бы подтверждением ее политического чутья. Но класс хранил молчание.

Еще о людях. До ареста моя жена заказала какую-то деталь туалета у частной портнихи (русской национальности). Когда, уже после моего ареста, она пришла за этим, необходимым ей заказом, та, зная о ее положении, наотрез отказалась от денег в уплату.

И немного о «собаках». В поликлинике ученых, к которой были прикреплены я и моя семья, был детский врач (еврей по национальности), неоднократно навещавший моих детей. Во время моего ареста заболела Наташа, и жена обратилась в поликлинику с просьбой прислать этого врача, на что получила категорический отказ: поликлиника не обслуживала «врагов народа» и членов их семей. Тогда она обратилась непосредственно к врачу с просьбой навестить ребенка. Он приехал, пробыл недолго (была банальная ангина), и жена колебалась предложить ему гонорар, боясь обидеть врача. Но обиды никакой не было. Он спокойно взял гонорар — последние деньги, которые оставались в доме.

Жадность победила и традицию, по которой врач в былые времена никогда не брал денег у врача (жена была тоже врач), и простую человеческую совесть, бывшую у портнихи.

Я отметил национальную принадлежность ряда персонажей для демонстрации общеизвестной закономерности, согласно которой любая национальность — это не определение этики. С благоговейной благодарностью я вспоминаю огромную моральную поддержку моей жене, в которой она так нуждалась в те беспросветно мрачные дни, со стороны наших близких друзей — Мошковских, младших членов этой семьи, всей семьи Губер и многих других.

ТЮРЬМА. РЕЖИМ. ОБВИНЕНИЯ. СЛЕДСТВИЕ И ЕГО ДЕТАЛИ.

Но вернусь в комнату в нижнем этаже тюрьмы, где после путешествия врача по входным и выходным отверстиям организма я был облачен в казенное белье (тоже гигиеническое мероприятие!) и в сопровождении надзирателя отправился по каким-то внутренним лестницам к месту определенного мне обитания. Войдя в какую-то дверь, кажется, на третьем этаже, я оторопел: я увидел панораму, которую как мне показалось, я уже однажды видел, но где? Это был как бы внутренний замкнутый со всех сторон под общей крышей двор, каждая каменная стена которого состояла из нескольких, кажется четырех, этажей. Между каждым этажом была натянута по всей площади двора металлическая сетка, а внутренние бока каждого этажа были окаймлены во всю их длину галереей-балконом шириной около двух метров. Наружный край балкона, к которому была прикреплена междуэтажная сетка, был огражден железными перилами. В каждый балкон открывалось множество глухих дверей, ведущих в камеры для заключенных. Где же я видел эту панораму, или мне только показалось, что я ее видел? После мучительных воспоминаний я вспомнил: я видел ее в какой-то кинокартине, в которой был показан бунт заключенных в американской тюрьме Синг-Синг, закончившийся их массовым расстрелом. Весьма вероятно, что декорацией для этих кадров была тюрьма, в которую меня доставили, или тюрьмы всего мира построены по единому универсальному образцу.

Открылись двери одной из одиночных камер, и я был введен в нее. В ней были железная койка, накрытая тонким тюфяком, маленький стол с столовым сервизом на нем: алю-

миниевая миска, эмалированная кружка, ложка — весь нехитрый арестантский набор. Камера узкая, шириной около полутора метров, длиной около трех метров, в стене, противоположной двери, под самым потолком — зарешеченное окно с покатым подоконником во всю толщу стены. Справа от двери — зарешеченная батарея центрального отопления, излучавшая еле ощущаемое тепло. И огромное преимущество камеры: в стене, противоположной койке,— водопроводный кран с крохотной полукруглой раковиной и конусообразный стульчак, горловина которого сообщалась непосредственно с канализацией. Я сразу оценил преимущества сантехники: не было традиционной параши, которую надо было самостоятельно один раз в день выносить в общую канализацию, и это маленькое преимущество, по моей оценке, перекрывало аромат, который временами излучал стульчак. Стены камеры окрашены масляной краской в густой зеленый цвет — символический цвет надежды, но здесь — цвет безнадежности.

После того, как закрылась дверь камеры, и я остался один, измученный до предела всеми событиями и двумя предыдущими бессонными ночами (была уже середина дня), я плюхнулся на койку и тут же получил первый предметный урок того, что такое «спецрежим». Я не был одинок, за мной непрерывно сквозь глазок в двери наблюдало бдительное око, на сей раз принадлежавшее женщине. Она вдруг появилась в моей камере, «как мимолетное виденье» в форме тюремного надзирателя с беретом на голове, с злой мордой натасканной собаки, которая зарычала на меня: «Встать с койки, лежать днем не разрешается». Незнакомый с бытом моего отеля, я наивно пытался урезонить ее разъяснением, что я двое суток не спал, но это разъяснение ее не убедило. Крайнее изнеможение еще несколько раз сваливало меня с ног, и всякий раз меня поднимало вторжение этой фурии. Я почему-то решил, что на такое истязание не было найдено подходящих мужчин и меня специально отдали под надзор бабам гестаповской выучки. Может быть, я и не ошибался, хотя с другими стражами женского пола я в дальнейшем общения не имел, но среди мужского пола попадались и не вполне законченные собаки.

В муках смертельной усталости и кошмара всех событий истекших дней, от которых единственным выходом, диктуемым физиологией, был бы уход в охранительное торможение, т. е. в сон, прошел первый день. Наступил вечер с тусклой электрической лампочкой в потолке, которая не столько освещала, сколько оттеняла мрак кошмара. Я сидел

на своей койке и вдруг услышал ритмическое постукивание в стену из соседней камеры. Чтобы проверить, что это не случайность, я, сидя спиной к стене, чтобы замаскировать движение кистей рук от всевидящего ока в глазке двери, ответил на этот стук. Ответом был уже не ритмический, а бешеный по частоте стук в стену. Но я решил прекратить это общение через стену, т. к. не был подготовлен к нему, подобно царским узникам, владевшим этой техникой перестукивания с соответствующей азбукой. Вся обстановка советской тюрьмы — неизвестность того, кто были ее обитатели и мой сосед, вся политическая ситуация в стране и возможность того, что перестукивание — не метод ухода от одиночества к близкой по камере душе, а провокация, привели к тому, что на стук я больше не отзывался, и сосед тоже прекратил его.

Гнетущая тюремная тишина, нарушаемая только осторожным шарканьем за дверью обходчика-надзирателя и легким щелчком дверного глазка. Угадывается каким-то шестым чувством присутствие в этом мертвом доме многих сотен людей, замурованных в каменных ячейках. Около 10 часов вечера (по моим предположениям) бесшумно открывается дверь камеры, входит надзиратель, при появлении которого надо встать (это мне уже внушили). В руках у надзирателя какой-то клочок бумаги. Вопрос: «Фамилия, имя, отчество». После ответа (все это шепотом, отнюдь не из деликатной боязни разбудить кого-нибудь!) — короткое распоряжение: «На допрос», и в сопровождении этого «спутника коммуниста» (это название носила издаваемая когда-то еженедельная шпаргалка по текущей политике для агитаторов) я отправился на допрос.

Но сначала я хочу познакомить с общими условиями режимной тюрьмы, куда меня перевел мой отказ в даче требуемых признаний. В 6 часов утра открывалось окошечко в двери, сообщавшее камеру с внешней средой (через него передавалась и пища заключенному), и раздавался голос: «Подъем». Это было требование принять вертикальное положение, совершить несложный туалет и подготовиться к следующей процедуре — принятию через окошечко кружки тюремного «кофе», суточного пайка хлеба, вполне достаточного для пропитания, и сахара (два наперстка, или два куска) и, кажется, миски пшенной каши. После завтрака — часы мрачных дум, прерываемых обедом из миски щей, в которых обнаруживалось несколько микроскопических кусочков мяса, и миски каши. Затем — продолжение тягучего и тягостного предобеденного интервала до ужина, состоя-

щего из миски фасолевого или горохового супа с частицами мелкой рыбешки и кружки чайной бурды. После ужина — самые мучительные часы перед допросами (а они — ежедневно, за исключением воскресных дней), мучительные потому, что предстояло выслушивать целенаправленный вздор и парировать его здравым смыслом. Ожиданием этого сеанса борьбы здравого смысла с логикой обезьяны были заполнены часы после ужина. Ровно в 21 час 30 минут, т. е. за полчаса до отбоя, разрешавшего принять горизонтальное положение, появлялся «спутник коммуниста». Допрос продолжался до 5 часов утра, и на узаконенный режимом отдых оставался только 1 час в сутки. Но и тот не мог быть использован по назначению по субъективным и объективным причинам. Субъективные: после возврата в камеру продолжалось напряжение допроса, возбуждение, доходящее до лихорадочной тряски, как после тяжелого поединка, из которого необходимо было выйти победителем. Мысленное продолжение этого поединка продолжалось до подъема, застававшего в тяжелой нервной дрожи. Объективное: в заботе о гигиене арестованного перед возвращением его в камеру часто отправляли в «баню», т. е. под душ, на что уходил оставшийся час для отдыха. А затем — опять подъем, и так день за днем, сутки за сутками без сна. Иногда я засыпал днем, стоя, но подкашивавшиеся ноги немедленно возвращали в бодрствующее состояние. Когда я закрывал глаза в сидячем положении, то немедленно раздавался окрик: «Встаньте, откройте глаза».

Особенно свирепствовал один надзиратель со злой мордой и гнилыми зубами. Однажды я, совершенно обессиленный, сидя, задремал и не заметил, как он ворвался в камеру. Он разбудил меня окриком: «Ты не видишь даже, что у тебя в камере делается, захотел вниз?» (намекая на карцер). Я пытался ему объяснить человеческим языком, полагая, что ему по собственному опыту доступно понимание элементарных физиологических основ, что я не сплю уже много суток, что я не в состоянии побороть сон, что он сильнее меня. Но щуке было бы более доступна молитва «отче наш», прочитанная благочестивой рыбешкой, чем человеческий язык, этому гестаповцу. На мое разъяснение он ответил кратко, но вразумительно: «Режим — это режим, а хочешь спать, обливайся водой, или я буду тебя поливать», с попыткой тут же привести эту угрозу в исполнение. Из его лаконичного, но исчерпывающего разъяснения я четко уразумел, что такое режим в исполнении МГБ. До этого я полагал, что режим — это система, существовавшая всюду, начиная с

семьи, имеющая целью создание наиболее целесообразных условий для воспитания детей, для лечения (больничный, санаторный режим), спортивной, творческой деятельности и т. д. В МГБ режим — это система подавления воли и сознания человека, для приведения его в состояние полного безразличия, в сомнамбулу, подчиненную воле и сознанию следователя. Лишение сна — самый мощный элемент этого режима. В критические минуты, я мобилизовывал все резервы воли и сознания, чтобы не превратиться в сомнамбулу и иметь силы изощряться в словесной дуэли, о чем еще придется сказать ниже. Мне сейчас трудно сказать, в течение скольких суток я был совершенно лишен сна, вероятно, вплоть до перелома в ходе следствия. Во всяком случае, я никогда не предполагал, что можно выдержать такое длительное лишение сна, временами до галлюцинаций наяву. Однажды я выразил свой протест «куратору» по поводу того, что меня лишают сна, на что он ответил: «Вас сюда доставили работать, а не спать». Я удивился не существу ответа, а термину «работать», который я не раз слышал от него. Так, например, к моему куратору неоднократно заходила молодая дама грубоватой, но миловидной внешности, тоже «сотрудница». С ней у него, по-видимому, были дружеские отношения. Однажды уже под утро, войдя в кабинет и переговорив с моим куратором, она предложила ему закончить дела и уехать, на что он ответил: «Я еще немного поработаю с Яковом Львовичем». Для него это была работа, за нее он получал деньги. Но почему это было работой для меня?

В течение длительного периода у меня было полное отвращение к пище. Это была та психическая анорексия (потеря аппетита), которая в ряде случаев переходит в церебральную кахексию, т. е. в истощение, вызванное нарушением нормальной функции головного мозга (при тяжелой психической травме, у душевнобольных, при некоторых органических поражениях центральной нервной системы). Мои тюремные менторы посмотрели на это проще: они решили, по-видимому, что это — голодовка протеста, а всякое проявление протеста в режимной тюрьме не может быть допущено. Во всяком случае, однажды (это было на 4 или 5 день моего заключения) ко мне в камеру вдруг явился толстый полковник МГБ, судя по цели его визита и произнесенной речи — врач. Он был главным врачом тюрьмы и почтил меня своим визитом, чтобы уговорить принимать пищу. Он меня информировал, что хотя тюремная пища отличается от той, которую я получал на свободе, но она вполне доброкачественная. Свой краткий, жесткий по тону уговор

он сопроводил угрозой принудительного кормления, оставив без внимания разъяснение, что я не ем не потому, что активно не хочу, а потому, что не могу. Чтобы избежать реализации его угрозы, я в дальнейшем перестал возвращать через окошко несъеденную пищу, а осторожно опускал ее в канализацию через стульчак. Но это, как и все, что происходило в камере, не укрылось от наблюдателей, и один из надзирателей, в котором были несомненные проблески человечности (несколько слов я ему еще посвящу), однажды вошел в камеру и тоном доброжелательного упрека сказал: «Зачем вы это делаете? Ведь мы все видим. Надо кушать!» Об отношении к еде был информирован и мой куратор, который тоже меня убеждал (отнюдь не из человеколюбия) в необходимости есть для сохранения сил, которые мне еще очень понадобятся. Трогательное предупреждение! Такова была обстановка моего тюремного быта, в его будничной форме, не осложненной дальнейшими воздействиями, о которых речь впереди.

В мою камеру иногда доносились звуки из внешнего мира — ближайшего и отдаленного. Из ближайшего окружения однажды донесся громкий бред заключенного, несомненно помешавшегося. Это были выкрики отдельных, не связанных между собой слов, обращенные к какому-то Лёшке, громкие уговоры надзирателя, безуспешно пытавшегося успокоить лишившегося рассудка заключенного. Через несколько часов он затих, или был увезен, что вероятнее. Бредовые крики умалишенного в тюремной тишине звучат до сих пор, спустя много лет. Видимо, страшным было это сочетание тюрьмы и сумасшедшего дома в одних и тех же стенах.

Из внешнего мира иногда доносился рев аэродинамической трубы (поблизости, вероятно, был ЦАГИ *), сотрясавшей стены здания. Первый раз я услышал его во время так называемой прогулки. Меня вывели на нее спустя несколько дней по прибытии, когда я еще не знал, что такое тюремная прогулка. Через какие-то переходы меня впустили в замкнутое высокими бетонными стенами пространство площадью около 40 кв. метров, из которого виден был только клочок неба и вышка с часовым. Едва я вступил в этот загон, как раздался рев трубы. Разумеется, это было случайным совпадением, но тогда, не имея еще опыта, я расценил это по-другому. Я решил, что меня ввели в эту бетонную коробку

---

* Центральный аэрогидродинамический научно-исследовательский институт им. Жуковского.

для расстрела и запустили сирену, чтобы заглушить выстрелы. Веселая прогулка! В дальнейшем я привык к этому реву и даже использовал его: садился на койку, поднимая воротник пальто, якобы закрывая уши от него, и, закрывая укрытые воротником от надзирательской бдительности глаза, пытался подремать «под шумок».

Один раз в 10 дней приезжала «лавка». Это была тачка, возница которой передавал через окно в двери набор продуктов: пачку печенья, пакет сливочного масла, копченую колбасу, иногда — репчатый лук, а также кусок туалетного мыла и папиросы. Деньги за это с аккуратной и точной щепетильностью удерживались из изъятых у меня и хранившихся у администрации денег и из денежных передач моей жены. Остаток денег с пунктуальным расчетом был мне возвращен почтовым переводом по освобождении. Я не курил и однажды сказал лавочнику, чтобы он передал полагающиеся мне папиросы за мой счет кому-нибудь из заключенных, не имеющих денег для их приобретения. Предложение было с негодованием отвергнуто. Спички держать не разрешалось, и как заключенные закуривали — не знаю.

Посвящением в арестанты была также процедура взятия оттисков пальцев (дактилоскопия) и фотографирование. Для этой цели меня вскоре по прибытии проводили в подвал, где был фотограф и стационарная фотокамера. Фотограф с профессиональной заботливостью усадил меня, придал должное положение, как в лучшем фотоателье, предложил застегнуть на пуговицу воротник казенной сорочки («а то некрасиво!»), сфотографировал анфас и в профиль, но, кажется, не поблагодарил, что было не единственным отличием от фотоателье. Затем здесь же намазал на подушечку пальцев черную краску, и мой дактилоскопический рисунок был увековечен для уголовного архива.

Однако надо вернуться в камеру к надзирателю, пригласившему меня на первый в этом доме допрос. Через какие-то переходы я был препровожден в здание учрежденческого типа с широкими коридорами, в которые открывались двери кабинетов, как в любом офисе. Я был введен в один из кабинетов, где меня ждал следователь, с которым накануне была встреча на Лубянке. Встретил он меня с прежней надменностью и каменным лицом, но, как показало дальнейшее знакомство, это была профессиональная маска. По существу, никакой надменности у него не было, лицо было подвижным, с живой мимикой. Напускную важность он сбрасывал, компенсируя ее другими профессиональными качествами следователя МГБ: нагловатой развязностью,

воспитанной превосходством своего положения во взаимоотношениях следователь—заключенный.

Справа от входной двери были привинченные к полу стул и маленький стол. Слева у стены в отдалении — большой стол, за которым восседал «куратор». По-видимому, он гордился своим кабинетом, так как однажды в присутствии нескольких своих молодых коллег (по-видимому, у них шла дискуссия на эту тему) обратился ко мне, как к арбитру (как я потом вычислил, это было в период намечавшегося перелома в ходе «дела»), с вопросом: «Какой кабинет мне больше нравится: его или тот, в котором меня накануне днем допрашивал какой-то полковник (об этом допросе и полковнике расскажу ниже)». Я ответил, что мне больше всего нравится мой невзрачный кабинет в прозектуре 1-й Градской больницы. Ответ вызвал удивленное переглядывание дискутирующих, причина чего мне была тогда непонятна. По-видимому, они уже знали о намечавшемся переломе в ходе «дела» и их что-то поразило в моем ответе.

Пригласив занять положенное мне место на привинченном стуле, следователь информировал меня о том, что он — мой постоянный следователь, что решение всех могущих возникнуть у меня вопросов зависит только от него (давая понять, что я принадлежу ему как одушевленная вещь) и что, следовательно, если я хочу, чтобы эти вопросы им решались в положительную сторону, то я должен вести себя хорошо. Я хочу дать наперед общую характеристику этому следователю. Он отрекомендовался помощником начальника следственного отдела; почему меня им почтили — не знаю. К нему часто приходили для каких-то консультаций другие следователи, и я с нескрываемым любопытством разглядывал их. Это была молодежь, несомненно, с юридическим образованием, и у нас были общие знакомые среди профессуры. Посещавшие моего, следователи были люди с обычными человеческими лицами, во внешности которых не было ничего звериного; это вызывало мое удивление в силу диссонанса между такой внешностью и тем гнусным людоедским делом, которое они делали. Звериная внешность — это, по-видимому, сценическая и кинематографическая стилизованность подобных деятелей. Многие самые отъявленные душегубы, самые жестокие и бессердечные гестаповцы часто имели обманчивый вид херувимов. Один из следователей, посещавший моего, молодой парень с фурункулезом, был следователем жены Вовси. Я просил его передать ей привет (что он выполнил) и просил не очень ее мучить. Он запротестовал против самого факта мучений

и спросил у меня, почему я так внимательно его рассматриваю. Я ответил, что из любопытства, что он напоминает мне кого-то из моих студентов и что его внешний облик плохо вяжется с его функциями. Он мне ответил: «А что, мы разве другие люди?» Они действительно считали себя людьми и, мне кажется, могли бы ими быть в другой общественной формации и в другой профессиональной области. Мой «херувим» был сложным парнем — неглупым, хитрым, разбитным, с скудными, поверхностными, но все же какими-то сведениями из разных областей литературы и биологической науки. Может показаться странным, но у меня не осталось чувства озлобления или ненависти по отношению к нему. Более того, я до сих пор храню некоторые чувства благодарности ему за те проявления человечности, которые у него иногда проскальзывали, за те некоторые контакты и беседы на вольные темы, которые он иногда допускал и которые были для меня какой-то отдушиной в одиночном заключении. Иногда мне казалось, что в нем прорезывались какие-то элементы сочувствия к моей судьбе. Но при всем этом он был следователем МГБ и старательно выполнял свою роль: добиваться признания того, чего не было, и тенденциозно интерпретировать, соответственно заданию, то, что было.

После его информации о принципиальных основах наших взаимоотношений, я у него спросил о том, где я нахожусь. Он ответил: «В Лефортовской тюрьме». Я внутренне похолодел и понял, что мое дело — плохо. Лефортовская тюрьма имела самую ужасную репутацию среди всех московских тюрем. Считали, что из нее никто не выходил, что само заключение в эту тюрьму — это уже приговор, это — обреченность на самое ужасное. У моей жены был мистический страх перед этой тюрьмой, одно название которой повергало ее в ужас. К счастью, она не знала, что я в ней нахожусь, и думала, что я — на Лубянке. Она позднее говорила, что не выдержала бы, если бы знала, что я — в Лефортовской тюрьме.

Мне трудно сравнивать эту тюрьму с другими, на Лубянке я пробыл только сутки (об этом важнейшем эпизоде я ниже расскажу) и уловил лишь разницу в том, что там пищу приносила в камеру официантка в белом переднике и с белой наколкой на голове и что в камере не было санитарных приспособлений лефортовской одиночки, которые я высоко ценил. Но Л. С. Штерн, проведшая около трех лет на Лубянке и привезенная для устрашения в Лефортовскую тюрьму, где провела 20 суток, вспоминая этот период,

назвала Лефортовскую тюрьму преддверием ада. Все познается в сравнении! Мне сравнивать было не с чем, и я был доволен, что все заключение провел в «одиночке», а не в общей камере. Я предпочел быть один, чем в обществе чужих, незнакомых товарищей по несчастью, каждый из которых мог оказаться провокатором. Лучше физическое одиночество, чем скованное одиночество в людском коллективе. Таким образом, хотя сие от меня не зависело, но один из пугающих факторов режимной тюрьмы — «одиночка» — совпал с моим желанием назло авторам режима. Трудно сказать, насколько сохраиилось бы это желание при длительном заключении.

Итак, начались ежесуточные ночные бдения с перерывом в воскресные дни, когда мой куратор, как и всякий трудящийся Советского Союза, имел право на отдых. Бдения начались, как я уже говорил, с определения взаимоотношений с следователем, информацией о месте моего обиталища и с одной очень важной информации. Бодрым тоном, имеющим целью, по-видимому, вселить бодрость в меня, мой куратор перед переходом к допросу предупредил меня, что расстрел мне не угрожает. Это — своеобразное начало следствия. В обычном судопроизводстве определение наказания вытекает из хода следствия и завершается вердиктом суда. У советской Фемиды сталинской эпохи все было поставлено с ног на голову — все было предопределено с самого начала, даже приговор. Впрочем, может быть, таким ободряющим прогнозом мой куратор хотел добиться от меня полноты и многообразия признаний без боязни расстрела, даже если эти признания будут чудовищным самообвинением в страшных преступлениях. Освободить меня от этой боязни, вероятно, нужно было еще и потому, что статьи уголовного кодекса, по которым я был арестован (58,8; 58,10; 58,11), предусматривали расстрел. Я совершал свои преступления не в одиночку, а в организации (ст. 58,11) и, следовательно, мог без боязни расстрела раскрывать и свое мнимое участие в преступной организации и выдавать и оговаривать других ее участников. В дальнейшем, однако, куратор решил лишить меня сознания, что я не буду расстрелян. Впрочем, этого сознания у меня и не было, несмотря на ободряющее предупреждение. Я знал, где я нахожусь, с кем имею дело, а смысл статей уголовного кодекса, за преступное нарушение которых я был арестован, и причитающееся за них наказание мне разъяснил куратор. Я не видел оснований, почему для меня могло быть сделано исключение. Статья 58,10 — антисоветская пропа-

ганда, статья 58,8— активные террористические действия, статья 58,11— усиливающая значение предыдущих статей коллективным характером преступлений, совершенных в преступной организации. 58 статья — самая страшная в советском Уголовном кодексе, ею широко пользовались в годы сталинского террора. Чем она угрожает, я знал и до разъяснения следователя. По ходу следствия и по результатам допросов он убедился, что не достиг успеха в признании мной не только участия в террористических актах группы «врачей-убийц», но и в самом существовании этих актов. Тогда он пустил в ход следующую аргументацию. «У Вас репутация умного человека, а ведете Вы себя как дурак». Эту характеристику я недавно слышал и от моей восьмилетней внучки, возмущенной тем, что я дал пьянице-плотнику деньги за намеченную работу вперед; деньги он, конечно, немедленно пропил и исчез. Внучка изрекла почти дословно слова следователя: «Дедушка с виду умный, а поступает как дурак». Я не обиделся, признав заслуженность характеристики, и вспомнил следователя. Следователь подкрепил эту характеристику ссылкой на М. С. Вовси в качестве примера для меня. «Вот Вовси ведет себя как умный человек и, может быть, сохранит себе жизнь, а Вы ведете себя как дурак». Я напомнил ему его заявление, что мне не угрожает расстрел, на что он ответил: «Это — как народ потребует!» Народ, конечно, потребует казней. Эту оптимистическую перспективу, кстати, я слышал от моего следователя и его коллег, обсуждавших вслух в моем присутствии намечаемый ритуал казней, совпадающий с тем, который я слышал, находясь на свободе до моего ареста. Не получив важнейших признаний обещанием сохранения жизни, он, по-видимому, решил достигнуть их угрозой казни. Должен, однако, сознаться, что, в силу особенностей моего характера, я не представлял себе реально эту угрозу. Для меня она была абстракцией, и в конкретную реальность превратилась бы, вероятно, непосредственно перед ее реализацией. Впрочем, может быть, этот психологический настрой не является моей персональной принадлежностью, это — жизненная сила в одной из ее форм.

Перейду к ночным бдениям. Передать все фантасмагорическое содержание их в виде связного повествования чрезвычайно трудно. На протяжении многих ночей жевалась одна и та же тема с многочисленными отвлечениями от нее в сторону к неожиданным вопросам куратора — неожиданным для меня, но, по-видимому, им заранее подготовленным. В технику допроса, вероятно, входили такие неожиданности, рассчитанные на растерянность допрашиваемого с

тем, чтобы «подловить» его на этой растерянности. Эту же цель, вероятно, имел возврат к уже пройденному, авось и здесь образуется какая-нибудь щель, в которую следствие сможет влезть и расширить ее до размеров признания того, чего не было. Эти следовательские приемы неоднократно освещены в художественной литературе с разной степенью таланта следователя, разным интеллектом подследственного, разным талантом писателя. Мне трудно сопоставить в моем деле талант следователя и интеллект подследственного. Должен, однако, заметить без излишней скромности, что последний «органами» был оценен высоко, как в их агентурной характеристике, так и в оценке одного из крупных деятелей МГБ (я не знаю его фамилии, по многим признакам он был в чине генерала), присутствовавшего на одном из допросов. Агентурная характеристика, с которой познакомил меня следователь, гласила, что я — крупный ученый, с именем широко известным в СССР и за рубежом, умный, хитрый, требующий внимательной настороженности при допросах. Таково же было и впечатление генерала, о чем мне сообщил следователь. Что касается агентурной характеристики, то я ответил на нее следователю, что произошла роковая для меня ошибка: была переоценена моя роль и мое место и в преступном, и в научном мире, имевшая следствием мой арест.

Все же вопросы, бывшие предметом обсуждения ночных бдений, весь их сумбур, доступны систематизации. Они касались двух основных тем: 1) еврейский буржуазный национализм; 2) участие в террористических актах организации «врачей-убийц». Обе эти темы взаимно связаны и соподчинены в реальной преступной деятельности автора и других членов злодейской шайки. Как и в первой встрече, беседа на конкретные темы началась с предложения куратора рассказывать о моих преступлениях. Самостоятельно конкретизировать их я не мог, так как никак не мог уразуметь, что такое еврейский буржуазный национализм. Мой следователь мне помог, зачитав показания одного из видных обвиняемых, касающиеся меня. В этих показаниях я был обрисован как защитник евреев — сотрудников Института морфологии Академии медицинских наук, подвергавшихся гонению. Это показание соответствовало действительности, я старался оказать посильную поддержку сотрудникам института, национальность которых была единственным поводом для создания для них тяжелых служебных и, следовательно, жизненных ситуаций. С этого момента в следствии началось мое прозрение, я понял, что такое еврейский бур-

жуазный национализм и почему я — еврейский буржуазный националист, враг советского народа. Оказывается, создавать для евреев совершенно откровенно и беззастенчиво тяжелые служебные и моральные ситуации, как это делал, в частности, начальник отдела кадров Академии медицинских наук профессор Зилов,— это не преступление, хотя соответствующая статья (антисемитизм) в нашем Уголовном кодексе имеется, и в двадцатых годах были случаи ее применения. А выступать в защиту обижаемых по национальному признаку и даже только сочувствовать им — это преступление, имеющее название — еврейский буржуазный национализм. Я не стал отрицать своих взглядов по этому вопросу, я не считал их преступными. Вообще моя линия поведения в следствии была совершенно четкая, хотя следователь однажды сказал, что он не может ее понять. А линия была простая: признавать свои взгляды и действия, в которых не было ничего предосудительного (разумеется, с моей точки зрения), и категорически отрицать то, чего не было в действительности. Вот этой линии следователь никак не мог понять: почему я признаю и развиваю некоторые взгляды, квалифицируемые по пунктам 58 статьи, а другие, квалифицируемые по тем же пунктам, категорически отвергаю. Он, видимо, никак не мог понять, что я в своих показаниях нигде не лгу, хотя я не считал себя обязанным излагать все свои мысли по поводу окружавшей меня на свободе действительности. А эти мысли были, особенно в последний период, очень мрачными.

Став на стезю «еврейского буржуазного национализма», я с полным знанием вопроса излагал многочисленные факты ограничений, которым подвергались люди еврейской национальности в различных областях советской жизни и которые были мне известны.

Следующий допрос начался с заявления следователя, продолжающего «беседу» накануне. «Вот Вы сказали, что имеются вузы, в которые евреи не были приняты. Это — возможно; но это не потому, что они — евреи, а потому, что никто из них не отвечал строгим социальным требованиям для поступления в этот вуз». По всей вероятности, он получил инструкцию о таком разъяснении во время коллективного обсуждения в следственном отделе материалов предыдущего допроса всех обвиняемых по данному делу, допрос и показания которых часто были перекрестными. Выслушав это «разъяснение» следователя, я сказал, что нахожу его очень интересным и что если будет суд, то я заявлю, что, по разъяснению следователя, при приеме в вузы соци-

альный отбор превратился в национальный. Следователя это почему-то задело, поскольку он с запальчивостью воскликнул: «Вы меня передергиваете!» Я невольно улыбнулся такой переоценке моих возможностей и моих намерений в такой ситуации. Я привел также те указания, которые мне, как заместителю директора Института морфологии, передавала зав. отделом кадров института. Эти указания, которые она должна выполнять и вынуждена была меня об этом информировать, заключались в препятствиях в приеме на работу сотрудников-евреев.

Я привел в качестве аргументации несомненной дискриминации евреев, как государственной политики, а не как местного партизанского антисемитизма (таковой, по-видимому, никогда не был заглохшим), эпизод с изданием руководства — справочника по гистологической диагностике опухолей. В таком справочнике была крайняя необходимость, учитывая исключительную практическую важность в правильной характеристике опухоли, особенно в материалах биопсий. Об этом я уже писал выше и должен еще раз отметить колоссальную ответственность перед больным, которую несет патологоанатом при гистологическом заключении о существе опухоли. Необходимо было вооружить патологоанатомов справочником, который помог бы им в гистологической диагностике опухоли. Такого справочника в нашей медицинской литературе не было. Я взял на себя инициативу издания в русском переводе американского справочника, составленного крупнейшим знатоком морфологии опухолей Футом. Этот справочник был издан у нас в 1950 году под моей редакцией и с моим предисловием. Он был немедленно буквально расхватан из книжных магазинов и скоро превратился в библиографическую редкость, хранимую прозекторами в сейфах. Наряду с откровенной, а также и скрываемой благодарностью за этот справочник со стороны массы патологоанатомов не было недостатка и в шипениях (большей частью все же скрытых) по поводу моего «космополитического» поступка. Даже ходили слухи о том, что я имел крупные неприятности из-за издания Фута. Издание руководства Фута на русском языке подстегнуло необходимость издания собственного, аналогичного руководства, написанного советскими авторами. Организация составления такого руководства была возложена на Ленинградский институт онкологии, и персонально — на заведующего патологоанатомическим отделением этого института профессора М. Ф. Глазунова, крупного специалиста в области морфологии опухолей. Область морфоло-

гии опухолей чрезвычайно обширна. Один автор, как бы опытен он ни был, практически не в состоянии овладеть всем многообразием структуры опухолей, зависящим и от строения органа, в котором развивается опухоль, и от многочисленных вариантов структуры самой опухоли в одном и том же органе, от степени ее зрелости, добро- и злокачественности и т. д. Поэтому произошла известная специализация патологоанатомов в какой-либо определенной области онкологии при практической необходимости давать заключения по разнообразным материалам биопсий. Сам М. Ф. Глазунов, будучи разносторонним специалистом в области морфологии опухолей, все же известен был как знаток опухолей женской половой сферы. В силу этих обстоятельств создание руководства, о котором идет речь, могло быть выполнено коллективом авторов, имеющих специальный опыт в морфологической характеристике определенной группы опухолей. М. Ф. Глазунов обратился к ряду специалистов с просьбой принять участие в составлении руководства соответственно их персональному опыту, и среди них — ко мне и к академику Академии медицинских наук Л. М. Шабаду, известному онкологу-теоретику. Оба ответили согласием на просьбу М. Ф. Глазунова, указали разделы руководства, написать и иллюстрировать которые мы берем на себя, и получили благодарное подтверждение авторства по этим разделам с указанием их объема. Это происходило в 1951 году. В дальнейшем Глазунов хранил молчание в течение всего 1952 года, которое мне показалось подозрительным.

Точно помню дату —6 января 1953 года — я неожиданно встретил Глазунова на заседании Общества патологоанатомов. Мы поздоровались, обменялись любезностями, но о руководстве он не проронил ни звука, как будто этого вопроса и моего участия в нем не существует. Сидя рядом с ним на заседании, я спросил у него о цели его приезда из Ленинграда. Он ответил, что приехал для заключения формального договора с Медгизом на издание руководства, и опять хранит молчание о моем авторстве. Мне все стало абсолютно ясным, но я решил получить от него самого подтверждение моих подозрений и задал явно провокационный вопрос: «Значит, писать?» В ответ М. Ф. Глазунов сделал какой-то неопределенный жест рукой, смысл которого не оставлял никаких сомнений. Я спросил: «А Шабаду?» Он ответил лаконично: «Никакого исключения». После заседания он информировал меня о подробностях. Когда он явился к директору Медгиза профессору психиатрии Банщикову (разговор происходил в присутствии главного редактора изда-

тельства профессора А. И. Струкова), Банщиков вычеркнул из списка авторов книги меня и Шабада (только два еврея в этом списке и были). Возражение Глазунова, что это ставит под угрозу издание всего руководства в целом, Банщиков оставил без всякого внимания. Глазунов информировал немедленно об этом президента Академии медицинских наук академика Н. Н. Аничкова, но тот, как выразился М. Ф. Глазунов: «Был не счастливее меня». Так это руководство и не было издано, и патологоанатомы в течение почти 25 лет пользовались зачитанным до дыр «Футом». Лишь спустя 25 лет был написан и издан соответствующий справочник по гистологической диагностике опухолей.

Я рассказал следователю об этом эпизоде, с исчерпывающей и не допускающей никаких комментариев ясностью вскрывающем не прикрытую никакими фиговыми листками дискриминацию ученых-евреев (иногда она стыдливо прикрывалась прозрачным и дырявым покрывалом). Следователя моя информация очень обозлила. Но он обрушился не на Медгиз, допустивший такую беззастенчивую дискриминацию, а на Глазунова, рассказавшего об этом, с угрозой по его адресу: как он смел это рассказать! Я не боялся подвести Глазунова — он из коллегиальных соображений вынужден был разъяснить мне причины моего и Шабада устранения из авторского коллектива, чтобы снять вину с себя. Кроме того, никто не обязывал его (к тому же беспартийного) держать в секрете всю эту историю с изгнанием из литературы двух ученых — членов КПСС, тем более что истинные пружины изгнания были совершенно очевидны и без его разъяснения. Конечно, следователь, как и можно было ожидать, только бахвалился угрозой по адресу Глазунова, понимая, что с того — «взятки гладки».

Попутно хочу рассказать еще об одном эпизоде, хотя не фигурировавшем в следственном материале, но возникшем в этот период и иллюстрирующем обстановку в период подготовки к «делу врачей» в медицинском мире. Еще во время войны мной было издано учебное руководство «Курс патологии». Оно завоевало популярность и было несколько раз переиздаваемо в Москве, в союзных республиках (Украина, Грузия, Эстония) и за рубежом (Болгария, Китай). Очередное издание в Москве вышло в 1950 году. В мае 1953 года, вскоре после моего освобождения, я получил из Медгиза (просто для моего сведения) рецензию на это издание. Авторы рецензии — кандидаты медицинских наук А. К. Юхлов и А. Г. Эйнгорн. Первого автора я не знал и никогда ничего о нем не слышал, второго знал. В бытность

мою зам. директора Института морфологии он был аспирантом института и работал в лаборатории профессора А. И. Струкова. Он был известен в институте как разгильдяй, какой-то разболтанный, с очень средними способностями. Вскоре после завершения аспирантуры он был мобилизован в армию на преподавательскую работу.

Рецензия, которую написали эти два «корифея», датирована декабрем 1952 года, по-видимому, она специально понадобилась спустя два года после выхода книги. И, как в дальнейшем подтвердил Эйнгорн, была им специально срочно заказана. Авторы проявили много усердия, о чем свидетельствует не только содержание рецензии, но и ее объем (11 страниц машинописи). По общему смыслу, особенно для того времени, это была не рецензия, а донос. В конкретных вопросах патологии авторы не ограничивали себя необходимостью мало-мальски добросовестного освещения соответствующих текстов книги. Это — обычный прием «торговой критики», по Белинскому: навязывать автору то, что им хотелось бы видеть у него, а затем подвергать это разгрому. Но даже и здесь они проявляли невежество как в анализе материалов книги, так и в рекомендациях автору. В вопросах теоретической патологии они были на уровне невежественных завихрений того периода. Однако их псевдонаучная дребедень несомненно мало интересовала заказчиков рецензии; она нужна была только в качестве псевдонаучного прикрытия основной цели рецензии. А эта цель заключалась в доказательстве того, что автор книги — заклятый вирховианец, протаскивающий в учебнике вредную методологию. Рецензия у меня хранится как документ эпохи, а книга была еще раз издана после 1953 года.

В следующем, 1954 году летом была в Ленинграде Всесоюзная конференция патологоанатомов. В перерыве между заседаниями в фойе ко мне подходят два человека в военной форме (один в чине подполковника, другой — майора); в одном из них я узнаю Эйнгорна. С радостью на лице последний меня приветствует и представляет своего спутника — начальника кафедры и называет его фамилию. Я отвечаю, что фамилия мне знакома, и вижу на его лице радостное удивление; он полагал, по-видимому, что его фамилия мне знакома из научной литературы. Я быстро разочаровал его, сказав, что единственный литературный источник, где я встретил его фамилию, это — рецензия на мою книгу. Оба смущены и несколько растеряны. Но я подбодрил их своим тоном полного доброжелательства. Я сказал им, что благодарю за совет освободиться от вирховианства и в порядке

взаимности хочу дать им свой совет: хоть что-нибудь заимствовать от вирховианства, если имеют намерение хоть немного овладеть основами патологии. На этом «дружеская встреча» закончилась. Неожиданно, спустя почти 5 лет, мне были раскрыты тайные движущие силы этой рецензии, о которых я подозревал. Произошло это при следующих обстоятельствах. В это время по приглашению академика А. Н. Бакулева я занял место заведующего лабораторией патоморфологии в организованном им Институте сердечно-сосудистой хирургии (теперь носящем его имя). Мне нужны были сотрудники для работы в лаборатории; было объявлено в газете о конкурсе на места старших и младших научных сотрудников. Неожиданно ко мне является Эйнгорн с сообщением, что его направил ко мне профессор А. И. Струков*. Эйнгорн сообщил, что он в ближайшее время будет демобилизован, возвращается в Москву и хотел бы занять место старшего научного сотрудника в моей лаборатории. Его бесстыдство меня не удивило. Поэтому он искренне удивился моему категорическому отказу принять его в мою лабораторию. Я ему заявил, что не только не поддержу его кандидатуру, если он подаст на конкурс, но и буду активно возражать против нее, и на его недоуменный вопрос (он, по-видимому, искренне ожидал, что я его приму с распростертыми объятиями) я мотивировал свое отношение следующими аргументами. Прежде всего, его низкой квалификацией, ничтожные размеры которой, полученные им в аспирантуре, он растерял во время многолетнего пребывания на военной службе, с чем он согласился. Далее я сообщил ему, что не забыл его подлой рецензии, что он понимал, что значила в то время такая рецензия: автор рецензируемой книги подлежал если не физическому, то полному научному уничтожению. Для такого утверждения у меня были полные основания не только в общем опыте многих прошлых лет расправы с учеными, выпадающими из русла торжествующего и воинствующего невежества, но и в персональном опыте, приобретенном в Лефортовской тюрьме, о чем я еще скажу несколько слов ниже. Удивленный Эйнгорн рассказал мне историю этой рецензии в искреннем убеждении, что его вины здесь нет, он был только исполнителем

* А. И. Струков, выдающийся учеиый патологоаиатом, академик АМН СССР, Герой Социалистического Труда. Он принимал участие в работе центрального партийного аппарата. Это, конечно, иакладывало на него обязательства к выполнеиию указаний свыше, касающихся медицинской науки и ее учреждеиий.

поручения, данного ему главным редактором Медгиза — А. И. Струковым. Уточняя, он рассказывал следующее. Однажды осенью 1952 года его вызвал с места службы А. И. Струков и поручил ему и его начальнику кафедры написать разгромную рецензию на мой учебник и преподал общий инструктаж об основном содержании рецензии. Когда рецензия была написана, их вдвоем снова вызвали в Москву к директору Медгиза профессору Банщикову. Тот, ознакомившись бегло с рецензией, сказал, что очень важно ее срочно опубликовать в «Архиве патологии», и она была сдана вне очереди в набор. Уже были получены гранки печатаемой рецензии, но в это время меня арестовали. По правилам того времени, имя арестованного в любом контексте, даже отрицательном, подлежит забвению, его труды изымаются из библиотек, даже хранение их в лабораториях или в домашних условиях считалось предосудительным, категорически воспрещались ссылки на них в научных работах. Память об арестованных должна быть стерта. Мне известен случай, когда обнаружение при обыске произведений расстрелянного государственного деятеля (например, книги Вознесенского) приравнивалось к хранению нелегальной литературы. После моего ареста рецензия была изъята из печати, набор ее рассыпан, и только арест оградил меня от литературной мерзости. Хороша защита от нее! Несмотря на это разъяснение, я не амнистировал Эйнгорна. Так он и не понял, чем он мне не нравится. Ведь он был только исполнителем, а не инициатором!

Вопрос о моих научных убеждениях неоднократно возникал во время допросов. Следователю они были хорошо известны через многочисленных осведомителей. В объемистом двухтомном моем досье содержались не только общие материалы, характеризующие меня с этой стороны, но и содержание отдельных выступлений. Так, например, следователь однажды в обличительном негодовании сказал: «Вы понимаете, до какого падения Вы дошли, чтобы сравнить величайшего ученого современности — Бошьяна — с дохлой лошадью». Я забываю содержание многих своих аналогичных выступлений, но следователь мне напомнил об этом. Оно, действительно, было в аудитории анатомического корпуса на Моховой, где обсуждались в присутствии многих слушателей злободневные в то время вопросы медицинской науки. Говоря об «открытии» Бошьяна, я держал в руках его тощую монографию. Крупный деятель здравоохранения, держа также в руках эту книгу, провозгласил ранее перед многочисленной аудиторией: «Старая

микробиология кончилась, вот вам новая микробиология» (как новое евангелие медицины). В этой книжонке неуч и шарлатан Бошьян разнес вдребезги учение Пастера на основе своих грязных опытов. Впоследствии он был разоблачен как невежда и шарлатан, лишен присужденных ему высших ученых степеней и канул в неизвестность. Так вот, этого гения я сравнил в своем выступлении с дохлой лошадью в таком контексте: «Я не касаюсь вирусологической части этой книжки, это не моя специальность. Но здесь автор приводит протоколы вскрытия павших лошадей, и здесь я, как патологоанатом, должен засвидетельствовать, что эти протоколы писал не патологоанатом, а сама лошадь перед тем, как издохнуть. Это — бред издыхающей лошади». Вот до какого падения, в патетическом обличении следователя, я дошел!

Найдя у меня среди изъятых материалов фотографию О. Б. Лепешинской, следователь спросил: «Откуда у вас при вашем отношении к ее открытиям фотография Лепешинской?» Эта фотография была дарована мне О. Б. Лепешинской с дружеским автографом на обороте. В ответ на вопрос следователя я рекомендовал ему прочесть автограф на обороте фотографии (кстати, я ее сфотографировал у себя на даче), чтобы убедиться, что я ее не купил.

История моих отношений к О. Б. Лепешинской и ее открытиям имела неожиданное продолжение на расстоянии 6 000 километров от Москвы в городе Фрунзе (Киргизия), и, по-видимому, следователь знал о ней, дополняя известные ему по московским материалам данные. О фрунзенском варианте этой истории мне рассказал мой близкий знакомый — К-н. Это образованный историк и крупный знаток истории США. В 1948 году он опубликовал книгу о послевоенной истории США. Книга чем-то не понравилась в «верхах», на нее появилась разгромная рецензия в партийном журнале, в результате чего он отбыл во Фрунзе для преподавания там политической экономии в медицинском институте (репрессия относительно мягкая). В силу обстановки К-н погрузился в медицинский мир со всеми его интересами и нравами того времени. Как это нередко бывает в провинции, там еще более тщательно, чем в Москве, следили за всеми новыми веяниями в медицине, идущими из руководящих органов. Одним из таких злободневных веяний (помимо перманентного: «Сталин — великий корифей медицинской науки») был захлебывающийся восторг перед «гениальными открытиями» Лепешинской. Профессора обязывались в каждой лекции говорить об этих открытиях, и ди-

рекция и партийная организация института регулярно посылали специальных наблюдателей, чтобы контролировать выполнение этих обязательств. Эти наблюдения были перекрестными, и мой друг К-н тоже был привлечен к участию в них. Каждый профессор вынужден был усердствовать в прославлении Лепешинской в меру своей научной совести. У К-на установились дружеские отношения со многими профессорами Мединститута и среди них — с профессором гистологии Б. Последний, как и все, каждое свое выступление начинал с религиозного восторга перед «гениальными открытиями» Лепешинской, и его специальность обязывала его к этому, может быть, больше, чем других. К-ну же в частных беседах он сообщал свое подлинное мнение об этих открытиях, как о совершеннейшей ерунде, продукте абсолютного невежества. К-н укорял его в научном лицемерии и двуличии и приводил ему в качестве примера отстаивания интересов подлинной науки мои публичные выступления по этому поводу. Он случайно также был свидетелем той перепалки между мной и Лепешинской у меня на даче, когда я ей с полной и резкой откровенностью и с большой долей запальчивости изложил свое мнение об ее «открытиях»,— перепалки, закончившейся полным разрывом наших отношений. К ее чести должен отметить, что с ее стороны никакого непосредственного возмездия за это мое «инакомыслие» не последовало. В одной из бесед на эту тему с К-ном я пожаловался ему в несколько вольных выражениях на общую обстановку вокруг учения Лепешинской, говоря: «Мало того, что из этого г-на сделали конфету, так еще требуют от всех лакомиться этой конфетой». К-н эту формулу процитировал профессору Б. со ссылкой на меня как на автора.

Почти одновременно со мной К-н был арестован во Фрунзе. Перед его арестом в местное управление МГБ вызывали по очереди ряд профессоров Мединститута — членов КПСС, с которыми К-н особенно близко общался. Их информировали о том, что он будет в ближайшие дни арестован ввиду наличия бесспорных материалов о его шпионской деятельности в пользу США, но что «органам» надо разоблачить всю его антисоветскую деятельность, для чего они просят дать соответствующие материалы на основе непосредственного контакта с ним. Некоторые категорически отказывались давать такие материалы, говоря, что ничего предосудительного за ним не замечали. Один из профессоров поплатился за это жизнью от инфаркта сердца, наступившего во время обсуждения его «беспринципной» позиции по этому вопросу в партийной организации.

Профессор Б., однако, дал ряд компрометирующих К-на сведений. Среди них была информация о том, что он регулярно слушает по радио «Голос Америки» и неодобрительно отзывается об «открытии» Лепешинской. При этом профессор Б. воспроизвел в подлинности с указанием автора приведенную выше мою формулу оценки деятельности Лепешинской, как оскорбительную не только для этого великого ученого, но и для высоких организаций, декретировавших величие ее открытия. В этой формуле усматривалось грубое порицание деятельности этих организаций, что само по себе является государственным преступлением, и она была документально зафиксирована по показаниям профессора Б.

К-на судили уже после апреля 1953 года. Он был приговорен к 8-летнему заключению. Интересна дальнейшая судьба этой формулы. Спустя год К-н был возвращен во Фрунзе для пересмотра на месте его дела. Местное партийное руководство в лице секретаря ЦК КПСС Киргизии Раззакова оказывало давление на следственный аппарат, производивший пересмотр дела, поскольку он дал санкцию (а может быть, и указание) на арест профессора, старого члена КПСС. Реабилитация К-на могла нанести удар по престижу этого провинциального сатрапа. Ввиду этих обстоятельств из Москвы был командирован специальный следователь для проверки обстоятельств и поводов для приговора (Раззаков вскоре был отстранен от политической деятельности и канул в неизвестность). Московский следователь стал вызывать всех свидетелей, давших показания против К-на. Почти все они снимали свои показания, как данные под нажимом. Профессор Б. также отказался от ряда своих показаний, но на достоверности двух настаивал: на слушании «Голоса Америки» и на «конфете из г-на». Московский следователь, по-видимому, уже знал, из какого материала сделана научная конфета Лепешинской, но до Фрунзе это еще не дошло. Он, безусловно, знал также, что профессор Рапопорт был освобожден с полной реабилитацией, несмотря на то, что следствию было известно его авторство в этой «конфете». Во всяком случае, следователь сказал профессору Б. в присутствии К-на: «Профессор Рапопорт поступает как ученый, отстаивающий свои научные взгляды, а Вы в своих выступлениях говорите одно, а за глаза — совсем другое». Так был посрамлен Б. и реабилитирована «конфета». Дело К-на было пересмотрено, он был полностью реабилитирован, восстановлен в партии с сохранением стажа, здравствует и подарил советскому обществу и науке три интереснейших тома.

Весь этот эпизод может показаться смехотворным, но, по существу, это — мрачный штрих эпохи. Он является демонстрацией того, чем занимались органы, имеющие своей задачей, судя по их титулу, охрану безопасности государства; на что тратилась человеческая энергия, средства связи, материальные средства. Я должен извиниться перед возможным будущим исследователем эпохи за свою озорную формулу, для выразительности которой была принесена в жертву культура русской речи, но которая все же в какой-то мере отображает аромат эпохи. Да я и не предполагаю, что озорная формула может служить когда-нибудь материалом для хроники времен Сталина...

Моя научная уголовная биография оказалась чрезвычайно богатой. Следствию известны были не только мое отношение к открытию Лепешинской, Бошьяна, но и мои выступления в диспутах о «вирховианстве», в дискуссиях с проповедниками «нового направления в патологии», с борьбой против «неврологического деспотизма» в медицине, с выступлениями в защиту исследований Л. С. Штерн. Следствие считало меня активным противником учения И. П. Павлова. По-видимому, у меня была такая агентурная репутация, хотя в действительности я был только против опошления этого учения его эпигонами. Перечислив все мои научно-методологические грехи, следователь «успокоил» меня, что они не являются уголовным преступлением, предусмотренным уголовным кодексом. По-видимому, он считал, что у меня достаточно большой запас других преступлений, чтобы в качестве довеска не присоединять к ним и эти грехи. Если не иметь в виду отсутствие необходимости в этом, то и эти грехи могли быть трансформированы в тяжелое политическое преступление, как это было в делах генетиков, микробиологов, поэтов, писателей, работников искусства. Мои научные грехи в моем уголовном комплексе играли только роль фона. Как мне заявил мой куратор, они только важны следствию в качестве характеристики моей общей антисоветской физиономии, как яростного врага передовой советской науки и защитника реакционных учений Вирхова, Штерн. Так откликнулось мне в стенах Лефортовского замка мое донкихотское ауканье в схватках с невеждами и торгашами наукой.

Необходимо, однако, вернуться к основному содержанию следствия. Каждый сеанс его, после введения меня в кабинет следователя, открывался им следующим диалогом: «Ну».— «Что — ну?» (с повторениями). «Рассказывайте».— «Что рассказывать?» — «Вы сами знаете, что расска-

зывать».— «Мне нечего рассказывать из того, что вам нужно». Эта тошнотворная жвачка была увертюрой к каждому допросу; от одной мысли, что она предстоит, начинало сосать под ложечкой, как будто кто-то намотал на палец конец кишки и медленно ее накручивает на него (прошу извинить слишком натуралистическое анатомическое сравнение). После нескольких бесплодных «ну» следователь, заглянув в какую-либо из двух толстых папок с моим досье, подавал какой-нибудь конец преступной нити. Завязывалась беседа на тему еврейского буржуазного национализма и моего отношения к нему в аспекте изложенных выше уголовных трактовок этого понятия. Я был погружен в глубокую его трясину не только собственным опытом знакомства с откровенно беззастенчивыми проявлениями национальной дискриминации, о которой с полным знанием дела я рассказывал, но и доносами, показаниями сопроцессников, агентурными сведениями о моей реакции на то, что я в своем ослеплении наивно считал антисемитизмом. Были неожиданные намеки на националистические прегрешения, вошедшие в следственный материал, но о которых я с детской безмятежностью не подозревал.

Я не помню, сколько ночных сеансов было потрачено на жвачку еврейского буржуазного национализма. Сеанс каждый раз имел финал в виде протокола стандартного литературного оформления. В первом протоколе я обратил внимание на то, что в «паспортной» его части, помимо основных данных (имя, отчество, фамилия и др.), написано: «бывший член КПСС». Я возразил против эпитета «бывший», говоря, что из партии меня не исключали. Следователь мне разъяснил, что я исключен из партии.

Это было явным нарушением Устава партии, согласно одному из пунктов которого ни одно решение в отношении члена партии не может приниматься без его участия, а тем более — в его отсутствие. Оказывается, я уже не был членом партии, еще находясь на свободе, хотя и эфемерной. Не хватало только, чтобы я в тюрьме начал борьбу за соблюдение основных партийных принципов и заявил бы протест против их нарушения! Вдогонку и партийная организация Контрольного института после моего ареста исключила меня из рядов КПСС.

В стиль протокола вносилось много штампованной экспрессии, в задачи которой входило эмоциональное усиление излагаемого преступного факта. Так, например, мое утверждение о допускаемых несправедливостях по отношению к лицам еврейской национальности при приеме на рабо-

ту или при сокращении штатов в стилистической обработке изображалось так: «В диком озлоблении и звериной ненависти к советскому строю я клеветал на советскую действительность, утверждая, что лица еврейской национальности испытывают несправедливое отношение при поисках работы или увольнении с нее» (ручаюсь за общий стиль, но не за протокольную точность передачи самого факта). Иначе говоря, музыкальное озвучивание следователем пустякового факта придавало ему значение ужасающего преступления. Шутка сказать: дикое озлобление, звериная ненависть, клевета — ну как оставить на советской земле такого изверга! Расстрелять его! Или — пример следовательской передачи одного факта из моей биографии. После демобилизации из Советской Армии весной 1945 года я не вернулся во 2-й Московский медицинский институт, где я был профессором патологической анатомии и заместителем директора (теперь это называется — проректор) по научной и учебной работе, а перешел в Институт морфологии Академии медицинских наук, что отмечалось в приказе о моей демобилизации. Одновременно я вернулся на работу в патологоанатомическое отделение 1-й Градской больницы (главный врач А. Б. Топчан), где должна была разместиться и моя лаборатория по институту. Эти факты следователь в первой редакции протокола, в которую я потребовал внести исправления, отказываясь его подписать в такой редакции, изложил так: «После демобилизации из Советской Армии я *решил* не возвращаться во 2-й Московский медицинский институт, а *договорился* с еврейским буржуазным националистом Топчаном, что моя *дальнейшая* деятельность будет проходить в 1-й Градской больнице». На мой протест против формулировки «решил не возвращаться», «договорился», «еврейский буржуазный националист Топчан», «дальнейшая деятельность»— эти словесные выкрутасы имели задачей произвести впечатление преднамеренного преступного сговора для переноса моей преступной деятельности в 1-ю Градскую больницу и для дискредитации Топчана, мой куратор, делая наивное лицо, пытался утверждать, что в протоколе все изложено в полном соответствии с фактами без всякой тенденциозности. «Ведь для того, чтобы вернуться в 1-ю Градскую больницу, надо договориться, что Топчан — еврейский буржуазный националист — нам известно, а всякая работа — деятельность и т. д.».

По ходу бесед на основную тему моим куратором вводились некоторые интермедии. Например, вопрос: «Как имя-отчество Когана?» Я отвечаю: «Борис Борисович». Следует

смех: «Ха-ха-ха, Борис Борисович! Борух-Берко-Хаймович и т. д.» Я отвечаю: «Я в течение всего нашего многолетнего знакомства знал его как Бориса Борисовича, а его паспортное имя меня не интересовало». Далее продолжает куратор: «Кстати, везде по документам вы — Яков Львович, и под таким именем-отчеством вас знает вся Москва. Достаточно его произнести, как уже знают, о ком идет речь. А в одном из документов (он имел в виду мое метрическое свидетельство, выданное в 1898 году симферопольским раввином) видно, что имя вашего отца было не Лев». Я спокойно разъясняю: «Действительно, полное имя моего отца сложное: Шамай-Лейбович Иоселевич Шабсович, но в быту он назывался Лев Иосифович. Если вам хочется называть меня Яков Шамай-Лейбович Иоселевич Шабсович — пожалуйста ломайте себе язык, я мешать не буду» Ответа не последовало. Вдруг неожиданный вопрос: «Почему вы отказались сдать комнату Баргу? Он тоже сволочь?» История эта такова. Осенью 1952 года мы остались втроем в большой квартире из четырех комнат (жена, я и младшая дочь-школьница), ввиду отъезда на работу по назначению в г. Торопец нашей старшей дочери-врача. Ввиду затруднительного финансового положения семьи мы предполагали сдать одну комнату. Наши друзья порекомендовали нам их знакомого историка Барга, переехавшего в Москву из Львова, бывшего до 1939 года польским городом. Однако многолетнее опасение контактов с лицами из зарубежного мира, продиктованного подозрительностью к таким контактам со стороны МГБ, заставило нас воздержаться от сдачи комнаты бывшему польскому гражданину. О нашем отказе мы сообщили по телефону нашим друзьям. Этот факт, как и многие другие, был посвоему интерпретирован органами МГБ. Я разъяснил куратору причину отказа в сдаче комнаты Баргу, и на его недоверие к этой причине сказал ему, что они сами воспитали в советских гражданах страх перед контактами с чужеземцами. Куратор, однако, сохранил недоверие к этой причине и сделал вид, что видел ее в чем-то другом.

Среди внезапных «интермедийных» вопросов был задан такой: «Почему в перечне ваших знакомых, с которыми вы встречаетесь, вы не назвали Этингера?» Я не сразу сообразил, что речь идет о том перечне, который записал сотрудник МГБ при вербовке меня в осведомители в 1950 году, т. е. более двух лет тому назад. Я ответил, что, вероятно, забыл его назвать, чему куратор не поверил, сказав, что я это сделал умышленно. В этом он был прав. Я. Г. Этингер

был словоохотливый человек, любивший политические темы, которые он обсуждал с первым встречным в любой обстановке. При этом он игнорировал скользкость некоторых тем его бесед для того времени. Несомненно, органы безопасности знали об этом, поскольку он не стеснялся вести подобные монологи даже во время обхода больных в его клинике в присутствии многих врачей. «Органы», бесспорно, не нуждались в моей информации о его высказываниях, но я не хотел, чтобы они приставали ко мне с этим для дополнительной дискредитации Этингера. Этот эпизод иллюстрирует, между прочим, что в секретном досье «органов» на советского гражданина — всякое лыко в строку, а что мое досье велось и пополнялось много лет, я узнал во время следствия и после него. Однажды мой куратор стал зачитывать длинный список фамилий профессоров-медиков еврейской национальности, открываемый Певзнером, Збарским, с вопросом ко мне, кого из них я знаю. Я знал почти всех, поскольку медицинский мир Москвы тесен, а в этом списке большинство были известные ученые. Для какой цели был составлен этот список, остается тайной МГБ, но интересен самый факт его составления. Не для уничтожения ли их?

Я получил также несколько уроков об основах советской юридической науки, заложенных «корифеем» ее, академиком А. Я. Вышинским. Я, например, поинтересовался, зачем нужны мои признания в совершенных преступлениях, раз я изобличен в них еще до ареста, когда были известны не только мои преступления, но и определено наказание за них. Следователь охотно разъяснил, что сознание обвиняемого (состоящее из перечня вымышленных им самим преступных деяний) — это презумпция виновности. Я потом узнал, что этот принцип считается самым порочным в уголовном праве всех времен и народов. Далее, я поинтересовался, что такое антисоветские сборища, в которых я якобы участвовал. Следователь разъяснил, что это одно из определений преступного сообщества по систематике того же Вышинского. Сборище — это группа людей, может быть, даже из 2-х человек, не имеющая никакого плана антисоветских действий, но ведущая беседы контрреволюционного содержания. Организация — это более высокая антисоветская ступень, имеющая программу и план контрреволюционной работы.

Подытоживая результаты многосуточного труда по доказанности обвинения в еврейском буржуазном национализме, куратор остался крайне недоволен ими и мной. «Что

это за материалы?»,— воскликнул он: «Хаима уволили с работы, Абрама не приняли на работу — это я мог бы узнать в любом месткоме. Мне нужны другие материалы». Я отвечал, что я могу дать только те материалы, о которых, действительно, можно узнать в каждом месткоме; других у меня нет. Тем не менее и этих материалов оказалось достаточно для признания меня виновным по смертоносным статьям 58,8; 58,10; 58,11.

Следствие перешло к другому этапу — к материалам моего участия в террористической деятельности врачей. Собственно говоря, я искусственно расчленяю эти этапы; по ходу следствия они переплетались, но мое отношение к ним было различным. Если я не только не отрицал своих действительных поступков и мыслей, характеризующих меня как «еврейского буржуазного националиста» в трактовке этого понятия МГБ, то террор я отрицал начисто и категорически. Я отрицал не только свое участие в нем, но категорически отвергал возможность террористических действий со стороны арестованных клиницистов. Я говорил, что знаю всех их, со многими имел тесный рабочий контакт и дружеские отношения. Это — превосходные врачи, преданные своему делу и неспособные нанести умышленный вред своим пациентам. Следователю мое упорство в этом вопросе, видимо, надоело, и он решил сломить его следующим вопросом: «А вы, находясь в это время еще на свободе, читали сообщение ТАСС 13 января 1953 года?» Текст этого сообщения приведен выше, и в нем указано, что обвиняемые признали свою вину. Мне ничего другого не оставалось, как ответить, что я этому не поверил. Последовала бешеная ругань, прерываемая словами: «Так вы считаете, что это провокация МГБ!»

Возмездие последовало на другой день; мне трудно сейчас вспомнить, на какие сутки моей лефортовской жизни это было. Против обыкновения неожиданно меня вызывают на допрос днем, до обеда. В привычном кабинете я вижу моего куратора в необычное время. Вместо обычного «ну» — резкий вопрос: «Так вы будете давать показания или нет?» Я ответил стереотипным отрицанием. Последовало резкое: «Встать, руки назад»— и вдруг за спиной металлическое щелканье, и руки оказались неподвижно зажатыми в металлические жесткие наручники бесшумно вошедшим тюремщиком. Трудно описать их конструкцию, резко отличающуюся от кинематографических наручников, имеющих вид круглых гладких браслетов, соединенных цепью. По сравнению с моими наручниками те имеют почти игрушечный

вид. Я не знаю, запатентована ли конструкция наручников в советских тюрьмах спецрежима и засекречена ли она, но я думаю, что не выдам большой государственной тайны, если попробую их описать. Центральную часть наручников представляет плоский квадратный замок, размером приблизительно 8×8 сантиметров, толщиной около двух сантиметров. К обоим краям замка присоединены по две полулунной формы подвижных клешни, расходящихся и смыкающихся. Смыкающиеся края имеют зубчатую поверхность такого профиля, что при смыкании зубцы одной клешни входят в вырезки другой, образуя полный браслет вокруг запястий, на которые они надеваются. После смыкания обе заведенные назад руки неподвижно зажаты в браслетах и соединены замком. При инстинктивной попытке освободиться от наручников или при резком движении руками зубцы клешней смещаются только в одну сторону, защелкиваются на следующем уровне с сужением кольца браслетов. Надо ли говорить о физическом воздействии этих не совсем ювелирных украшений? Неловкое движение руками — браслеты защелкиваются на следующие зубцы, запястья оказываются стиснутыми в металлическом обруче, после чего, спустя короткий срок, кисти рук превращаются в пухлые отечные подушки. А снимаются наручники только три раза в день на 5—10 минут для еды и естественных человеческих потребностей. На время, отводимое для сна, руки перекладываются наперед и в таком положении, сложенные на животе, снова заковываются в наручники. Процедуру одевания и снимания наручников выполняют надзиратели. В том усердии, которое при этом проявляет тот или иной надзиратель, видна уже упомянутая дифференциация на собак и людей. Надзиратель-собака — особенно один из них — при каждом заведении рук за спину старался делать выламывающие и выворачивающие движения, причиняющие резкую боль, особенно левой руке, сломанной на фронте, и объем движений которой при заведении за спину был ограниченным. Наручники он надевал так, чтобы при ношении их грани браслетов причиняли боль. Человек (или получеловек)-надзиратель выполнял эту процедуру с каким-то виноватым лицом и даже один раз сказал мне то, на что он, вероятно, не имел права (вообще, надзирателям разговаривать с заключенным не разрешается): «Ведь нас заставляют это делать!» Он сказал это в ответ на мою просьбу не затягивать туго браслеты, но тут же разъяснил, что если их сделать свободными, то они будут болтаться на запястьях и травмировать руки. Он тщательно подбирал оптимальный

поперечник браслетов при их защелкивании. Дополнительное «неудобство» этих наручников то, что они не дают возможности вытереть нос, почесаться, что тоже бывает необходимо человеку, даже если он еврейский буржуазный националист и террорист.

После награждения наручниками я тут же был отправлен в мою камеру. Первое впечатление от всего происшедшего было ошеломляющим. Наручники были грубым вторжением в мой нудный, тягостный, но какой-то уже привычный быт. Здесь что-то новое и несомненно угрожающее. Ведь закован я, конечно, не из опасения побега. Наручники — это не только дополнительное мучающее воздействие, но и символ ничтожества того, на кого они надеты. Я слышал, что приговоренных к казни заковывают в наручники, а их символическое значение заключалось еще в одновременном автоматическом переводе на положение штрафника со всеми дополнительными ограничениями.

Я вернулся в камеру со смешанным чувством отчаянья, оскорбления, протеста против такого насилия и бессилия сопротивляться ему и дал выход этому чувству в том, что начал биться головой о стену. Вбежавшие надзиратели быстро совместными усилиями прекратили этот взрыв, приговаривая: «Хочешь стену прошибить? Угодишь вниз» (т. е. в карцер).

А затем потянулось опять наматывание кишки на палец, только теперь более энергичное, более настойчивое. В первый же вечер с еще сохранившимися остатками дневного взрыва я потребовал от следователя снять с меня наручники, на что получил, разумеется, категорический отказ. Он дал мне понять, что это не его инициатива, что я сам виноват в необходимости применять такую меру воздействия, и даже сказал: «Вы что — думаете, мне приятно видеть вас в наручниках? Но это результат вашего поведения». А затем каждую ночь тягучее вытягивание признаний в преступлениях, о которых я ничего не мог сказать, потому что их не было. Этого убеждения я держался твердо, несмотря на сообщение ТАСС 13 января, несмотря на наручники и ожидание еще худшего. По сфабрикованной в МГБ концепции арестованные преступники — профессора относились ко мне с большим уважением, с профессиональным доверием и посвящали меня в тайны и методы умерщвления, чтобы я мог при вскрытии трупа скрывать это. Вот эти тайны и методы я должен был раскрыть следствию. Они убивали, а я покрывал — вот в упрощенном виде схема роли и места каждого из многочисленных членов террористической организации «врачей-убийц».

Следователь стал навязывать мне логику, якобы бывшую двигателем преступных замыслов. Эта его, следовательская, логика должна была приводить меня к признанию совершенных преступлений, явившихся якобы финалом ее развития. Он стал излагать последовательный ход моих мыслей и мыслей других террористов, как он его представлял, приведший к выводу о необходимости террористических действий. В его изложении это звучало почти текстуально так: «Евреев преследуют, им не дают работать, создают тяжелые условия жизни, но где же выход? Надо с этим бороться!» А единственное средство борьбы, к признанию которого он хотел меня довести, был террор — убийство инициаторов и руководителей притеснения евреев. Я обратил внимание следователя на то, что организация «врачей-убийц» состояла не только из евреев, в этой организации, согласно официальному сообщению, были и русские профессора, видные клиницисты — Виноградов, Василенко, Зеленин, Егоров и другие. Что же ими двигало, против чего боролись эти совершенно обеспеченные и обласканные люди, не подвергавшиеся никакой расовой дискриминации? Эта моя интерпретация осталась без ответа и без внимания на нее. Как я уже писал, в народе их считали скрытыми евреями, и в этом было какое-то рациональное зерно, раз они разделили судьбу евреев-профессоров. Да и в самом деле, что такое советский еврей, какие признаки определяют в Советском Союзе людей этой национальности, не владеющих еврейским языком (многие никогда даже не слыхавшие его), считающих своим родным языком — русский, воспитанных на русской литературе, поэзии, впитавших русскую культуру, растворившихся в массе советского народа, преданных своей родине; многие из них активные строители советского общества, внесшие неоценимый вклад в различные области науки, культуры. По-видимому, в определении понятия «еврей» надо идти от противоположных показателей: еврей тот, на которого распространяется антисемитизм. С точки зрения этого определения правомерно включение в эту национальную группу врачей-террористов и русских по происхождению, раз на них распространили антисемитизм. В такой концепции нет ничего парадоксального, так как аитисемитизм — имманентное людоедское чувство из области зоологии, проецирующееся на евреев; в доктрину его пытались превратить антисемиты всех времен и народов, и наиболее законченные людоедские формы ей придал германский фашизм.

Кстати, по поводу фашизма. Как-то мой эрудирован-

ный куратор спросил, знаю ли я, что фашизм — учеиие, созданное тоже евреями. Сам Геббельс ие сказал бы, что это — продукт утоиченного еврейского интеллектуализма (эту формулу ои употреблял для презрительиой характеристики многих достижений мировой культуры, чуждых фашистам). На вопрос куратора я ответил, что это вполне вероятно. Ои с удивлением посмотрел на меня, не ожидая моей безоговорочиой поддержки этой версии о творцах фашизма. На вопрос, почему и я так считаю, я ему ответил: «Миогие крупиые социальные доктрины были созданы евреями: христиаиство, марксизм; поэтому, может быть,— и фашизм». Дальиейшего развития эта тема в иашем с иим «сборище» не получила, ио характериа сама постаиовка ее, как естественное оправдание антисемитизма ортодоксальиыми марксистами из МГБ.

Вытягиваиие из меия призиаиия участия в террористической деятельности даже при помощи сложных логических построений ии к чему не привело: «У вас логика одна, а у меня другая, поэтому в террористы я не гожусь»— отвечал я. А он бубнил свою подсказку: «Но ведь иадо бороться, иадо бороться». Мне и тогда было трудио решить, что доставляет большее отвращеиие — иаручники или выслушивание этого собачьего бреда. К тому же надо было парировать конкретизированные элементы этого бреда здравым смыслом с тем же успехом, с каким глухоиемому от рождеиия объяснять разиицу между кваканьем лягушки и пением соловья. При этом все время в процессе допроса надо было быть в большом напряжении, чтобы ие быть подловленным в каком-нибудь противоречии, ие создать какую-нибудь трещину, щель в показаииях, которая может быть расширеиа и истолковаиа как признание террора. Трудио передать, каких усилий это стоило, и часто по возвращении в камеру меия трясло, как в сильиом ознобе, было ощущение дрожи буквально в каждой клеточке тела. В своей жизии я несколько раз переносил тяжелые ииафекциоиные заболевания с сильиейшим лихорадочным ознобом. Но ни по силе ощущения, ни по его качественному своеобразию мой «следственный озноб» ие может быть сравним с лихорадочным. Это была «трясучка» в полном смысле этого слова. Как патолог, представляю, что при этом сильиейшем стрессе происходило в эидокринной и иервиой системах, и сколько иадо было мобилизовать физических и моральиых сил, чтобы справиться с этим суперстрессом. В обывательском жаргоие пребывание под арестом часто определяется словами «сидел в тюрьме», и длительиость «сидеиия» считается

мерилом его воздействия на заключенного, что нельзя отрицать. Но все же степень интенсивности его определяется не только сроком заключения, но и реагирующими системами организма и силой воздействия на них. Могу сослаться на свой короткий опыт «сидения» в Лефортовской тюрьме спецрежима в качестве подследственного по «делу врачей».

По возвращении в камеру после каждой из ночей такого «сидения» я вновь переживал и критически осмысливал все детали следственной ночи, не сдался ли в чем-нибудь, не сказал ли чего-нибудь, что может быть использовано в качестве компрометирующего факта против других арестованных. Так следственная ночь переходила в режимный день без минутки сна. По-видимому, брешей, которых я опасался, в моих показаниях не было, так как мой куратор мне несколько раз говорил: «Вот вы защищаете ваших друзей, а вам интересно будет узнать, что они о вас говорят, когда это будет вам зачитано». При этом он называл какой-то номер статьи уголовного кодекса, по которой, по-видимому, обвиняемого надо ознакомить с показаниями о нем сопроцессников. Весьма вероятно, что их показания были компрометирующими, если судить по одной детали из показаний М. С. Вовси, зачитанной мне следователем. Да и после, на свободе, М. С. Вовси и В. Н. Виноградов говорили мне, что они признавали все свои вымышленные преступления. М. С. Вовси мне даже рассказал, как от него потребовали признания в том, что он был и немецким шпионом, что при этом требовании он даже расплакался. Он им сказал: «Чего вы от меня хотите? Ведь я признал, что я был американским и английским шпионом, неужели этого вам мало? Немцы расстреляли в Двинске всю мою семью, а вы требуете, чтобы я признал, что был их шпионом?» В ответ я получил матерную ругань и требование: «Профессор, г-но, нечего запираться, был и немецким шпионом». Я подписал, что был и немецким шпионом» (рассказ М. С. Вовси передаю почти дословно). Примерно те же требования выполнил безоговорочно В. Н. Виноградов. Трагизм подобных признаний не только в личной ответственности за вымышленные преступления. Ведь все преступления совершались в организации, они были коллективными (статья 58,11), следовательно, надо было выдавать соучастников преступления. С этого момента признавшийся становился участником следственного процесса не в качестве обвиняемого, а в качестве разоблачителя. И такими разоблачителями логикой признания стали М. С. Вовси, В. Н. Виноградов и, может быть, другие обвиняемые.

София Ефимовна Карпай, врач кремлевской больницы, арестованная в 1950 году, волнуясь, рассказала мне, при случайной встрече летом 1953 года, об очной ставке в тюрьме с М. С. Вовси, В. Н. Виноградовым и В. Х. Василенко. Они уличали ее в выполнении их «преступных» заданий при лечении больных. Она категорически отрицала не только выполнение этих заданий, но и самое получение их. На нее эта очная ставка произвела впечатление тяжелого бреда. Но это не было бредом: это было выколоченное из «обличителей» задание следственных органов по «делу врачей». Разумеется, очная ставка происходила не в уютном кабинете, в котором происходят интимные деловые беседы на высшем уровне, как это показывают на телевизионных экранах. Эта ставка, как обычно водится, происходила под неусыпным наблюдением тюремщиков, строго следящих за выполнением, без всяких нарушений, разработанных заданий, данных «расколовшимся». Присутствие тюремщиков было реальным напоминанием им о том, что их ждет при недостаточном «усердии».

Так «расколовшиеся» становятся свидетелями обвинения. Можно ли их обвинять или резко порицать? По выходе из тюрьмы мое отношение к ним было именно таким, и я не знал, как я себя поведу при встрече с бывшими сопроцессниками —«расколовшимися». Но в дальнейшем я критически пересмотрел свое отношение. Я понял, что вообще нельзя безотказно требовать от людей героизма. Можно ли требовать от всех людей одинаковой силы сопротивления одному и тому же чрезвычайному воздействию? Диапазон такого сопротивления чрезвычайно широкий — от полного отсутствия сопротивления до адекватности воздействию, где противодействие равно действию. Индивидуальность проявляется и в избирательном отношении к качественному характеру воздействия. Один и тот же человек может вступить в единоборство с танком и падать в обморок при виде мыши или иглы шприца, нацеленной на него для производства инъекции.

Один мой близкий друг, известный ученый, совершенно откровенно сказал мне, что если бы он был арестован, то, зная себя, в течение получаса он бы «скис» и подписал бы все, что ему предложат, и сделал бы все, что от него потребовали бы.

Таков был общий страх перед пытками, которым подвергаются узники и сведения о которых проникали в массы в памятные 1937—1938 годы. Была полная безнадежность в возможности устоять перед ними и уверенность, что они

раио или поздно закончатся требуемым прнзнаннем. В. Н. Виноградов говорил, что он сразу решил не дожидаться пыток н без них выполнять все требовання тюремщиков, среди которых было н обвннеиие в шпноиаже в пользу Англии и Франции.

Мы преклоняемся перед мужеством н с благоговением относимся к памяти тех, кто выдержал все гестаповские пытки и не пошел по пути предательства, н со смешанным чувством жалостн и презрения относимся к тем, кто не устоял. Но борцы погибали за ндею. А репрессированные? Во имя какой идеи погибать? Что даст иароду им же оплеванная их смерть? Нет морального стимула для сопротивлеиня методам, «строжайше запрещенным советскими законамн» (из правительственного сообщения об освобождении медиков). А в то же время маячит призрачная возможность нзбежать мучений, пыток н даже позориой смерти путем призиаиня всего того, что требуют от тебя тюремщикн. Несчастные в этой призрачиой иадежде (никогда, впрочем, не оправдывавшейся, как показывает опыт прошлых лет) скатываются иа путь оговора даже своих близких друзей, а иногда н родных. Сам М. С. Вовсн дал должную характернстнку самому себе в пернод своего пребывання узинком МГБ.

Спустя 6 лет после освобождення, которые он провел в заслуженном почете крупного ученого, замечательного врача н сердечного человека, у иего развилась саркома ноги, потребовавшая ее ампутации (он вскоре после этого умер). Я навестил его на следующие (или вторые) сутки после операцин. Он был в слегка возбуждеииом эйфорическом состоянии н сказал мне: «Разве можно сравиить мое теперешнее состояние с тем, которое было тогда? Теперь я потерял только иогу, но остался человеком, а там я перестал быть человеком». Так «та снстема» лишала учеиых, культурных н вполне добропорядочиых в обычиых условиях людей, нх человеческих качеств. Какую же драму надо пережить, чтобы такое ужасиое событие, как потерю ноги из-за злокачествеииой опухоли (о перспектнвах М. С., коиечио, знал), считать пустяком по сравнению с фантасмагорией, созданной чудовнщной фаитазией оргаиизаторов «дела врачей»? Можно ли подходить с непреклоиным осуждеинем жертв системы, перед жестокостью которой не могли устоять и закаленные в борьбе старые революциоиеры с опытом царских тюрем н каторги? Был все же моральный стнмул н в сталинских застенках у узинка сохранить свое достоинство человека. Таким моральным стимулом могло быть только твердое, бескомпромиссное н непоколебимое решеине устоять

перед наглым изуверством, не уступить ему, не идти по пути признания реальностью чудовищной фантазии тюремщиков, не предавать, т. е. не оговаривать никого. Но, кроме мобилизации нравственных сил, для этого нужна была и мобилизация физических сил, в которых у многих из арестованных пожилых людей, конечно, был недостаток. Над всем этим висело давящее убеждение в том, что рано или поздно тюремщики при помощи всей своей изощренной системы «вырвут из горла», по рекомендации Молотова, нужное им признание, так лучше уж сделать его рано, не дожидаясь испытания этой системой.

«Сознавшиеся» не нуждаются в оправдании, т. к. оправдание — антитеза обвинению. Надо их понять, а следовательно — простить, как этого требует известная французская поговорка.

Пересматривая критически свое поведение в тюрьме и во время следствия, я не знаю, смог ли бы я устоять до конца при твердой воле не сдаваться и при мобилизации своих физических возможностей для этого. Я вспоминаю один эпизод — это было в период, когда в ходе следствия чувствовалась напряженность, следователь предупреждал меня, что для признаний остается мало времени и что если завтра я их не сделаю, то он откажется продолжать следствие и передаст его в другие, видимо, более жесткие руки. Я был уверен, что в этом было предупреждение о еще более жестких методах допроса. Накануне предполагаемого мной «дня пыток» из соседнего кабинета доносились вопли истязаемого, дикая ругань тюремщика и требование сообщить, какую контрабанду арестованный перевозил. Вопли несчастного переходили в какие-то хрюкающие стоны обессиленного истязанием человека. Может быть, это была устрашающая меня инсценировка? Когда меня на следующий день привели на допрос, меня трясло, как в тяжелой лихорадке, от ожидания пыток и от чудовищного напряжения воли, чтобы выдержать их. Следователь заметил мое состояние и даже участливо предложил вызвать врача, от чего я отказался. Я ему сказал: «Ведь вы собираетесь применить пытки, зачем же тут врач?» На это последовала ироническая реплика: «Думаете, что на дыбе вздернут?», дав понять, что пытки меня сегодня не ожидают. Нервы иногда не выдерживали и (что скрывать!) разрядкой бывали короткие слезы, но решимость выстоять не покидала никогда. Я часто слышал упреки следователя: «Что за показания вы даете? Вы точно бросаете кости на собачью сковородку». Это была образная, но совершенно точная оценка тех материалов из обычной

прозекторской практики, которые я ему давал и которые он мог получить на любой больничной клинико-анатомической конференции. Ставя мне в пример поведение других «сопроцессников», которые, может быть, и спасут себе жизнь, он в виде тяжелого упрека мне говорил: «Вас ведь на открытый судебный процесс вывести нельзя». Я понял из этого упрека, что будет открытый суд над «преступниками в белых халатах», в котором они будут сознаваться и каяться в своих чудовищных преступлениях, как и многие несчастные предыдущих судебных процессов, осужденные, несмотря на это, на смерть и посмертно реабилитированные. На такое покаяние с моей стороны мои тюремщики не рассчитывали. Этот упрек я тогда рассматривал как критерий своего поведения во время допросов и сейчас, как и тогда, считал его одобрением в свой адрес. Значит, я не изменил своему твердому решению, принятому с полной и активной поддержки моей незабвенной, мужественной и нежной Софьи Яковлевны — не уступать насилию перед требованием ложных показаний. На меня не действовали различные следовательские приемы, кроме уже описанных, вроде ругани по моему адресу: «У, вражина, и как только можно было терпеть такую вражину» и др. Я выслушивал это равнодушно. Равнодушно я относился и к попыткам следователя воздействовать на мое самолюбие, когда он отказывал мне в уважении. Он говорил: «Вас даже уважать нельзя. Бывают арестованные — открытые враги, не скрывающие этого даже здесь. Их уважаешь, хотя они и закоренелые враги. А вы хитростью стараетесь скрыть это». Но такие «удары» по моему самолюбию вызывали только внутренний смех. Я, вообще, всегда очень ценил уважение достойных людей, был очень чуток к нему и очень хотел и в тюрьме сохранить и его, и собственное уважение к себе. Я не раз в своей одиночной камере цитировал (про себя, конечно) Рылеевские слова из четверостишия — «Тюрьма мне в честь, не в укоризну...», выцарапанные им на оловянной миске в каземате Петропавловской крепости. Между прочим, в отличие от Петропавловского каземата, в Лефортовском это не удалось бы. Когда я однажды пытался выцарапать на куске мыла какое-то слово (оно должно было мне напомнить контрвозражение следователю по предыдущему допросу), немедленно открылась дверь камеры и вошедший надзиратель потребовал дать ему мыло. Пришлось при выполнении его требования затереть пальцем выцарапанное слово.

Пойти на подлость, чтобы приобрести уважение тюремщика и поступиться собственным уважением к себе —

высоко же ценил тюремщик свое уважение! Некоторыми неожиданными вопросами он хотел, по-видимому, застать меня врасплох. Одним из таких вопросов был следующий: «Почему вы сказали Топчану: можешь спать спокойно?» Я вспомнил ситуацию и повод, по которому это было сказано по телефону. У нас с Топчаном был общий товарищ, известный бактериолог профессор Синай. У него была почечнокаменная болезнь, которой он много лет страдал. Зимой или весной (точно не помню) 1951 или 1952 года его доставила скорая помощь в урологическую клинику, которой заведовал профессор А. Б. Топчан, в тяжелом состоянии вследствие закупорки обоих мочеточников. Моча не отходила несколько суток, никакими средствами этого добиться не удалось, наступили симптомы уремии (мочевого отравления), и единственную надежду на спасение давала срочная операция — выведение обоих мочеточников наружу в поясничной области. Эту операцию проделал Топчан, но она оказалась уже запоздалой и безрезультатной. Синай скончался. Я сам производил вскрытие трупа Синая и убедился в безнадежности его состояния при поступлении в клинику. Обе почечных лоханки были буквально забиты большим количеством камней, точно крупным гравием, в почках самих — резкие изменения, операция уже не была в состоянии восстановить их функцию или заменить ее каким-либо другим путем (искусственная почка, так называемый гемодиализ, пересадка почки), ввиду отсутствия в то время на вооружении медицины соответствующих медикаментов и методов. У меня до сих пор в моем личном архиве хранятся фотографии почек Синая, которые я сделал ввиду экскизитного характера поражений.

Топчан очень переживал смерть Синая. Он вообще был человеком нервным, с большой медицинской совестью, а здесь еще смерть больного, если и не близкого друга, то хорошего знакомого и уважаемого ученого. Он тщательно анализировал свои хирургические мероприятия, сопоставлял их с данными вскрытия для решения вопроса — все ли он сделал, что диктовал ему долг врача и опыт хирурга. Многим хирургам с большой врачебной совестью известны эти переживания, и Топчан несколько раз обращался ко мне, спрашивая мое мнение для разрешения мучившего его вопроса. Со всей объективностью (я никогда не скрывал от хирурга его ошибок, если они были) я должен был отметить правильность действий Топчана, полную показанность их в данном случае, и невозможность спасти больного, фатально обреченного тяжестью и необратимостью поражения. Топ-

чан все же так был взволнован смертью Синая, что вечером позвонил по телефону мне домой, чтобы еще раз поделиться своими переживаниями по поводу того, что ему не удалось спасти жизнь Синаю. Я еще раз разъяснил ему сущность патологии почек, установленную при вскрытии, дал ему свою оценку выполненным им хирургическим мероприятиям и закончил этот разговор словами: «Ты сделал все возможное, твоя совесть как хирурга чиста; можешь спать спокойно». Я выполнил свой долг арбитра врачебной деятельности, к которому нередко прибегали окружавшие меня клиницисты. Я рассказал следователю все, что здесь написал, но он остался при своем подозрении, оно его устраивало. Он бубнил свое: «Почему вы сказали Топчану — можешь спать спокойно? Здесь тоже было убийство?» Тогда я привел ему следующий аргумент: «Но ведь Синай еврей», на что он ответил: «Что с того, что еврей: иногда и еврея надо убить!» Железная логика!

Среди стереотипных разговоров на террористические темы вдруг вопрос: «О чем вы разговаривали на новоселье у Е. Г.?» Вот тут я действительно был ошарашен не только существом вопроса, информированностью МГБ об этом новоселье, но и включением Е. Г. в «шайку» политических преступников, в организацию «убийц в белых халатах». Е. Г. в ту пору было около 60 лет, это была уже старушка, недавно перенесшая инсульт, вся жизнь которой была заполнена бытовыми и другими прозаическими жизненными заботами, в основном связанными с ее двумя внучками-подростками. Она была патологоанатомом, вторым профессором кафедры 1-го Московского медицинского института (кафедрой заведовал академик А. И. Абрикосов) и одновременно была прозектором Басманной больницы. Эта больница была базой для некоторых клинических кафедр, в том числе базой кафедр профессоров М. С. Вовси и Л. И. Дунаевского (известного уролога). После Отечественной войны она не вернулась на кафедру, ее оттуда вытеснили другие, молодые патологоанатомы. Она оставалась только прозектором Басманной больницы, где пользовалась профессиональным авторитетом, и смогла установить личные связи с рядом сотрудников больницы, в том числе с М. С. Вовси и Л. И. Дунаевским, особенно с первым. Характер Е. Г. оставлял желать лучшего. Она была завистливым и недоброжелательным человеком, и мне лично в моей молодости доставила одну очень крупную неприятность, движущими силами которой были только отмеченные выше черты ее характера. На кафедре Медицинского института она была в

центре многих склок. Дополнительной чертой ее характера была нечистоплотность в денежных вопросах, жертвой которой в больших размерах стал в 1952 году и М. С. Вовси. Были у Е. Г. и более мелкие проявления денежной нечистоплотности, о которых уже после ее смерти рассказывали сотрудники прозектуры Басманной больницы.

У меня лично никакой, ни профессиональной, ни тем более душевной, близости с Е. Г. не было. Я не забыл ее поступка в отношении меня (это было в 1929 году), но злопамятность — не выдающаяся черта моего характера. Поэтому, когда Е. Г. обратилась ко мне с просьбой помочь ей вступить в жилищный кооператив «Медик», я, по мере моих возможностей, помог ей в этом. Она получила квартиру в том же подъезде, что и я.

Зимой 1951 года (или весной 1952— не помню с точностью) Е. Г. устроила нечто вроде новоселья, на которое пригласила меня, М. С. Вовси с женой, Дунаевского — тоже ее сослуживца (помогшего ей вступить в кооператив (А. И. Каплана она почему-то не пригласила). Мы все приняли приглашение Е. Г. только из любезности, из нежелания обидеть ее отказом, так как близкими друзьями ее не были, и самое приглашение вызвало у нас удивление, но не подозрение. Тогда мы были еще далеки от мыслей о подлинных задачах этого приглашения. Кроме нас была ее приятельница рентгенолог Басманной больницы Е. Э. Абарбанель. Участники этого «сборища», кроме Абарбанель, были в дальнейшем арестованы.

Это новоселье не оставило сколько-нибудь заметного следа в моей памяти, я отнесся к нему без всякого интереса, как к долгу вежливости; была обыкновенная скука. Тем более меня поразил интерес следователя к этому событию, которое в его словах вырастало в событие политического значения. Хотя уже можно было привыкнуть к любым нелепостям в исполнении МГБ, но я никак не мог ассоциировать образ Е. Г.— ее общий облик, круг ее интересов, ни в малейшей степени не включающий проблемы общественного и политического порядка, с ее участием в политической, да еще террористической организации. Написав эти строки, я подумал, а почему ему соответствовал образ профессоров Вовси, Виноградова, Гринштейна, Фельдмана и других арестованных, в большинстве — пожилых интеллигентных людей? Но все же тут был какой-то резкий контраст с этой беспомощной старухой (такой я ее себе представлял), да и упоминание ее фамилии казалось каким-то нелепым вторжением своей неожиданностью в круг этих уже арестованных

людей. Я был поражен и выразил это следователю в ответ на его вопрос следующими словами: «Какое отношение эта несчастная больная старушка, занятая только заботами о своих внучках, могла иметь к любой политической организации?» В ответ он зарычал: «Несчастная больная старушка? Эта сволочь сдохнет тут у нас. Вы еще, может быть, выживете, вы здоровый мужчина, а она сдохнет здесь!» Казалось бы, можно было ко всему привыкнуть, но тут я был потрясен еще раз переходящей за все грани нелепости ролью Е. Г. как политической деятельницы. На повторный вопрос о разговорах на «сборище» у Е. Г. я никак не мог вспомнить, о чем говорили на этой скучнейшей ассамблее. Я сказал, что пили за здоровье хозяйки, одобряли ее квартиру, говорили ей обычные для таких случаев банальные комплименты. Я не мог вспомнить каких-либо разговоров на политические темы, вероятно, их не было. В ответ на это следователь сказал, что им и без меня известно, за чье здоровье пили, какие комплименты говорили. Дальнейшего развития в допросах эта тема не получила.

Я был уверен, что Е. Г. арестована, и по возвращении домой из заключения одним из первых вопросов, заданных жене, был вопрос о том, вернулась ли Е. Г. из тюрьмы. Жена даже вначале и не поняла моего вопроса, а поняв, о каком возвращении идет речь, ответила, что Е. Г. никакому аресту не подвергалась и находится дома. Я опять был удивлен, так как она не только не «сдохла» в тюрьме, согласно предсказаниям следователя, но все время благополучно жила у себя дома. Я отказывался интерпретировать этот факт, но М. С. Вовси и Вера Львовна Вовси давали ему определенную интерпретацию, в которой роль Е. Г. была не очень благовидной. Они уверяли, что организация «новоселья» была продиктована свыше и что не случайно были приглашены только те «гости» (кроме Абарбанель), которые вскоре были арестованы. Вообще, в практике МГБ была организация домашних праздников, как один из методов «уловления душ», но имел ли «праздник» у Е. Г. такое назначение с полной убедительностью ответить могла бы только она сама. Но я вспомнил застолье у «угля», о желательности моего участия в нем, высказанном полковником при вербовке меня в стукачи.

Среди заданных мне невзначай вопросов был и такой: «Вы знаете профессора Мошковского, что вы о нем скажете?» Я ответил: «Это — крупный ученый с мировой известностью, глубоко преданный своему делу и безупречной порядочности советский человек». В ответ я получил: «Что-о?

Советский человек? Да он б-дь еще большая, чем вы». Из этого я понял, что я — единица измерения, метрический эталон б-ди, а Мошковский по этому эталону больше одной единицы б-ди. По возвращении из заключения я был более обрадован, чем удивлен, застав «б-дь, большую чем я», в полном здравии и невредимости, как и «буржуазного еврейского националиста» Топчана. Либо до них еще очередь не дошла, либо все эпитеты были «ужимками» следственного процесса для дезориентации подследственного.

Вообще же я не мог должным образом оценить глубокий смысл ряда задаваемых мне вопросов, как, например, следующего: «Сколько раз вы приезжали на дачу летом 1952 года?» В это лето мы у себя на даче не жили, и всей семьей провели большую часть лета в Прибалтике, в Пярну. Поэтому на дачу я приезжал только по каким-то хозяйственным делам, на несколько часов. Числу этих поездок я не придавал такого значения, как мой куратор, и не считал их. Но, напрягши память о цели поездки, насчитал их две, но был тут же уличен следователем в обмане: не две, а три. Я настаивал на своем, потому что никак не мог вспомнить цель третьей поездки, а следователь настаивал на своем: не две, а три. Пререкания по этому вопросу, значения которого я никак не мог понять, продолжались долго. Наконец, я вспомнил, что, действительно, была третья поездка в самом конце лета, во время которой я навестил семью М. С. Вовси, жившую на снимаемой ею даче у Е. Г. По-видимому, это и определяло важность третьей поездки для следствия. Конечно, если бы я наперед мог предвидеть значение для следствия таких важных событий в моей преступной биографии, как число поездок на дачу, я, идя навстречу будущему следствию, тщательно регистрировал бы эти события. Но по недостатку предвидения я это не делал, поэтому на многие вопросы не мог ответить при полном напряжении памяти, что расценивалось как запирательство.

Я долгое время терялся в догадках о том, каким путем МГБ получало информацию о числе моих поездок на дачу летом 1952 года, и почему они их интересовали. Непрерывная слежка за мной за год до ареста (или еще раньше) — казалась маловероятной. И лишь недавно, и то по подсказке, я понял интерес МГБ к этим поездкам, и особенно — к третьей, и источник информации о них. Ведь моя дача находилась непосредственно против дачи Е. Г., которую в то лето снимала семья Вовси. Отсюда ясен и источник информации о моих поездках без необходимости непрерывной слежки. Укрепились и приобрели характер уверенности

подозрения об истинной подоплеке «новоселья» у Е. Г. Весьма вероятно, что угрожающая перспектива в ее адрес «сдохнуть» в тюрьме была формулой, маскирующей ее подлинную роль. Впрочем, в свете судьбы многочисленных сотрудников этой организации, которые уничтожались после выполнения ими грязных, особенно кровавых, поручений, угроза в адрес Е. Г. могла оказаться не только маской. В связи с убеждениями М. С. и В. Л. Вовси о неблаговидной роли Е. Г. в «деле врачей» я возвращаюсь к одному эпизоду, бывшему в течение многих лет загадкой для меня. Прошли десятилетия, и вдруг, как вспышкой, озарило меня существо одного странного эпизода, связанного с ней, смысла которого я не понимал на протяжении десятилетий. В профессиональной памяти патологоанатома я возвращался к нему неоднократно, как почти к каждому наблюдению из моей практики, природа которого оставалась для меня не раскрытой до конца.

Я безошибочно устанавливаю время этого эпизода по совершенно достоверному хронологическому сопоставлению с другими памятными событиями.

Это было осенью 1952 года, т. е. незадолго до памятного «дела врачей» и в период его подготовки в недрах КГБ. Однажды мне позвонила по телефону Е. Г. с просьбой проконсультировать с ней непонятный ей медицинский случай.

В среде патологоанатомов взаимные консультации по сложным наблюдениям вообще являлись, да и до сих пор являются, обычными, и к просьбе Е. Г. я отнесся, в общем, как к нормальной.

Е. Г. рассказала мне о произведенном ею на днях вскрытии, оставившем загадочной болезнь, приведшую к смерти. Речь шла о молодой женщине, находившейся на излечении в гинекологическом отделении 6-й Моск. гор. (Басманной) больницы. На фоне вполне благополучного состояния у нее вдруг возник понос и явления общей тяжелой интоксикации, и в течение суток она погибла. Причины поноса и интоксикации остались для врачей загадочными, все бактериологические исследования (дизентерия и др.) были отрицательными. Патологоанатомическое вскрытие также оставило, как сказала Е. Г., совершенно неясной природу болезни, вызвавшей быстрый смертельный исход, и она пришла выслушать мои соображения по этому вопросу. Описываемую ею клиническую и патологоанатомическую картину я признал совершенно типичной для острого отравления мышьяком; она в деталях описана в руководствах по судебной медицине. Я решил, что ей не пришла в голову воз-

можность острого отравления мышьяком больной, находившейся в больнице на излечении, и поэтому она и не анализировала ее под этим углом зрения. Своим ученикам и сотрудникам я настойчиво рекомендовал в сомнительных и подозрительных случаях прибегать к помощи судебной химии.

Я рекомендовал Е. Г. немедленно направить на судебно-химическое исследование любые материалы, оставшиеся от трупа (мышьяк обнаруживается химически в ничтожных следах его, даже в волосах отравленного). Она обязана была это сделать, и заверила, что немедленно это сделает. Согласившись с моим мнением о возможности криминальной природы болезни и смерти, Е. Г. подтвердила эту версию следующими подозрительными деталями, похожими на банальный детектив.

Медицинская сестра гинекологического отделения, за время пребывания больной в нем, стала любовницей мужа больной — полковника КГБ. Сам полковник, выясняя у Е. Г. результаты вскрытия, как она мне сказала, проявил больше интереса к ним, чем горести о смерти жены, и сказал Е. Г. с какой-то иронической издевкой: «Эх вы, не можете распознать причину смерти!»

Встретив Е. Г. спустя некоторое время, я поинтересовался результатами судебно-химического исследования и был крайне поражен тем, что она к нему не прибегла. Это было резким (и даже профессионально преступным) расхождением с элементарным поведением патологоанатома, мне совершенно непонятным в данном случае. Ведь здесь, несомненно, она покрывала возможное преступление. Я приписал это боязни Е. Г. связываться с КГБ, полковником которого был муж погибшей. Такая боязнь мне казалась преувеличенной, хотя ничего необычного для общей обстановки того времени я в ней не усмотрел. На мой недоуменный вопрос Е. Г. ответила какими-то совершенно невнятными словами, и я остался под впечатлением непонятного мне поведения патологоанатома, с отнюдь не миролюбивым общим и профессиональным характером.

В больнице, где она была прозектором, она была известна своей придирчивостью к клиницистам для утверждения допущенных ими в процессе лечения больного ошибок диагностики и лечения. А в данном случае — явное нежелание «докопаться» до медицинской истины, наоборот, желание избежать этой истины, хотя раскрытие ее — требование элементарной профессиональной добросовестности. При этом Е. Г. в протокольном описании материалов вскрытия

и в общем заключении о природе болезни и причине смерти должна была бы их более или менее правдоподобно замаскировать вымышленным заключением, либо написать, что случай остался неясным (к чему изредка вынужден прибегать прозектор). Неужели даже тень КГБ, которая в лице полковника падала на этот случай, так подействовала на ее профессиональный долг?

Меня интересовало, как же вышла из щекотливого положения Е. Г. Под каким заключением она представила, по меньшей мере, сомнительный случай? Вопрос этот не переставал интересовать меня много лет.

Возможность раскрыть его представилась, когда Е. Г. скончалась, и ее место прозектора больницы занял мой ученик. Я попросил его изучить протоколы вскрытий за весь период времени, в течение которого мог быть описываемый случай. При этом следовало иметь в виду, что хотя и может быть искажено его описание, но все же не до такой степени, чтобы быть полностью упрятанным в какое-либо гинекологическое заболевание. Фамилии умершей я не знал. Однако при самых тщательных исследованиях протокольных материалов не было обнаружено случая, хоть в какой-либо степени похожего на описанный, и ни одной смерти в гинекологическом отделении за указанный период не было вообще.

Я ничего не понимал в этом загадочном эпизоде.

Озарение наступило у меня спустя более 30 лет.

Я внезапно понял, что случай, о котором мне рассказала Е. Г., интересуясь моей интерпретацией, никогда в действительности не существовал. Не было больной из гинекологического отделения, не было ее странной смерти, не было медицинской сестры-любовницы полковника КГБ. Все это было сплошным вымыслом. Единственным реальным лицом был, вероятно, полковник КГБ, продиктовавший Е. Г. ее роль и совместно проработавший с ней всю последующую, примитивную, по существу, инсценировку «консультации». Она была «прощупыванием» меня в свете предстоящего моего участия в «деле врачей», где отравление больных было основным «криминалом».

Сразу все встало на свои места. Неясной только остается цель этого «прощупывания». Для чего оно понадобилось? Более или менее убедительный ответ на этот вопрос дает разрабатывавшийся в тот период в недрах КГБ сценарий намечаемого «дела врачей» и моей роли в нем. По этому сценарию, как выяснилось в дальнейшем, я при патологоанатомическом вскрытии жертв «врачей-убийц» покрывал их пре-

ступления. Весьма вероятно, что у сценаристов возникла мысль проверить на всякий случай степень моей профессиональной и научной компетенции как для выявления, так и для сокрытия подлинных причин смерти несчастных жертв врачей-убийц. (Вспомним задание, данное генералом КГБ А. И. Абрикосову при вскрытии тела Менжинского,— обнаружить в нем следы действия «казаковского зелья»). Это было поручено Е. Г., для чего и был состряпан весь грубый сценарий с участием полковника КГБ на уровне балагана. Тайный смысл крупных и мелких сценариев КГБ, как правило, с трудом доступен логическому пониманию, но об этом тоже не заботились мудрецы из КГБ. Даже наоборот: чем бессмысленнее, чем головоломнее, тем таинственнее и поэтому — устрашающе.

Так и в данном случае — бессмысленно доискиваться логического смысла и цели во всей постановке спектакля с Е. Г. в роли главного действующего лица. Мелькнула мысль у полковника в поисках какой-нибудь активной деятельности,— дано соответствующее поручение агенту, каковым, теперь уже вне всякого сомнения, была Е. Г. Их обоих не интересовала моя реакция на всю эту детективную галиматью, так как она должна была утонуть в ожидавшей меня судьбе, о которой они оба, конечно, были информированы. У меня возникала иногда мысль сообщить моему следователю об этом событии и участии в нем полковника КГБ, «непогрешимого» ветреного любовника, но я это не сделал из донкихотской боязни осложнить положение Е. Г. Ведь ее могли вынудить сыграть позорную для патологоанатома и для каждого человека роль.

Я никак не смог также вспомнить какие-либо достойные внимания факты из моей прозекторской деятельности, объяснения которых требовал следователь. Я вспоминаю его настойчивый интерес к вскрытию какого-то новорожденного младенца, произведенному моей сотрудницей Р. М. Коган (теперь — прозектор в 1-й Градской больнице). Я не помню этого младенца, ни что с ним было, но в процессе вымогания криминальных материалов мой куратор впал буквально в истерический транс. Он рвал на себе воротник кителя, задыхался, у него были рвотные движения от надрывающего кашлевого харканья. По-видимому, во мне настолько силен мой врачебный стереотип, что я испугался за него, хотел кинуться к нему на помощь, от чего он меня удержал жестом (а вдруг задушу), и, памятуя его внимание ко мне в начале одного из допросов, о чем я писал выше, спросил у него,

не нужно ли позвать врача. Сейчас мне кажется смешной эта парадоксальная ситуация: арестованного взволновало состояние его тюремщика, но в тот момент я над этим не задумался, как врач, я пожалел его — ведь мучается человек!

Одержимость господствовавшей в МГБ идеей раскрытия заговоров охватила и моего куратора. В самом деле — если высшее начальство раскрыло заговор глобального масштаба в виде «дела врачей», то почему же ему не раскрыть (т. е. сочинить) «свой» заговор под его единоличным авторством, соответствующий по масштабу его чину, званию и служебному положению? Ведь это — сразу продвижение по служебной лестнице. И вот однажды мой куратор, повидимому, выключив из своего сознания присутствие одного из заговорщиков, т. е. меня, стал с увлечением рисовать схему раскрытого им (в перспективе) заговора в 1-й Градской больнице. Точно видя перед собой аудиторию, с интересом слушающую его доклад, он изрекал в быстром темпе: «В центре — Топчан, от него нити тянутся...»— он стал называть фамилии евреев — работников 1-й Градской больницы (частью уже арестованных). Так может молодой начинающий ученый переживать в воображении свой будущий доклад о крупном, еще находящемся в мечтаниях, открытии перед восхищенной аудиторией. Мой следователь видел не меня, он в аутоэротизированном ослеплении видел внимательную и восхищенную аудиторию из генералов МГБ, перед которой он с указкой в руке тыкал в схему раскрытой им панорамы заговора. Это был настоящий творческий экстаз. Я не удержался и от всей души стал хохотать — до того смешным был этот открытый полет фантазии следователя МГБ. Мой хохот заразил и его. Он стал непроизвольно смеяться, но тут же быстро спохватился и, спустившись из своего полета в действительность, строго спросил: «Почему вы смеетесь?» Я ответил: «Вы с таким увлечением рисовали панораму сочиненного вами заговора, что трудно было удержаться от смеха». Он профессионально посерьезнел и перешел к очередным скучным делам. Эта коротенькая сценка в маленьком масштабе раскрывает механизм фабрикования и инсценировки заговоров разного масштаба в стенах МГБ. Здесь был ничем не сдерживаемый полет криминальной фантазии, жертвой которой пали тысячи и тысячи лучших советских людей. Дела по посмертной реабилитации этих жертв раскрывают механизм творчества этой адской драматургии, и на моих глазах происходило таинство зарождения этого творчества и техники его развития. Для меня это было почти

научно-исследовательское наблюдение — видеть заговор in statu nascendi (в состоянии зарождения).

Выматывание материалов о террористической деятельности шло своим чередом. Я должен сам ее изобретать, а ни изобретательности, ни фантазии, ни желания у меня на это не хватало. Для подсказки же, по-видимому, время еще не настало. Возможно, она откладывалась до очных ставок с непосредственными исполнителями террористических актов, подобных той, о которой мне рассказала С. Е. Карпай. Пока же мой куратор пробавлялся «костями на собачью сковородку», и не террористическими действиями, а террористическими высказываниями. К числу их принадлежит доложенное агентурой мое высказывание в адрес Маленкова: «Чтоб его черт побрал». В протоколе оно было зарегистрировано как пожелание смерти в соответствующем литературном оформлении («в дикой злобе и чудовищной ненависти» и т. д.). На мой вопрос, почему это высказывание, которое в крайнем случае может рассматриваться как ругательное, является пожеланием смерти, мой куратор, делая наивно-удивленное лицо, сказал: «Но ведь для того, чтобы черт побрал, надо умереть». В творчестве следовательского аппарата МГБ ни одна чертовщина не могла удивить. Но привлечь черта к преступным замыслам еврейских террористов мог только коммунист из МГБ. По-видимому, его партийный атеизм не разрешал веры в бога, а в черта — разрешал. На всю эту галиматью, рассчитанную на совершенного дурака, я отреагировал соответствующим образом, отрицая, что в поминании черта я усматриваю пожелание смерти. Следователь же бубнил свое, сохраняя наивное лицо: «Но ведь для того, чтобы побрал черт, надо умереть, значит, вы в этом восклицании пожелали смерти товарищу Маленкову». Еще один пример железной логики! Ну, как опять не вспомнить гениального Свифта, открывшего прототипов сталинских охранителей государственной безопасности в Великой Академии в Лагадо, которую Гулливер посетил во время путешествия в Лапуту. «Один из профессоров этой Академии», как говорит Гулливер, «показал мне обширную рукопись инструкций для открытия противоправительственных заговоров. Он рекомендует государственным мужам исследовать пищу всех подозрительных лиц; разузнать, в какое время они садятся за стол; на каком боку спят; какой рукой подтираются; тщательно рассмотреть их экскременты и на основании их цвета, запаха, вкуса, густоты, поноса или запора составить суждение об их мыслях и намерениях» и т. д. Гулливер, однако, нашел результаты этих наблюдений

неполными и сделал к ним свои добавления, за которые профессор его горячо поблагодарил. Он сказал профессору: «В королевстве Трибниа, где я пробыл некоторое время в одно из моих путешествий, большая часть населения состоит сплошь из разведчиков, свидетелей, доносчиков, обвинителей, истцов, очевидцев, присяжных, вместе с их многочисленными подручными и помощниками, находящимися на жалованье у министров и депутатов. Заговоры в этом королевстве обыкновенно являются махинацией людей, желающих укрепить свою репутацию тонких политиков; вдохнуть новые силы в одряхлевшие органы власти; задушить или отвлечь общественное недовольство; наполнить свои сундуки конфискованным имуществом. Прежде всего они соглашаются и определяют промеж себя, кого из заподозренных лиц обвинить в составлении заговора; затем прилагаются все старания, чтобы захватить письма и бумаги таких лиц, а их авторов заковать в кандалы. Захваченные письма и бумаги передаются в руки специальных знатоков, больших искусников по части нахождения таинственного значения слов, слогов и букв». Далее Гулливер приводит примеры расшифровки их таинственного криминального смысла (сидение на стульчаке означает тайное совещание; метла — революцию; пустая бочка — генерала; гноящаяся рана — систему управления и т. д.).

Гениальный сатирик Свифт через века проник в тайны органов госбезопасности сталинской Лапуты и описал их как будто с натуры, до такой степени они копируют систему в королевстве Трибниа.

Вспоминая эти страницы Свифта в одиночной камере Лефортовской тюрьмы, я находил в них тот заряд юмора, который был необходим в качестве хоть маленького морального укрытия от всей чертовщины следствия. Ведь в ней и во всей обстановке можно было утратить память о реально существовавшем и существующем мире за пределом этой чертовщины; было жизненно необходимо не терять «связь времен», сохранить и в памяти ума и в памяти сердца весь мир, в котором прожил более полувека. Особенно мучительными были послеобеденные и предвечерние часы в наступающих сумерках, в гнетущей тишине тюрьмы, в почти полной неподвижности из-за скованных наручниками рук, в ожидании очередной галиматьи допроса и необходимости парировать ее. Нужен был уход от всего этого, и я его нашел. Я стал мысленно составлять содержание курса общей патологии, который я давно замышлял. Именно — общей патологии, а не патологической анатомии, так как курса общей

патологии в медицинских институтах нет, и материал для него я давно собирал. В частности, у меня еще до войны был собран материал для книги (так и не написанной мной) о механизмах избирательной локализации патологических процессов — важнейшей общепатологической проблеме. Вот я и стал читать воображаемой аудитории лекцию за лекцией систематический курс общей патологии, наполняя его своим содержанием и материалом из своего научного опыта. Я был увлечен этим немым лекционным курсом, это была интересная творческая работа. Я не мог записать много интересных мыслей, возникших по ходу этой работы, и не только потому, что руки были за спиной в закованном виде. Я очень жалел, что в дальнейшем растерял многие из этих мыслей. Даже в фашистском гестапо Фучик мог написать «Репортаж с петлей на шее», в сталинских застенках это было невозможно. Хотя Л. С. Штерн, вероятно, была предоставлена возможность научной литературной работы на Лубянке, и она принесла с собой написанные там и в ссылке в Джамбуле много исписанных листов, посвященных проблеме гистогематических барьеров, но это ей разрешили только по окончании следствия, закончившегося для нее минимальным наказанием — высылкой в Джамбул, а не расстрелом, как для всех ее сопроцессников. Для меня же следствие могло закончиться только одним финалом, но оно было прервано в самом его кульминационном разгаре законами жизни и смерти.

Кульминационное нарастание следственного процесса было ясно из общего напряжения, с которым он велся. Однажды (это было в конце февраля или первых числах марта) следователь снова меня предупредил о том, что у меня истекают не только дни, но и часы для добровольного признания. Он мне сказал в эти дни: «Я вам не враг», но тут же спешно поправился: «но и не друг, конечно. Я хочу, чтобы вы знали, что за ходом следствия следит сам товарищ Сталин и что он очень недоволен вашими показаниями. Учтите все это, а потом не пеняйте на меня». Я почему-то отнесся скептически к ссылке на Сталина, не слишком уж большое место, по моему представлению, я занимал во всем «деле врачей», чтобы мной стал интересоваться Сталин. Лишь после XX съезда КПСС и доклада Н. С. Хрущева на нем о «культе личности» подтвердился интерес Сталина к ходу следствия по делу врачей, и, возможно, он обратил внимание или рекомендовал обратить его на упирающихся от признания своих преступлений. Но я посчитал заявление следователя запугивающим приемом.

В один из этих напряженных дней (точнее — вечеров), когда я был введен в кабинет для очередного допроса, следователь обратился ко мне с заявлением, что сегодня я нужен как эксперт, а не как подследственный, с предложением ответить на ряд следующих вопросов: «Что такое Чейн-Стоксовское дыхание?» Я ответил, что это одна из форм так называемого периодического дыхания, и разъяснил его сущность. «Когда встречается такое дыхание?» Я ответил, что физиологически оно бывает у младенцев, а у взрослых возникает при тяжелых поражениях центров дыхания в головном мозгу — при опухолях мозга, кровоизлияниях в мозг, тяжелых токсических поражениях мозга, например при уремии, тяжелом артериосклерозе мозга. «Как повлиять на Чейн-Стоксовское дыхание, чтобы ликвидировать его?» Я ответил, что влиять надо не на самое дыхание, а на причины, его вызвавшие. «Может ли человек с Чейн-Стоксовским дыханием выздороветь?» Я ответил, что это очень грозный, часто агональный, симптом и что при наличии его в большинстве случаев необходимо умереть (я так и сказал: «необходимо!»). Все ответы он тщательно, с внешней невозмутимостью записал. Я полагал, что речь идет о какой-то истории болезни, фигурирующей в деле кого-то из арестованных. Далее следователь спросил, кого из крупных специалистов я мог бы порекомендовать для очень серьезного больного. Я ему ответил, что не знаю, кто из таких специалистов находится на свободе, чтобы я мог его рекомендовать. Он был в затруднительном положении, так как ни в коем случае не должен был знать о том, что делается «на свободе», подследственный из режимной тюрьмы. Он повторил свой вопрос, сказав: «Ну, а все-таки?» Я ответил: «Отличный врач Виноградов, но он — у вас. Превосходный врач Вовси, он тоже у вас. Большой врачебный опыт у Василенко, но он у вас. Прекрасный диагност Этингер, он у вас. Серьезные врачи оба Коганы, но один из них давно умер, а другой у вас. Если нужен невропатолог, то самым крупным клиницистом-невропатологом я считаю Гринштейна, но он у вас. В качестве отоляринголога я рекомендовал бы Преображенского или Фельдмана, но они оба у вас». В общем, я перечислил всех крупных специалистов (это был длинный перечень), которых я мог бы рекомендовать в качестве врачей, но все они оказались «у вас», и предложил назвать мне остающихся на свободе, чтобы я мог дать им рекомендацию, соответствующую их врачебным качествам. Он задумался и назвал мне четыре фамилии. Ни одному из их носителей (хотя двое имели громкое имя в советской науке) я не мог дать реко-

мендации, приближающейся к той, которую я дал арестованным специалистам. Он очень удивился и даже начал спорить, ссылаясь на то, что один из них — академик Академии медицинских наук. На это я ответил, что он просит рекомендовать опытного врача, а не академика, и что это — не одно и то же. Лишь одного из четверых я мог рекомендовать как врача, но рангом гораздо ниже арестованных.

По выходе на свободу и знакомству с газетами февральско-мартовского периода 1953 года я увидел, что вся «экспертиза» была посвящена бюллетеням о болезни Сталина и врачам, подписавшим их. Оказалось, что аналогичные «экспертизы» давали заключенные профессора М. С. Вовси, Э. М. Гельштейн, а может быть, и другие сопроцессники, и оба дали совпадающие с моей характеристики врачебному профессионализму лечивших Сталина профессоров. Сложилось впечатление, что соратники и эпигоны Сталина хотели выяснить прогноз его болезни, не может ли он выздороветь, не слишком ли хорошие врачи его лечат и, не дай бог, вылечат. Моя «экспертиза» должна была их успокоить, и ближайшие события подтвердили ее профессиональную безупречность: «необходимость» умереть стала доказанной. Больной скончался 5 марта, но я в своей лефортовской одиночке об этом ничего не знал и не подозревал, что эта смерть Сталина спасла мне и многим другим жизнь и радикально изменила общественно-политический климат в СССР.

После «экспертизы» ничто не изменилось в моей обстановке: те же наручники, те же допросы, только несколько изменился характер допросов и их напряжение. Последнее я скорее ощутил, чем осознал. Следователь стал как-то ленивее, с меньшей экспрессией задавал свои глубокомысленные вопросы, часто исчезал, оставлял вместо себя надзирателя, дремавшего, сидя на диване, и просыпавшегося с виноватой улыбкой. Я тоже не дремал, чтобы воспользоваться одновременно предоставившейся возможностью подремать за своим столом. Менее настойчивым стало выколачивание «костей на собачью сковородку», хотя оно и продолжалось.

9 марта (я запомнил эту дату) меня вдруг вызвали на допрос днем и ввели в другой кабинет. Там сидел какой-то полковник и мой следователь. Внешность полковника поразила меня полным отсутствием хоть какой-либо симпатии, которая все же хоть в какой-то мере была на лице моего следователя и приходивших к нему часто его молодых коллег. Маленького роста, щуплый, с мордой какого-то мелкого хищного животного — то ли хорька, то ли крысы, на

которой была написана злоба и ненависть к всему человеческому. Я подумал: «Не дай бог попасть к нему в лапы». Допрос вел он при угодливом поддакивании моего куратора. Я не могу пересказать детальное содержание всего допроса, где вопросы были густо пересыпаны отборной матерщиной. Она встречалась иногда и у моего следователя, но не носила такого злобного характера, и я иногда, чтобы снизить в его глазах производимое на меня ею впечатление от нее, показывал, что и мне знакома «изысканность русской медлительной речи»* и что я владею этим лексиконом, хотя и хожу в еврейских буржуазных националистах. В «беседе» с полковником террор занимал относительно мало места. Я говорил ему, что ошибки встречаются в деятельности любого врача, что они обсуждаются на открытых клинико-анатомических конференциях без вмешательства судебных органов, за исключением разве тех редких случаев, когда они были результатом преступной небрежности. Такие ошибки встречались в моей практике у многих крупных хирургов, в том числе и у Бакулева, и они с полной откровенностью говорили о них, иногда и до вскрытия. На эту элементарную информацию о принципах взаимоотношений клинициста и патологоанатома мой злой оппонент угрожающе зарычал: «Ну что же, мы и Бакулеву покажем». Что он «покажет», он не доложил. Тема о принципах этих взаимоотношений неоднократно звучала в дискуссиях с моим «куратором», и когда он однажды стал утверждать непогрешимость органов МГБ (в ответ на мое утверждение, что такие ошибки делаются и, в частности, они допущены и в отношении меня и повели к моему аресту), я ему ответил: «Ошибки делаете и вы, и мы, разница между ними лишь та, что ваши ошибки обычно ведут к смерти ваших пациентов». Попытка дать такое разъяснение полковнику вызвала только бешеную ругань, в противоположность моему «куратору», который относился к этому более спокойно, упорно утверждая только непогрешимость МГБ в отношении меня и других моих коллег.

Центральной темой допроса, проводимого полковником, были мои отношения к Маленкову, а не террористические акты, что меня несколько удивило. Агентурные сведения приписывали мне высказывания, что Маленков «сволочь и сукин сын», и я не стал категорически оспаривать возможность употребления мной этих эпитетов. Дальнейшие

---

* К. Бальмонт.

события в истории партии и Советского государства могли придать этим эпитетам пророческий характер; я мог бы похвастаться, что я давно предвидел его, Маленкова, соответствие этим эпитетам. В далеко не отеческих, а больше «материнских» выражениях полковник укорял меня за мое отношение к Маленкову, который столько сделал для победы над фашистской Германией и вот — благодарность! Я сидел с понуро-повинной головой — что я мог возразить?

Далее, произошел диалог, который я могу передать почти дословно, такое впечатление он оставил. «Много ли евреев он натаскал к себе?»— обращение к следователю. Тот угодливо: «Нет, не успел». Я вставил: «Как это не успел: за столько лет работы мог успеть». Полковник: «Назовите фамилии ваших сотрудников». Я назвал: «Архангельская». Полковник: «Имя, отчество?» «Надежда Васильевна». Полковник: «Еврейка!» Я оторопел: «Архангельская, еврейка?» «Да, да, еврейка». У меня что-то помутилось: неужели Архангельская скрытая еврейка, и я это не видел, зная ее на протяжении более 20 лет? В мыслях мелькнуло: у нее действительно не чисто русская внешность, нос с горбинкой, может быть, действительно еврейка, и МГБ это известно, а мне нет? Полковник: «Дальше — фамилии сотрудников», «Березовская». Полковник: «Имя, отчество?» «Елена Константиновна». Полковник: «Еврейка». Я опять оторопел, мелькнула мысль: у нее муж еврей, может быть, и она скрытая еврейка. Полковник: «Дальше кто?» «Горнак». Полковник: «Имя, отчество?» «Клеопатра Алексеевна». Полковник: «Еврейка!» Тут я понял, что разыгрывается какой-то фарс, и не отреагировал на эту «еврейку». Полковник: «Кто еще?» «Баранов». Полковник: «Имя, отчество?» «Алексей Иванович». Полковник: «Еврей». (Отец Баранова, коренного москвича, был до революции владельцем трактира на Калужской площади). Тут я ответил: «Если Баранов еврей, то у меня есть только одна сотрудница русская — Коган Рахиль Пинхусовна». Полковник: «Тебя что — сюда привезли издеваться над нами? (грубая матерщина). Ты нас предал, когда тебе предлагали сотрудничать с нами, а теперь еще издеваешься?» Действительно, в моем положении только и оставалось, что издеваться! Меньше всего это входило в мою роль! До сих пор остается для меня неясным смысл разыгранного фарса с евреями-сотрудниками.

Переключение центра тяжести моих преступлений с терроризма на оскорбления Маленкова мне стало понятным только после обнажения всей ситуации на XX съезде КПСС, но об этом — ниже. Во всяком случае я более чутьем, чем

логикой, уразумел, что теперь моя основная вина заключается в ругани по адресу Маленкова, что тоже является по канонам тех времен государственным преступлением. Поэтому неожиданным для меня был финал «беседы» с полковником, когда он, обратясь к моему следователю, дал ему распоряжение снять с меня наручники.

Я терялся в догадках, что значит весь этот балаган, почему удостоил меня визитом полковник среди бела дня. Только для того, чтобы выяснить мои отношения к Маленкову? Их знал мой следователь и легко мог протокольно оформить их с поминанием «сволочи и сукиного сына». Все это я уразумел, когда очутился на свободе.

В глухих стенах одиночной камеры Лефортовской тюрьмы я не знал того, что знал полковник. Он знал, что сегодня хоронят Сталина, что машина «дела врачей» уже вертится в обратную сторону, что эксперты уже отказываются от своих обвиняющих заключений. Он знал, что во главе нового правительства стоит Маленков, и по сложившемуся холуйскому усердию решил ему угодить. Версия о еврейских террористах превращается в зловонный дым, а с этим он, активный участник этой версии, теряет меня, как одного из объектов ее. Надо попытаться использовать меня, как полуфабрикат для другого блюда, авось оно понравится новому главе правительства. Но расчеты не оправдались, это блюдо уже утратило свой вкус и остроту вместе с «поваром — мастером готовить острые блюда».

Освободившись от наручников и вместе с ними от всех связанных с ними дополнительных санкций, я, вернувшись в свою камеру, первым долгом потребовал побрить меня. Бритье производил обычно кто-то из надзирателей, вооруженный безопасной бритвой. Вслед за ним пришла «лавка», снабдившая меня дополнительными продуктами — колбасой, маслом, печеньем. Возобновилась «нормальная» жизнь заключенного в режимной тюрьме, включая периодические прогулки в бетонном загоне. Я принял все эти благодеяния, не понимая, чем я их заслужил. Почему полковник, начавший за упокой, кончил за здравие и сменил свою агрессию на амнистию — я понять не мог, но от «амнистии», разумеется, не отказался. Какой-то спад произошел и в следовательском процессе. Хотя после беседы с полковником следователь информировал меня, что следствие будет продолжаться, но исчезла его ретивость. Были беседы на вольные темы, и в одной из них я изложил ему биолого-философские основы моего оптимизма. Он «работал», но без всякого прежнего вдохновения, без экспрессии, точно из

него вытащили какой-то идейный стержень. Его ночные отлучки стали еще более длительными, под утро он прибегал и наспех стряпал видимость протокола допроса размером в полстраницы. Каждый ночной сеанс должен был кончаться протоколом, но и по объему, и по бессодержательному содержанию последних протоколов ясно было, что это — формальная дань установленному порядку. Халтурная была работа: ни «дикой злобы, ни звериной ненависти» — скучно даже было читать и подписывать такие протоколы!

Однажды мой следователь извлек из объемистого досье несколько печатных машинописных листов и стал читать мне вслух их содержание, не говоря об источнике, а делая вид, что ко мне оно не относится, и только в процессе чтения с хитрецой поглядывая на меня: узнаю или нет? Это был протокол вскрытия, который я сразу узнал,— именно того вскрытия больной из клиники профессора Фейгеля, из-за которого у меня возник конфликт с Горнак, производившей это вскрытие. Это был тот самый случай послеродового тромбоза синусов твердой мозговой оболочки, который Горнак истолковала, как послеродовой сепсис. Значит, этот протокол попал все же в МГБ в качестве одного из доказательств сокрытия мной преступных действий евреев-врачей. Поддерживая игру следователя, я делал вид, что не знаю этого протокола, впервые слышу его содержание, и давал свою трактовку описываемым в нем процессам по ходу чтения. Протокол вскрытия был дополнен результатами гистологического исследования органов умершей (главным образом матки). Гистологические описания были совершенно невежественными и по формулировкам, и по трактовке гистологических картин, в которых автор явно стремился найти доказательства сепсиса. Эта тенденция была явная, но ее оформление было профессионально безграмотным, рассчитано на невежд или дураков, и автор был далеко не на профессиональной высоте патологоанатома. Я изложил следователю свое суждение об этом творчестве, разобрав его по деталям. В доступных для неспециалиста характеристиках патолого-гистологических картин пытался раскрыть невежество автора этого творчества. Я с категоричностью утверждал, что эти патолого-гистологические исследования производил не патологоанатом, а судебный медик, мало искушенный в клинической патологической анатомии и в общей патологии, и работающий, вероятно, в какой-нибудь судебно-медицинской экспертизе, где только производил регистрацию нарушенной девственности при изнасиловании или побоев в пьяной драке. Но следователь оспаривал это,

утверждая, что патолого-гистологические исследования производил патологоанатом и к тому же заслуженный деятель. Произнося слово «деятель» с искаженным ударением на «я», он хотел подчеркнуть свое неуважение к нему и недоверие к его профессионализму. Более того, он высказал предположение о том, что этот «дея́тель» преднамеренно хотел ввести в заблуждение следствие и имел какие-то свои мотивы для этого.

Это — тоже какие-то новые нотки в следственном процессе. По-видимому, следователь уже знал, что флюгер медицинских экспертов по «делу врачей» повернулся в противоположную сторону от их обвиняющих заключений, и, проявляя инициативу, выразил сдержанно-презрительное отношение и к экспертным данным, относящимся непосредственно ко мне, и к самому эксперту.

В течение длительного времени я строил догадки о том, кто же был этот «дея́тель», несомненно выступавший в роли эксперта МГБ. Мои подозрения остановились на одном видном патологоанатоме, ныне умершем. Хотя я свои подозрения никому не высказывал (да и о самом событии никому не говорил), я много раз в дальнейшем мысленно просил прощения у этого человека за необоснованные сомнения в его порядочности после того, как недавно я узнал автора этого патологоанатомического пасквиля из одной информации, которую мне сообщил ныне покойный профессор, известный ученый-гистолог Г. И. Роскин. Как-то он невзначай спросил меня, знаю ли я, кто из патологоанатомов играл самую гнусную роль в моем деле. На мой отрицательный ответ он доверительно сказал: «Профессор М.». При этом он мне сообщил, что М. весьма настойчиво добивался приглашения в качестве эксперта по «делу врачей», и он по собственной инициативе, в порядке самодеятельности, направлял в МГБ материалы на меня тенденциозно-компрометирующего характера. Я из естественной деликатности не спросил у Г. И. Роскина, откуда у него эти сведения, но сразу все стало на свои места. Я только удивился, как я сам об этом не догадался. Материалы вскрытия, о котором шла речь выше, могли поступить только от Горнак, и эта ее роль была совершенно очевидной. Но я полагал, что вместе с протокольными материалами она передала непосредственно в МГБ и частицы органов трупа для гистологического исследования кем-либо из экспертов МГБ. Стало ясным, что она их передала М. для гистологического исследования (может быть, для контроля моего заключения), а он направил в МГБ результаты произведенного им исследова-

ния, как компрометирующие меня. Еще раз я убедился в том, что не зря считал его подлецом, имея для этого и без данного случая много оснований, и невеждой в вопросах патологической анатомии. Я удивлялся раньше, почему и откуда следователь знает о взаимоотношениях между мной и Горнак и Горнак с М., да и о самом М., когда я как-то сдержанно-неприязненно отозвался о Горнак. Он спросил о причине моего неприязненного отношения и сам ответил на него вопросом: «Не потому ли, что она сотрудница профессора М.?» Все эти факты сразу прояснили мне историю зачитанного мне материала вскрытия и роль М. Горнак незадолго до своей смерти (она покончила самоубийством) в слезах клялась мне, что не играла подлой роли в моем деле, как я это, по ее сведениям, подозревал. Я ей не поверил тогда, но теперь думаю, что она, может быть, и не знала о дальнейшей судьбе материалов, переданных ей М. Таков один из штрихов тех сложных отношений в медицинском мире, которые были продуктом эпохи и которому поэтому я уделил столько места.

Не могу не сказать, что я с нетерпением ждал финала следствия, который не обещал мне ничего хорошего. Самым оптимальным в моих надеждах была высылка в концентрационный лагерь, за пределами которого я рассчитывал на время и на коррективы, которые, возможно, оно внесет. Это была самая радужная перспектива. Но коррективы, на которые я надеялся, судьбой были внесены раньше.

ПРЕДВЕСТНИКИ КОНЦА «ДЕЛА ВРАЧЕЙ».
ВЫЗОВ НА ЛУБЯНКУ 14 МАРТА К ГЕНЕРАЛУ,
А 21 МАРТА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ КОМИССИЮ.
РАЗОБЛАЧЕНИЕ ОБВИНЕНИЙ.
ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛЕДСТВИЯ.

Вечером 14 марта в камеру вошел надзиратель, но, вместо обычного маршрута на допрос, повел меня вниз, в комнату, которая меня гостеприимно приняла по моем прибытии в Лефортовскую тюрьму. Там меня опять встретила милая докторша, и повторился ритуал личного обследования, но без заглядывания в «корень» (т. е. в задний проход). После этой процедуры — упаковка в знакомую уже карету. После длительной поездки, по выходе из «черного ворона» я узнал уже знакомый мне внутренний двор Лубянки. Со двора — в бокс. Кстати, с этой непременной архитектурно-строительной деталью и ее назначением надо познакомить

читателя, поскольку это знакомство, надо надеяться, останется только литературным. Бокс — это просто обыкновенный шкап, куда запихивают арестованного по пути куда-нибудь, оберегая его и встречных от нечаянной встречи с таким же ведомым по тюремным коридорам узником. Сигналы о приближающейся встрече даст спутник-надзиратель либо пощелкиванием пальцами (в Лефортове), либо постукиванием ключом по поясной бляхе (в Лубянке). По характеру сигнала, таким образом, может с завязанными глазами узнать узник, где он находится, в какой тюрьме. Это пощелкивание — своеобразное нарушение могильной тишины режимной тюрьмы, часть ее дыхания, символ ее деятельности.

Однако надо вернуться в бокс (на этот раз — не шкап, а небольшой чулан с скамьей для сиденья), в котором я сидел взаперти, без всяких мыслей о том, что меня ожидает за его пределами, какие перспективы меня ждут. Оптимистическими они, разумеется, не были. Телефонный звонок за дверьми бокса,— я услышал повторенную дежурным мою фамилию, дверь бокса раскрылась, и я в сопровождении спутника поднят на лифте на какой-то высокий этаж. Затем — «коридоры в коридоры, в коридорах — двери»*, и в одну из них я введен в кабинет, где прямо против двери лицом к ней за большим письменным столом сидел коренастый седовласый генерал в штатской форме. Я его сразу узнал, он однажды молчаливо присутствовал короткое время при моем допросе. Перед столом в кресле слева сидел полковник с физиономией хорька, знакомство с которым было у меня более длительным: это он допрашивал меня 9 марта днем и утверждал, что все мои сотрудники — евреи. Где-то в тени, в глубине кабинета сидел мой следователь (я его даже не сразу заметил). Генерал встретил меня неожиданным, по мягкости тона и пȯ форме, приветствием: «Здравствуйте, Яков Львович!» Так встречает врач прибывшего в санаторий нового больного, это — лицемерный символ внимания к человеку. «Паспортные» данные генерала мне не были известны и остаются неизвестными до сих пор. Поэтому на его приветствие я ответил лаконичным: «Здравствуйте». Я был более удивлен, чем обрадован самим приветствием и его формой, так как в этом учреждении подобное приветствие могло быть и издевательской прелюдией к чему-то грозному, игрой кошки с мышкой. Поэтому с настороженностью я встретил внимательно-изучающий и, как мне показалось, сочувствующий и доброжелательный взгляд

* Из «Думы про Опанаса» Э. Багрицкого.

генерала и последующее за ним обращение к полковнику: «Что за вид у профессора?» Меня поразило и слово профессор в такой ситуации, где я был только врагом народа, и скрытый упрек полковнику, если это только не было скрытой издевкой. Вид у профессора был, действительно, не величественный: остриженный наголо, небритый, на резко похудевшем лице — выдающийся нос; арестантская рубаха без пуговиц, пиджак — тоже без пуговиц, брюки, болтающиеся на единственной спасительной пуговице. Иногда, глядя на себя в водяную поверхность (в заполненную водой миску), заменявшую мне зеркало, я сам приходил к выводу, что натурой мужской красоты я быть не могу. На вопрос, поставленный полковнику, ответил я следующий возбужденной репликой: «Какой вид? Наверное, устрашающий, какой должен быть у еврейского террориста». Как бы отвечая на мою реплику, на содержащуюся в ней и по существу и по тону злость и обиду, генерал обратился ко мне со следующими словами (помню их почти текстуально): «Яков Львович, забудьте о том, что было на следствии. Ведь следствие — это следствие, по ходу его всякое бывает (в этих словах я уловил скрытое извинение): скажите с полной откровенностью, что же в действительности было. Не бойтесь никакой ответственности за свои слова, я даю вам слово, что никаких последствий все, что бы вы ни сказали, иметь не будет». Я без задержки ответил: «Да ничего абсолютно не было. Были честные советские люди, преданные Советской стране и тому делу, которому они служили. Единственное, что было,— это расслоение профессуры по национальному признаку, которое возбуждали и поддерживали черносотенцы, некоторые из них — с партийными билетами. К таким я в первую очередь отношу во 2-м Московском медицинском институте, обстановка в котором мне знакома, профессоров Г. П. Зайцева, заместителя директора по научной и учебной работе, и В. А. Иванова, секретаря партийной организации института. Они создавали атмосферу расслоения, организовывали подлинную травлю профессоров-евреев, способствовали возникновению у них чувства протеста и подавленности, тем более что один за другим они под разными предлогами изгонялись из института». Генерал подал реплику-вопрос: «Но ведь они были советскими людьми?», на что последовал мой горячий ответ: «Конечно, это были превосходные педагоги и ученые, вкладывавшие в преподавание всю свою душу, воспитавшие тысячи врачей, и их активная деятельность в немалой степени способствовала репутации 2-го Московского медицинского института, как

лучшего медицинского вуза в СССР». Далее я повторил многие факты дискриминации евреев, признания которых являются тяжким обвинением в «еврейском буржуазном национализме». Затем следовал вопрос о Вовси,— что я могу о нем сообщить. Я ответил, что знаю М. С. Вовси много десятков лет, и все, что я о нем знаю, совершенно не вяжется с ним, как с политическим деятелем, поскольку он всегда был далек от политических проблем. У него не было интереса к ним и в силу некоторых особенностей его характера, к которым относится эгоцентризм и забота о собственном благополучии и благополучии семьи. Я сказал, что знаю о тяжелом положении, в котором находится М. С. Вовси, признавший свою вину в террористической и шпионской деятельности. И тем не менее это признание абсолютно противоречит моим представлениям о Вовси (при этом генерал и полковник переглянулись). Тем более полной неожиданностью для меня было сообщение 13 января 1953 года, в котором М. С. Вовси изображался как лидер антисоветской террористической организации, роль которой абсолютно не соответствовала его общему облику. Кроме того, ведь М. С. Вовси был во время Отечественной войны главным терапевтом Красной (Советской) Армии и первым организатором терапевтической службы в Армии во время войны — роль, с которой он блестяще справился. Доверие, оказанное ему таким важнейшим поручением, предполагало, что он политически проверен и перепроверен, и поэтому выдвинутые против него обвинения в преступлениях, в которых он признался, были громом среди ясного неба. Потрясал не только характер преступлений, но и то, что их совершил М. С. Вовси. Я на протяжении многих лет общался с М. С. Вовси и редко слышал от него высказывания на политические темы. Во всяком случае, ни одно из них не застряло в моей памяти, я скорее помню, что я ему говорил (в частности, о положении дел в Институте морфологии), чем то, что он говорил мне, хотя он — главарь политической антисоветской организации, в которую я якобы вхожу. В тюрьме я узнал, что со мной вместе в нее входит Е. М. Вовси, брат погибшего артиста С. М. Михоэлса (Вовси) и двоюродный брат М. С. Вовси. С ним я едва был знаком, несколько раз видел его на даче, которую снимал М. С. Вовси по соседству с моей. Я не столько видел его, сколько слышал: он любил (но не очень умел) петь и нередко нарушал своим пением дачную тишину. Оказалось, что мы с ним состоим в одной и той же преступной организации, о которой, вероятно оба до ареста и не подозревали.

Генерал поинтересовался и моей деятельностью как патологоанатома (в аспекте приписываемых мне преступных действий). Я рассказал ему вкратце о принципах и формах взаимоотношений патологоанатома и клинициста, о которых писал выше, и что эти взаимоотношения требуют от патологоанатома доброжелательного уважения к труду клинициста. Я сам никогда не становился в позу прокурора и внушал это своим ученикам и сотрудникам, предлагая им представить себя самих у постели больного или у операционного стола в трудных случаях. Задача патологоанатома объяснить существо болезненного процесса и раскрыть существо и природу ошибки лечащего врача, если она была допущена, а не быть обвинителем, если только имеем дело с добросовестным врачом, а не невеждой и медицинским хулиганом (на моем пути такие встречались, хотя и крайне редко). Серьезные ошибки я встречал и у крупных клиницистов с мировой известностью, и если бы я становился в позу прокурора, то перегрузил бы судебчо-следственные органы результатами своей деятельности. В качестве примера привел один из множества в моей работе. Приходит доктор Р., ассистент Бакулева (в дальнейшем профессор периферийного вуза), и говорит о только что допущенной им тяжелой хирургической ошибке во время операции, которая, вероятно, будет иметь роковые последствия, что и подтвердилось. Что же надо было с ним делать — отдавать под суд? Подобные ошибки бывали и у крупнейших хирургов в расцвете их деятельности. Разобрали на конференции врачей с участием его шефа причину ошибки, которая послужит уроком ему и его товарищам по работе. Я только всегда требовал скрупулезного отношения к протоколу вскрытия,в который должно быть занесено все, выявленное при вскрытии, без утайки в нем любого обнаруженного дефекта лечебной работы, так как обобщение этих дефектов имеет огромное педагогическое значение. А протокол — это государственный документ. Я никогда не покрывал ошибки врачей, но никогда не делал их предметом издевательства над добросовестным врачом. Но ведь всему этому здесь хотят дать совершенно другое освещение, как покрытие террористических убийств.

Все это я изложил генералу. Он слушал меня с большим и, как мне казалось, доброжелательным вниманием. Я говорил искренне, мне нечего было скрывать. Я излагал свое политическое и профессиональное кредо, и мне казалось по выражению лица генерала, что оно вызывает у него сочувственный интерес. Только лицо и поза полковника выражали полное бесстрастие и негативное равнодушие. Впро-

чем, я на него обращал мало внимания, почуяв, что он здесь не главный герой, раз к нему обращен упрек за «вид у профессора», а в его позе были только какие-то едва уловимые остатки независимого холуйства. Вскользь был затронут вопрос об Израиле, но я понял, что в общем контексте это — вопрос второстепенный. Я помню только, что мой собеседник, а за ним и я не проявили особого внимания к этому вопросу: в то время он не имел последующей остроты. Помню только, что я сказал, что мое сочувствие, разумеется, было на стороне Израиля в период его борьбы за независимость.

Я не помню, сколько времени продолжался мой возбужденный «доклад». В нем не было ничего по существу нового по сравнению с тем, что я говорил на следствии. Не было литературного оформления следствия в виде «в диком озлоблении», «в звериной ненависти к советскому строю» и т. д. В свободное изложение того, «что было», я вложил много совершенно понятной экспрессии. Ведь это была аргументированная защита не только себя, но одновременно советской медицины, советской науки, советских евреев и вообще здравого смысла. Кажется, мне это удалось. В отрицание террора со стороны арестованных профессоров я вложил всю экспрессию слов, выражений и общего тона. Я утверждал полнейшую абсурдность этого обвинения, несмотря на то, что обвиняемые признались в нем (ведь генерал сам сказал, что «мало ли что бывает во время следствия»). Основой для категорического отрицания умышленного вреда, наносимого пациентам в процессе лечения, является мое близкое знакомство со всеми обвиняемыми (Виноградов, Вовси, Василенко, Зеленин, Этингер, братья Коганы, Гринштейн, Преображенский и другие) на протяжении многих лет. Все они — настоящие врачи в лучшем смысле этого слова. Если можно теоретически допустить, что острое безумие могло кого-либо одного в припадке острого помешательства толкнуть на такое преступление, то мысль о групповом помешательстве на протяжении длительного времени может допустить только сам сумасшедший. Я широко использовал призыв генерала говорить все и не выбирал выражений, вернее — выбирал самые острые. К тому же и терять мне было нечего...

Выслушав все это, генерал задал мне вопрос, на который был, по-видимому, ответ у него самого: «Ну, а насчет Америки? Были ли какие-нибудь разговоры?» В его вопросе, как я понял, заключалось мое отношение к американской жизни, стремление жить там. Я вспыхнул и ответил кратко:

«Я всю жизнь отдал своей стране, у меня дочери комсомолки, я сам коммунист и об Америке никогда не мечтал».

На этом наша беседа окончилась. Генерал заключил ее многозначительными словами, адресованными полковнику: «Кажется, все ясно». (Это был и вопрос и утверждение).

Генерал обратился ко мне: «Яков Львович, мы вас задержим здесь для того, чтобы вы написали все, что вы здесь говорили», и попрощался со мной. Когда я уходил из кабинета в сопровождении спутника-капитана и проходил мимо полковника, тот сказал, обращаясь ко мне: «Ну, вот, а еще какие-то наручники!» Это было полуизвинение за наручники, инициатором которых, по-видимому, был он. Глядя на него сверху вниз, не только потому, что он сидел в кресле, но и потому, что я хотел вложить презрение в свою реплику, я ответил: «У каждого своя техника; у меня микроскоп, у вас наручники. Только ничего при их помощи вы бы не добились». С этими словами я покинул в полном смятении чувств этот кабинет, больше чувствуя, чем сознавая, что произошло что-то очень важное, какой-то коренной перелом, что в фантасмагорию ворвался здравый смысл.

Все последующее я помню как сквозь сон, с потерей ощущения времени. Я очутился в обширном помещении без окон, странной формы неправильной трапеции, с невысокими потолками. В центре этой камеры стояла койка, стол с обычной тюремной сервировкой и стул. Впечатление было, что это — не стандартная камера, а какое-то подвальное помещение, наспех оборудованное, для приема неожиданного узника на короткое время. На столе было несколько листов писчей бумаги, перо и чернила. Однако я не был в состоянии немедленно приступить к литературному оформлению моего «доклада» генералу. Я был одновременно обессилен событиями ночи и вместе с тем взбудоражен до крайности. Стуком в дверь я вызвал надзирателя и сказал ему, что я сейчас писать не могу, что мне необходимо отдохнуть и чтобы мне разрешили поспать днем (был уже день). Надзиратель ушел и вернулся с разрешением на это. Но воспользоваться я им не смог, возбуждение пересилило усталость, и я должен был дать ему выход. Я сел за письмо, писал страницу за страницей (представляю, каково было «им» читать мои каракули, усиленные нервным возбуждением), исписал все листы, данные мне в небольшом количестве, по-видимому, без расчета на приступ графомании. Во всяком случае, я встретил удивленно-недовольную реакцию на просьбу принести еще бумаги. Здесь привыкли, по-видимому, к литературному лаконизму протоколов и приговоров. Я сейчас (да

и вскоре после этих дней) не могу припомнить, чем конкретно я заполнил 18 страниц моего «репортажа». Конечно, в основном тем, что я говорил генералу. Помню также, что я уделил внимание деятельности Г. П. З. и В. А. И., называл их черносотенцами и мерзавцами, а также принес письменное извинение Маленкову за то, что назвал его сволочью и сукиным сыном.

Я написал также об общей обстановке в режимной тюрьме, о длительном лишении сна, о наручниках с выворачиванием рук при их надевании. Писал также о выколачивании нелепых показаний и моем сопротивлении этому, о «художественном» оформлении в протоколах допроса совершенно невинных, с моей точки зрения, событий и фактов. Все написанные мною листки я отдал надзирателю, и дальнейшая их судьба мне неизвестна. Интересно было бы мне самому сейчас прочитать этот литературный полубредовый залп, направленный в основном по зданию, в котором в тот момент находился автор в качестве узника.

Я полагал, что за этим репортажем последует мое незамедлительное освобождение. Поэтому я был крайне разочарован, и даже встревожен тем, что на следующий день я был снова запакован в «черного ворона» и очутился в уже обжитой мной камере Лефортовской тюрьмы. Неужели все это было очередной инсценировкой, на которую так изобретательны были «органы»? Известно было их увлечение детской игрой в кошки и мышки с банальным финалом для мышки и с большим творческим многообразием, которое кошки вносили в эту игру. Не был ли и я только доверчивой мышкой? Но для такой мысли нужна была в данном случае только крайняя степень скептицизма, а я его лишен даже в минимальной степени. Слишком уж все это было натурально. Но все же тревога была, хотя резкое изменение климата на Лефортовском меридиане должно было снять и следы скептицизма. Прежде всего — прекратились допросы. Первые вечера я ждал их в положенные часы, но часы уходили, наступал отбой, разрешавший отход ко сну, а вызова на допрос не поступало. Я напоминал себе нервного человека, сосед которого всегда с грохотом снимал сапоги, ложась спать, а неврастеник не мог уснуть, пока сосед не снимет сапоги. Так я совсем разучился спать, имея для этого возможность. Я понимал логикой, что вызов на Лубянку имеет свое значение и должен иметь продолжение. Отсутствует какая-нибудь возможность проникнуть в механизм перелома, в его пружины и получить хоть какие-нибудь дополнительные подтверждения того, что он действительно произошел, не

заглядывая вперед на его последствия. Но я по-прежнему нахожусь в режимной тюрьме в строгой изоляции от внешнего мира. Нет контакта даже с надзирателями, которые раньше заходили три раза в день снимать и надевать наручники, а иногда и чаще, по требованию обстановки, нарушаемой узником. Нет контакта со следователем, он исчез, общения с ним прекращены, хотя я всегда ждал их с теми эмоциями, с какими ждет неизбежной экзекуции приговоренный к ней. Как получить хоть какой-нибудь намек на происходящее, хоть какую-нибудь паутинную ниточку, из которой воображение и логика смогут соткать хоть подобие паутины? Решил пойти на хитрость. Стуком в дверь я вызвал надзирателя и сказал ему, что мне нужны очки, а разрешение на очки может дать только следователь — владыка надо мной и всем относящимся ко мне, как он сам информировал меня при первом знакомстве. Надзиратель сказал, что передаст мое требование следователю. На всякий случай, кроме необходимости в очках (это могли решить и без следователя), я потребовал от надзирателя вызова меня к следователю, так как должен сообщить ему некоторые данные. Я ожидал вызова в ближайший вечер, но он не произошел. Только на следующий день днем вошел надзиратель, сказавший, что меня вызывает следователь. Я застал его в обычном месте, сидящим в шинели за столом, следовательно, зашедшим на короткий срок, как мелькнула у меня мысль, перебирающим какие-то бумаги, часть которых он рвал в клочья и бросал в корзину. Встретил он меня со злым лицом и с подчеркнутым заявлением, что он меня не вызывал и что я сам потребовал встречи с ним, чтобы я это имел в виду. Я тут же понял, что он уже — не мой следователь, что я ему больше не нужен и что его роль как моего «куратора» прекращена. Об этом наглядно свидетельствовала и производимая им в моем присутствии очистка ящиков письменного стола от бумажных накоплений. Все это я воспринял, как чрезвычайно важное подтверждение происшедших важных событий. Далее он спросил у меня, что мне от него нужно. Не ему — от меня, а мне — от него! Эта перемена ролей тоже была важным штрихом. Я сказал ему, что нахожусь в чрезвычайно нервном состоянии, на грани психоза, что я не понимаю, что произошло, почему прекращено следствие и чем мне это грозит. Я до сих пор с благодарностью вспоминаю то, что он мне сказал; все же я не ошибался: в нем были задатки человека, к тому же неглупого и живого. Он со злостью упрекнул меня за некоторую якобы неправильность освещения одной из деталей его роли в моем «репортаже», из чего я по-

нял, что репортаж он читал, и что ему попало от начальства за допущенные им искажения моих показаний, и что мне поверили больше, чем ему. Тоже важное дуновение освежающего ветра в Лефортово из Лубянки. Затем он, приняв свой обычный в последнее время доброжелательно-веселый тон, сказал, что меня снова скоро вызовут на Лубянку и что все кончится очень хорошо. Большое и глубокое ему спасибо за все это! Ведь это — почти человек! Распоряжение выдать очки он, конечно, сделал.

Я вернулся в камеру в еще большем смятении. Неужели все это реальность? Сердце может разорваться от нетерпения в ожидании счастливого конца, от сознания того, что я уже не полуфабрикат Лубянской трупной промышленности, а могу снова стать живым человеком. Было от чего потерять сон. В мечтах о вариантах финала я меньше всего думал о возможности полной реставрации, такого еще с обитателями Лефортовской тюрьмы не было, тем более что я ведь не совсем чист по сталинским нормам: ругал Маленкова (слава богу — не Сталина — тут расстрел обеспечен), признавал наличие случаев неправильного отношения к евреям. Поэтому в оптимальных вариантах финала только выбирал место ссылки и остановился почему-то на городе Гурьеве (почему — не знаю). Одно только помню твердо! Я знал о том шуме, который поднят во всем мире вокруг «дела врачей». И если предложат на выбор — высылку за рубеж или ссылку — у меня колебаний не было: ссылку, из которой я смогу вернуться в жизнь в своей стране, когда изменятся обстоятельства, а в том, что они должны измениться, я не сомневался. Надо только дожить до этого. Эмигрантом, да к тому же принудительным, я не хотел стать, имея в виду послереволюционных эмигрантов, их трудную жизнь. В общем — парадоксы сталинской эпохи: «преступник» в своих радужных мечтах сам себе выбирает наказание за несодеянное преступление! Все это — фантастические бредовые мечты, которые могут возникнуть только в одиночной камере!

После напряжения в словесных поединках на ночных допросах, в ожидании трагической развязки их, после волнующей ночной беседы на Лубянке, возврата в «свою» камеру, встречи со следователем с оптимистическим завершением ее — наступили прозрачные дни тюремного режима, не нарушаемого никакими эксцессами. Узник стал «вещью в себе», никому не нужной, предоставленной своему внутреннему миру. Он нарушался только несколько раз в день негрубым вторжением режима в положенные часы: подъем, утренний чай, обед, ужин, отбой. Внутренний мир длинных

суток заполнялся чтением наизусть давно прочитанных книг и стихов, а иногда — внутренними звуками музыки с безмолвным мысленным воспроизведением в музыкальной памяти всего того, что она сохранила.

Однажды я услышал незнакомый до этого стук тележки, остановившейся у двери камеры. Вот отворилось окошко, в которое обычно подавалась пища телесная, и в нем показалась рука, державшая две книги, с призывом — «возьми». Это подъехала библиотека, снабжавшая узников пищей духовной,— трогательная забота тюремщиков о моральном состоянии узников. Я с жадностью набросился на это духовное подкрепление моему внутреннему миру. Книги большей частью были интересные — классики литературы и произведения некоторых советских писателей, до того мне незнакомые. Я не мог не обратить внимания на несколько неожиданный для тюрьмы ассортимент книг и их внешнюю, издательскую сторону. Ассортимент свидетельствовал о высоком литературном вкусе, неожиданном для тюремного библиотекаря, а внешняя сторона книг была часто тоже высокой. Несколько удивляло также то, что среди просовываемых в тюремное окошечко книг не было политической литературы, которая, казалось, была бы так необходима для политического перевоспитания народонаселения Лефортовской тюрьмы. На воле такая литература, а особенно в сталинские времена, была несравненно более навязчивой и более назойливой. Нет сомнения, что если бы книги могли говорить не языком их авторов, а языком их прежнего обладателя, они могли бы много рассказать о нем и о том скорбном пути, который они проделали из его личной библиотеки до доставки в Лефортовскую тюрьму вместе с хозяином в порядке конфискации его имущества. Таким образом в Лефортовской тюрьме я пополнял свою литературную эрудицию. Особенно запомнилась мне встреча с польской писательницей Марией Конопницкой. К стыду своему, я до того не знал эту замечательную женщину и замечательного поэта и писателя. Я буквально влюбился в нее, как в женщину с таким близким мне духовным обликом, вероятно, с внешней привлекательностью, и в ее творчество. Я выучил наизусть многие ее стихотворения, а для некоторых даже изобрел музыкальное сопровождение, как для гимна или романса (воспроизвести его вслух я бы не решился даже в одиночной камере). По выходе на «волю» одним из первых моих движений было приобретение у букиниста однотомника ее произведений, занявшего почетное место в моем книжном шкафу. Разумеется, право выбора книг в

тюремной библиотеке не входило в заботу о духовной пище, она преподносилась по общему принципу: «лопай, что дают». Однажды я сказал библиотекарю сквозь окошко, чтобы он заменил мне просунутую книгу на другую, так как эту я уже читал. Он спросил: «Где читал? Здесь?» Я ответил: «Нет, дома». «Ну, так здесь прочтешь». Для него, действительно, книга была разновидностью пищи; весьма вероятно, что пищу телесную и духовную развозил один и тот же кормилец.

Зарешеченное окно камеры под ее потолком выходило на восток. Стояли солнечные мартовские дни, и с самого раннего утра потолок камеры освещался солнечным лучом, обходившим весь его периметр, чтобы угаснуть в противоположном углу. Это был воистину луч света в темном царстве.

И так день за днем до 21 марта, когда утром снова — прогулка вниз, снова — «черный ворон» и снова — Лубянка. Опять «коридоры в коридоры», украшенные боксами, с кратковременными «отдыхами» в некоторых из них, и, наконец, я был введен в зал, где без особого порядка сидели частью за столами, частью — просто в креслах человек 10—12 в штатских одеждах. Лишь в центре всей этой группы сидел за столом полковник, грудь которого была украшена значком «Почетный чекист». Он вел все заседание, но это не было обычным заседанием, производимым по шаблонному, привычному за многие годы плану: выступления, вопросы, заключительное слово председателя и т. д. Это была свободная беседа с преступником, в которой принимали участие без какого-либо регламента все присутствующие, в том числе — и преступник. Беседу вел полковник (кажется, фамилия его — Козлов) и давал ей общее направление. Я не помню, с чего она началась, но начало ей положил полковник. По-видимому, с обращения ко мне с «просьбой» рассказать все, что имеет отношение к моему аресту и к материалам следствия. Разумеется, в центре моего «доклада» был опять проклятый «еврейский» вопрос, поскольку я был «еврейским буржуазным националистом». Я в свободной форме рассказал о своем возмущении теми проявлениями дискриминации, свидетелем и объектом которой я был. Я рассказал об известных мне многочисленных фактах отказа способным людям в приеме на работу в научные учреждения (я только и знал непосредственно обстановку в них). Привел в качестве примера историю с приемом на работу в мою лабораторию в качестве младшего сотрудника моей очень способной ученицы Т. Е. Ивановской (в настоящее время — видный ученый, профессор, заведующая кафедрой

патологической анатомии во 2-м Московском медицинском институте). Ее девичья фамилия Марухес. Отец был крещеный еврей, женившийся на христианке. В дореволюционные времена браки между евреями и христианами запрещались, и один из брачующихся (еврей) должен был перейти в христианскую веру. Зав. кадрами профессор Зилов обратил внимание на ее девичью фамилию — Марухес (Ивановская она — по мужу), выдававшую ее частичное еврейское происхождение, и в утверждении в должности отказывал. Но Ивановская, оказывается, была даже крещена после рождения в церкви, и у нее имелось метрическое свидетельство, данное настоятелем церкви. Узнав об этой пикантной детали, я уговорил Ивановскую, несмотря на ее сопротивление, отнести Зилову это метрическое свидетельство с ссылкой на то, что я просил приобщить его к делу. Зилов сделал возмущенный вид, что ему этот документ не нужен, но тем не менее на следующий день Ивановская была зачислена на работу. Я привел другие многочисленные примеры дискриминационных актов по отношению к лицам еврейской национальности при приеме их на работу в научные учреждения и при сокращении штатов, что возмущало меня как коммуниста-интернационалиста. Собеседование на эту тему было оживленным, в нем приняли участие многие из присутствовавших, подававшие различного рода реплики, но когда выяснилась невозможность отрицания или опровержения самих фактов, тогда полковник задал мне следующий вопрос общего принципиального характера: «Считаете ли вы правильным, что имеются научные институты, где 50 % сотрудников — евреи?» Я на это ответил: «Если бы, меня спросили, считаю ли я правильным, что имеются научные институты, где 50 % сотрудников бездарные идиоты, я бы ответил, что это неправильно, а я всегда прежде всего исходил в оценке качества сотрудника только с точки зрения интересов науки». Далее я сказал, что внимание к национальному составу научных работников возникло после введения высоких ставок зарплаты, до этого никто евреев не считал. Я лично избрал для себя после окончания мед. института малодоходную теоретическую специальность; моя зарплата ассистента была 27 рублей в месяц, и в то время мало интересовались моей национальностью, кроме разве традиционных антисемитов в среде старой профессуры (таковые были!).

Продолжая собеседование, я рассказал об эпизоде с изданием руководства по гистологической диагностике опухолей с изгнанием меня и профессора Шабада из автор-

ского коллектива. С особым возмущением я говорил об издевательствах, которым подвергаются юноши и девушки на приемных экзаменах в вузы и в аспирантуру, о том, какие незаживающие душевные раны наносятся этой молодежи, идущей на экзамен с полным доверием к экзаменаторам с оскорбляющим достоинство издевательским «провалом» экзамена. Я напомнил об эпизоде на уроке географии в школе моей младшей дочери, где был глупый выпад преподавательницы в адрес моей дочери, содержащий обвинение в преклонении перед Америкой и в антипатриотизме. Все присутствовавшие на «заседании» бурно реагировали на это сообщение, убеждая меня не обращать внимания на выступление «какой-то дуры».

В общем, меня пытались убедить в необоснованности моих утверждений о наличии актов дискриминации не как о случайном явлении. Все это происходило в свободной беседе, в процессе которой меня не обвиняли, а убеждали. Меня это поразило. Ведь я не знал, в каком обществе я нахожусь, какие задачи у этого заседания, какие его конечные цели. Я по наивности полагал, что это — суд, и был приятно поражен свободной обстановкой суда, в котором подсудимый был стороной обличающей, а судьи — убеждающей и с явным стремлением не обвинить, а убедить подсудимого в его заблуждении, перестроить его отношение к дискутируемым вопросам. Так как, по-видимому, эти попытки имели мало успеха, ввиду упрямства подсудимого, а особую горячность я проявил в рассказе о дискриминационных актах в отношении молодежи, то председательствующий полковник сделал попытку «урезонить» меня следующими словами (передаю почти дословно): «Почему вас так волнует еврейская молодежь? Образование у вас русское, родной язык русский?» Я понял, что это — доброжелательный жест для приобщения меня к общей нейтральной линии в «еврейском вопросе», приведение в «христианскую веру», что это была палочка, протянутая мне для извлечения из смрадного болота «еврейского буржуазного национализма». Но я настаивал на своем праве возмущаться несправедливыми и ранящими душу поступками в отношении еврейской молодежи. В общем, я сдержанно отнесся к протянутой палочке.

Следует сказать, что в ту пору я совершенно неясно представлял себе, что такое «еврейский буржуазный национализм», и отождествлял его с сионизмом. Лишь спустя некоторое время я узнал, что евреи в СССР не имели права открыто гордиться выдающимися представителями своего народа — учеными разных областей науки, композиторами,

художниками и т. д., что это — проявления «еврейского буржуазного национализма»; что евреи не имели права гордиться активным участием представителей своего народа в революционной борьбе за коренную перестройку общественных отношений на земле, что это — «проявление еврейского буржуазного национализма»; что евреи не должны отмечать свое участие в смертельной схватке с фашизмом во время Великой Отечественной войны, гордиться своими многочисленными героями в рангах от солдата до полководца, что это — «проявление еврейского буржуазного национализма»; тем более советские евреи не могли гордиться или даже открыто выражать свое отношение к беспримерному героизму борцов с фашистами в Варшавском гетто. Даже «Дневник Анны Франк», обошедший все страны мира, в последнюю очередь и с большим опозданием был издан у нас и быстро и навсегда исчез с книжных прилавков. Иначе говоря, евреям, как особой этнической группе, отказано в том праве, которым с гордостью пользуется каждый народ на земле, в праве иметь своих героев и гордиться ими, иначе это —«еврейский буржуазный национализм».

По воспитанию, по всей обстановке своего развития я впитал могучую русскую культуру во всех ее областях — в литературе, поэзии, живописи, музыке, театральном искусстве, преклоняюсь перед всем величием этой культуры. Она наполняла всю мою жизнь, все чувства, вся моя духовная и физическая жизнь — продукт этой культуры, и я разделяю всю законную гордость советского народа за нее. Но почему могли открыто гордиться своими выдающимися соплеменниками и героями все национальности Советского Союза, кроме евреев? Я хотел бы иметь право на это, поскольку я — еврей по происхождению, и мне об этом часто напоминают всю мою жизнь, как об унижающем факте. Я считаю справедливым, чтобы вклад евреев в общий прогресс нашей многонациональной родины, не требуя, разумеется, подчеркивания и афиширования, не замалчивался и чтобы это не считалось «еврейским буржуазным национализмом». Гордость — высшее чувство как индивидуального, так и общественно-национального достоинства. Она, конечно, не имеет ничего общего с мелким самовосхвалением, а тем более с пошлой, чванливой хвастливостью.

Вслед за обсуждением «еврейского вопроса» последовал ко мне вопрос о Вовси, что я могу сказать о нем. В общем, я говорил все то, что говорил генералу в ночной беседе 19 марта, несколько расширив свою характеристику. Я дал

М. С. Вовси заслуженную им чрезвычайно высокую оценку как ученому и специалисту-терапевту, отметив, что мы, его друзья, всегда жалели о том ущербе, который он наносит своему научному творчеству уходом по преимуществу в практическую лечебную деятельность, но что здесь он — жертва своей популярности: его как врача рвали на части. Рассказал о том потрясающем впечатлении, какое произвели на меня приписываемые ему преступления, совершенно несовместимые с его общим обликом и с той несомненной бдительностью, которая должна была быть проявлена к нему, как к генералу и начальнику терапевтической службы в Советской Армии, со стороны органов госбезопасности. Что все выдвинутые против него обвинения я считаю нелепыми, хотя знаю, что он признал их. Все это было выслушано с напряженным вниманием. Далее я сказал, что только одно обстоятельство в его поведении нас смущало, и весь зал при этом насторожился. На вопрос, какое это обстоятельство, я ответил, что мы, его друзья, и я в частности, неодобрительно отнеслись к его намерению приобрести в строящемся кооперативе «Медик» квартиру для женщины, что, по-видимому, диктовалось интимными соображениями, которые он быстро погасил. Буквально все присутствующие замахали руками с возгласами: «Нас интересует политическая деятельность Вовси, а не его семейные дела», на что я ответил, что к его политической характеристике я ничего добавить не могу. Эта информация была, конечно, несколько наивной в общем контексте, но я хотел подчеркнуть ею, что она — единственная компрометирующая деталь в характеристике Вовси, что других я за ним не знаю.

В общем, «суд» произвел на меня впечатление исключительно благоприятное своим неожиданным контрастом со всей предшествующей информацией об обстановке и процедуре судов в этом учреждении. Я совершенно не чувствовал себя в положении подсудимого и беседовал с составом «суда» на равных. Лишь много времени спустя, когда выяснились многие обстоятельства, связанные с ликвидацией «дела врачей», я понял, что это был не суд, а правительственная комиссия по пересмотру материалов этого дела, сфабрикованного в недрах МГБ, у комиссии, несомненно, было задание ликвидировать это грязное дело. Это задание было одним из первых мероприятий нового правительства СССР, сменившего сталинский режим, первое мероприятие, в цепи последующих, для ликвидации последствий сталинского террора и восстановления нормальной жизни советских граждан. Может быть, я был

до известной степени уже морально подготовлен предыдущими событиями к возможности открыто и прямолинейно излагать свою точку зрения на ряд фактов из нашей общественной и научной жизни, но этой возможностью я воспользовался с полной широтой и экспрессией в силу той общей атмосферы, какая была на «суде». К концу заседания у меня не осталось впечатления, что я ухожу обвиненным, хотя никакой резолюции или решения о результатах «собеседования» не было. Я должен был покинуть зал без какого-либо оформленного заключения или решения в отношении моей участи. Мне казалось, исходя из общего тона всего заседания, что во всяком случае она не должна быть мрачной, и это вытекало из общего, хотя и неопределенного содержания слов полковника в конце. Тем не менее я задал ему вопрос: «Вернусь ли я снова в советское общество советским гражданином?» На это он ответил: «Это будет зависеть от вас самого, от того, как вы посмотрите на все происшедшее». Ответ этот своей неожиданностью оставлял широкий простор для его конкретизации и расшифровки. Что мог бы означать его ответ? Заключение, ссылку в концлагерь или высылку для пересмотра своих взглядов? Мысль о полном освобождении была фантастически-невероятной для сталинских норм. Я ведь не знал, что им пришел конец. Все последующие дни я пытался разгадать, что скрывалось за словами полковника, но ответа на них пришлось ждать, запасясь терпением.

У меня были еще две мимолетные встречи с полковником. Я не помню, где они были; вероятно, в Лефортовской тюрьме, куда я вернулся после «суда». Во время одной из этих встреч полковник сказал мне, чтобы я написал о том, что я всегда был советским гражданином. Он не конкретизировал это задание, а дал его в виде общей темы, сказав, что «вы сами понимаете, что надо написать». Я понял, что этот материал необходим для реабилитации, и написал вкратце о своей научной и педагогической работе, о той радости, какую они мне доставляли, и о том, что эту счастливую возможность мне дала советская власть. Во время второй встречи он дал мне список из нескольких человек с предложением вкратце в письменной форме отказаться от тех показаний, которые я давал о них во время следствия. В этом списке были фамилии, которые никогда не упоминались во время следствия; порочащих же показаний я, вообще, ни о ком не давал. Тем не менее спорить я не стал и выполнил это задание, так как понимал, что оно нужно для реабилитации этих лиц.

И я ждал, не могу сказать, что очень терпеливо, но ничего другого не оставалось. Снова потянулись «прозрачные» дни, заполненные чтением литературы, которой меня снабжала тюремная библиотека. Нервное напряжение в ожидании развязки не спадало ни на миг. Особенно сильно оно было по ночам с бессонницей, ставшей привычной, несмотря на возможность спать. Однажды — это было в конце марта или в первых днях апреля — днем в камеру вошла молодая, довольно миловидная докторша в сопровождении надзирателя, о котором я упоминал, как о проявлявшем человеческое отношение в пределах его профессиональных возможностей. Он неоднократно уговаривал меня в необходимости спать, видя, что я по ночам бодрствую, не используя часы отбоя. Я подумал, что это он пригласил ко мне докторицу (она оказалась невропатологом), имея в виду мое нервное состояние, но, по-видимому, ее визит имел другой повод. Войдя в камеру, она с некоторой развязностью обратилась ко мне с вопросом: «На что мы жалуемся?» Я ей ответил: «Моя основная жалоба — вне вашей компетенции и ваших возможностей». Ничего не ответив мне и приняв официальный отчужденный вид, она приступила к элементарному неврологическому обследованию по сокращенной поликлинической программе. Подведя меня к окну и проверяя реакцию зрачков на свет, она задала вопрос: «Вы сифилисом никогда не болели?» Я ей ответил вопросом на вопрос: «А что — реакция зрачков на свет не одинаковая, анизокория?» Она ответила утвердительно. Я ей разъяснил, что в течение более 30 лет по многу часов в день смотрел в микроскоп (по преимуществу левым глазом) и, вероятно, это, а не сифилис, которым я никогда не болел, обусловило разную реакцию зрачков. Я просил ее выписать мне бехтеревскую микстуру для сна. Спросив, помогает ли мне она, доктор обещала это сделать и свое обещание выполнила: в оставшиеся дни мне ежедневно давали по две бехтеревские таблетки.

В дальнейшем, уже после выхода из тюрьмы и ознакомления с рядом обстоятельств, я понял смысл ее визита. Конечно, это не была инициатива надзирателя. Этот визит по своей цели был аналогией медицинскому осмотру в военкомате незадолго до ареста. Цель первого освидетельствования была — определение степени моей физической годности для ареста и заключения в тюрьму. Однако целью второго визита было определение степени моей физической и психической подготовленности для возвращения из тюрьмы. Не будет ли состояние моего здоровья компрометирующим об-

становку, в которой я находился, тем более что в последующем правительственном сообщении говорилось о мерах воздействия на арестованных врачей, «строжайше запрещенных законом».

ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ «ДЕЛА ВРАЧЕЙ». РЕАКЦИЯ В МИРЕ НА ЭТО ИЗВЕСТИЕ.

Наконец, наступил незабываемый вечер 3 апреля. Был предзакатный час. Я сидел у себя в камере на койке и с интересом читал какую-то книгу. Название и автора я быстро забыл. Должно быть, последующие события прочно вытеснили их. Я только помню, что я с сожалением оторвался от этой книги вследствие вторжения надзирателя в камеру. Он ворвался как метеор и с большой торопливостью и суетливостью обратился с требованием быстро собирать вещи для отбытия из тюрьмы, помогая мне в этом для ускорения этого процесса. Он принес наволочку с моими вещами, собранными при аресте, и в нее мы вдвоем стали складывать остатки съестных припасов, бывших в камере, мыло, зубную щетку. Среди съестных остатков были кусок копченой колбасы, пачка печенья, полбуханки ржаного хлеба, несколько луковиц. Все эти гастрономические излишества получены были в качестве дополнительного пайка за деньги из передвижной лавки, посещавшей камеры один раз в десять дней. Возможность и право пользоваться лавкой я получил после снятия наручников и отмены 9 марта штрафного состояния. У надзирателя не было никакого представления о моем дальнейшем арестантском пути. Во всяком случае, он никак не предполагал, что этот путь ведет на свободу, по-видимому, в его опыте из Лефортовской тюрьмы такого пути не было. На мой вопрос — надо ли брать с собой хлеб, он ответил: «Все бери, все бери, там все пригодится».

Собрав нехитрый арестантский скарб, спустились вниз, где произошла процедура смены казенного белья на свое собственное, снятое при приеме в этот санаторий. Эффект пребывания в нем обнаружился немедленно при переодевании в собственное белье. Оно на мне висело, как на вешалке (в дальнейшем выяснилось, что в тюрьме я оставил 14 килограммов веса). Я констатировал это словами: «Оставил свой живот здесь», на что спутник-надзиратель назидательно отреагировал: «Вот, вот, на курорты не надо ездить. Хорошей жизни захотелось!»

Вся подготовка к отбытию свидетельствовала о том, что я покидаю Лефортовскую тюрьму и свою «уютную» камеру безвозвратно, по крайней мере, на обозримое ближайшее время. Скептицизм, созданный неожиданными поворотами судеб человеческих в сталинское безвременье, предпочел такую осторожную, как бы страхующую от этих поворотов формулировку при неопределенности границ этой обозримости. Странное ощущение было при расставании с камерой. Было какое-то неопределенное чувство. По-видимому, оно было очень сложным, составленным из многих элементов: и из обилия тяжелых внутренних переживаний в этой камере; и из обилия своеобразных впечатлений, накопленных за время пребывания в этом «мертвом доме»; и из волнения по поводу того, что ждет меня за пределами этого дома. Но в этом сложном чувстве был еще один элемент, на первый взгляд странный: было какое-то щемящее чувство при прощании с местом, где была, несомненно, оставлена частица души и сердца. Ведь всего, что было пережито в этой тесной камере, вместить с трудом могла бы и целая жизнь. Но здесь жизненный цикл пошел в обратном порядке: от призрака неизбежной и неминуемой насильственной смерти, от всего сумасшедшего ада, что ей предшествовал, до возврата к жизни, еще призрачного, но уже ясно забрезжившего. Со всей этой гаммой переживаний я втиснулся в вертикальный ящик «черного ворона» при свете уходящего дня. Его реальный свет, а не угадываемый из стен камеры, как бы озарял тревожную надежду, с которой я погрузился во внутреннюю тьму «черного ворона».

Вышел я из него в знакомом внутреннем дворе Лубянки, оттуда в такой же знакомый буднично-казенный вестибюль, оттуда в чулан со своим узелком. Прошло некоторое время, сколько — я не знаю, его отсчитывало только лихорадочно бившееся сердце. Телефонный звонок в вестибюле, и я услышал свою фамилию, произнесенную дежурным. Открылась дверь чулана, и капитан с каким-то несколько сумрачным, испещренным оспинными крапинками лицом вызвал меня на допрос. При этом дежурный комендант заботливо порекомендовал мне воспользоваться внизу туалетом, так как допрос может длиться до 5 часов утра, а воспользоваться туалетом наверху будет трудно. По-видимому, только ограниченное число сотрудников Лубянки знало действительное значение моего прибытия и вызова. В сопровождении рябого капитана я был поднят в лифте на какой-то высокий этаж и был введен один (капитан остался за дверью) в просторный кабинет, где меня у входа встретил

коренастый, плотный, с проседью в черных волосах генерал, поздоровавшийся со мной словами: «Здравствуйте, Яков Львович», и подавший мне руку для рукопожатия, которую я, разумеется, принял. Уже эта встреча была многообещающей. В кабинете был с правой стороны в глубине его письменный стол с креслом, перед ним — два кресла; прямо против входной двери у стены — небольшой стол, на нем графин с водой и стакан, по обеим сторонам — стулья. Генерал предложил мне сесть; на мой вопрос, где я могу сесть, он сделал широкий жест рукой, охватывающий весь кабинет, даже его кресло, перед письменным столом, с предложением выбора любого места. Я скромно сел не за его письменный стол, а на стул около столика с графином. Стоя против меня, генерал участливо спросил: «Как вы себя чувствуете, Яков Львович?» Я ответил несколько возбужденно: «Как может чувствовать себя человек в моем положении?» Генерал с сочувствующим любопытством (так мне показалось) посмотрел на меня, несколько раз прошелся по кабинету и обратился ко мне со следующими словами: «Так вот, я пригласил (!) вас сюда, чтобы сообщить вам, что следствие по вашему делу прекращено, вы полностью реабилитированы и сегодня будете освобождены». При этой информации я расплакался. Вся горечь происшедшего и неожиданность такого финала вылилась в коротких слезах, я быстро взял себя в руки, выпил полстакана воды, заботливо поданной мне генералом. Генерал, по-видимому, чтобы рассеять обстановку, придать ей более жизнерадостный характер, сказал: «Я распорядился, чтобы вас проводили, вы скоро будете дома, но часа полтора уйдет на всякие бюрократические формальности (в его тоне просквозило какое-то, вероятно, искусственное сожаление о неизбежности этих формальностей). Перед отъездом позвоните внизу по телефону домой, предупредите, чтобы вас ждали». Все еще не веря и желая убедиться, нет ли здесь какой-либо ошибки или игры (я все еще опасался ее), и выяснить еще раз отношение к «еврейским делам», я сказал: «Но ведь были какие-то еврейские дела?», на что генерал сделал пренебрежительный жест, мол, все это ерунда. Я спросил у него о том, как я должен держать себя на свободе, имея в виду и возможную сдержанность в информации о событиях в период моего ареста, на что генерал ответил: «Вы должны держать себя как человек, подвергшийся незаконному и необоснованному аресту». С этими словами он попрощался со мной, с какими-то пожеланиями, содержание которых выпало из памяти. С таким напутствием я вышел из кабинета и отправился по бес-

конечным коридорам в сопровождении того же капитана. Вероятно, я что-то бормотал и, должно быть, у меня было соответствующее выражение лица, так как даже на каменно-угрюмом лице капитана проскользнула улыбка.

«Бюрократические формальности» привели меня опять в бокс-чулан в каком-то верхнем этаже, где в состоянии блаженной растерянности я стал ждать их конца, не понимая и не зная, в чем они состоят. «Я с корнем бы выгрыз бюрократизм» и, сидя в чулане, не пожалел бы для этого зубов. Время тянулось медленно. Я слышал за дверьми чулана какую-то суету и человеческую возню, до меня доносились какие-то голоса, а я все ждал, когда же распахнется дверь чулана. Наконец, она раскрылась, и в сопровождении какого-то чина меня ввели в обширный кабинет, показавшийся мне по величине залом, где за скученными без порядка канцелярскими столами сидело много военных, показавшихся мне молодыми полковниками. Один из них, под любопытные взоры остальных, как будто присутствующих при интересном зрелище, вручил мне отпечатанную на машинке справку со штампом Министерства внутренних дел СССР, датированную 3 апреля 1953 года. Привожу содержание справки полностью, поскольку она была первой ласточкой в последующей многомиллионной серии подобных справок. Но в отличие от моей справки, отпечатанной на машинке, что подчеркивало ее индивидуальность, последующие имели уже стандартную типографскую внешность. В моей справке значилось:

СПРАВКА

Выдана гражданину Рапопорту Якову Львовичу, 1898 г. рождения, в том, что он с 3 февраля 1953 года по 3 апреля 1953 года находился под следствием в бывшем Министерстве госбезопасности СССР.

В соответствии со статьей п. 5 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР следствие по делу Рапопорта Я. Л. прекращено.

Рапопорт Я. Л. из-под стражи освобожден с полной реабилитацией.

Начальник отдела МВД СССР

А. Кузнецов.

Как прожектором озарило: «В *бывшем* Министерстве госбезопасности...»— значит, МГБ ликвидировано, значит, произошли какие-то огромные перемены за время моего пребывания в тюрьме, имеющие прямым следствием неожи-

данный радикальный переворот в моей судьбе. Я понял это мгновенно, но смысл, существо и причины этих перемен оставались для меня, разумеется, загадкой. После того как я прочел справку, мне вручили все изъятые у меня при обыске документы: паспорт, диплом доктора наук, аттестат профессора, орденскую книжку и партийный билет. Последний был для меня более значительным символом освобождения, чем справка: он символизировал реабилитацию не только в криминальном плане, но и в общественно-политическом, партийном. Я понял, что восстановлен в партии.

Со всеми этими документами, уже реальными признаками освобождения, меня снова отправили в тот же бокс. Бюрократическая машина еще продолжала действовать. Несмотря на всю убедительность происходящих событий, их документальное подтверждение, надо мной висел плотно вколоченный годами страх: а вдруг в последний момент все перерешат, чья-то могучая рука повернет колесо обратно, все документы проделают обратный путь, и я вместе с ними. Таково было доверие к стенам, в которых я находился. Дважды открывалась дверь в мой чулан, из которого я был готов выпрыгнуть, и дважды возвращалась в замкнутое на замок состояние. Один раз принесли узелок с моими вещами, оставленными внизу в боксе. Второй раз тревожно осведомились, был ли в этом узелке футляр для очков, т. к. его не могут обнаружить. Кажется, действительно, был копеечный картонный истрепанный футляр, который могли выбросить при осмотре вещей в узелке, как бумажную рвань, чтобы не осложнять ситуацию (а вдруг задержат, пока не найдется футляр!) и не злоупотреблять заботливым вниманием к моему барахлу, сказал, что футляра, кажется, не было. Но интересен самый факт внимания к такой мелочи: порядок в этом доме был, мелочей здесь не было, а блюстителей порядка было более чем достаточное количество!

Терпение мое истощалось по мере нарастания напряжения. Поскорее бы вырваться отсюда, пока колесо не завертелось в обратную сторону. Набравшись храбрости, подогретой обещанием генерала, что на бюрократические формальности уйдет часа полтора, а ушло уже гораздо больше, я стал колотить кулаками в дверь. На какой-то из моих стуков дверь открылась, и какой-то чин с торопливостью стал призывать меня к терпению: «Скоро, скоро!» Я стал урезонивать его возможностью инфаркта от напряженности ожидания свободы, в ответ получив: «Потерпите, скоро, скоро». Судя по его озабоченности и торопливости, он был очень занят, да я сквозь дверь ощущал все время суету перегруженных

поручениями людей. На один из моих настойчивых стуков (кажется, с помощью ног) открывший дверь военный сказал мне, что они хотят вернуть мне забранные при обыске ценности, чтобы мне не надо было приезжать за ними, и что на это уйдет некоторое время. Я не понимал, о каких ценностях идет речь, дома у меня никаких ценностей не было, но должен был удовлетвориться логикой такой мотивировки. Действительно, спустя некоторое время дверь раскрылась, и меня повели в комнату, где сидел военный в чине интендантского полковника, вернувший мне пакет с облигациями займов и ордена, изъятые при обыске. Это и были ценности, из-за которых меня задерживали. Из возвращенных мне орденов я тут же прикрепил к пиджаку орден Ленина. Мне казалось, что, увидев его на мне, жена сразу поверит в мою свободу, как наглядный ее символ, прежде чем прочтет реабилитационную справку. Так, украшенный орденом Ленина, с остальными орденами в кармане, я снова отправился в бокс. Вероятно, за все время существования этого бокса он впервые принимал узника, на груди которого красовался орден Ленина (ордена обычно немедленно изымаются при аресте). Это тоже символ глубоких перемен в советском климате.

Наконец (это было, вероятно, около двух часов ночи), дверь бокса открылась, в дверях стоял пожилой полковник, который, поздоровавшись со мной, сказал, что ему поручено проводить меня домой. Позади него стоял молодой человек в стандартной штатской одежде сотрудника МГБ того времени (синее пальто с серым каракулевым воротником, такого же меха шапка-ушанка). Я покинул бокс, попытавшись взять свой узелок, но полковник обратился к молодому человеку с распоряжением: «Возьмите узелок», которое тот с поспешной готовностью выполнил. Так мы и отправились втроем: впереди — полковник с какой-то бумагой в руке, на которой я заметил наклеенные мои фотографии анфас и в профиль, сделанные в тюрьме, в центре — я, позади — молодой сотрудник с моим узелком в руке. На каждом этаже полковник показывал дежурному стражу эту бумагу, по-видимому, пропуск на безвозвратный выход. Разрешение позвонить по телефону домой снизу я не получил. Во дворе Лубянки, мне уже хорошо знакомом, нас ждала серая «Победа», в которую мы втроем сели: я с полковником сзади, молодой спутник с узелком — на переднем сиденье рядом с водителем; ворота Лубянки распахнулись, и колеса «Победы» завертелись по обратному маршруту, символизируя поворот истории «дела врачей».

Очень трудно передать ощущения во время этой сказочной поездки по ночной Москве из потустороннего мира, из мира, полного мрачных тайн, окруженного в течение десятилетий страшными легендами, погружение в который было безвозвратным, как в океанскую пучину. Казалось, что выход из него должен вызвать сильнейший эмоциональный взрыв, но его не произошло. Было только тихое наслаждение полупустынными в ночную пору освещенными улицами Москвы, знакомыми зданиями, световыми рекламами улицы Горького, как встреча со старыми, близкими друзьями. Была радость, что они — на своем обычном месте и что я могу безошибочно предвидеть встречу с площадью перед Моссоветом, с магазином Елисеева, памятником Пушкину и т. д. Эти встречи были как бы утверждением незыблемости вечной обычной жизни, за пределами которой осталась фантасмагория. Где-то в подсознании бьется мысль (скорее — ощущение), что меня не везут, а я еду, и при желании могу остановить машину и выйти из нее. Это был выход из тяжелого сновидения в реальный, привычный мир, развертывающийся передо мной по пути от Лубянки к Новопесчаной улице через улицу Горького и Ленинградский проспект.

Так как я уже не сомневался в том, что этот путь ведет ко мне домой, то я хотел возможно дольше насладиться им и был рад, что машина шла относительно медленно, как будто водитель угадывал мои желания.

Я всегда любил ночную Москву с ее тихими улицами, редкими прохожими, и встреча с ней после Лефортовской тюрьмы и Лубянки без всяких подготовительных переходов и промежуточных стадий имела особую мифическую окраску. Я почему-то вспомнил совет Блока. Я часто «про себя» цитировал заключительную часть поэмы Блока «Возмездие», полную глубокого смысла, цитировал ее и во время этого возвращения домой, и хочется привести небольшой отрывок.

...Когда по городской пустыие,
Отчаявшийся и больиой,
Ты возвращаешься домой...
...Тогда остаиовись иа миг
Послушать тишину иочную:
Постигиешь слухом жизнь иную,
Которой дием ты ие постиг...
...Ты все благословишь тогда,
Поняв, что жизнь — безмерио боле,
Чем quantum satis Бранда воли
А мир прекрасеи, как всегда.

Странной может показаться психологическая быстрота перехода в мир реальный из мира лубянских мистерий. Они почти мгновенно растаяли по мере утверждения в сознании, что мир реальный существует. Такова потрясающая сила способности переключения человеческого сознания с одного уровня на другой. Формальная память сохранила если не все, то многое из событий прошедших месяцев, но из сферы эмоциональной они были быстро вытеснены другими впечатлениями. Без этой способности переключения жизнь была бы, вероятно, невозможна вообще. Это одно из проявлений великой общей закономерности аккомодации как важнейшего фактора жизнеспособности. Груз отрицательных эмоций невозможно нести долго.

Но я ехал не один, у меня было два сопровождающих спутника, как показатель особого внимания к невинно пострадавшему профессору. Один из них — немолодой полковник, сидевший рядом со мной на заднем сиденье. Он хватался за сердце и жаловался на боли. Я сочувственно подавал ему медицинские советы. У него был с собой валидол. Почему-то общим обликом он напомнил мне полковника, который вез меня из дома на Лубянку в памятную ночь 3 февраля. Другой, на переднем сиденье рядом с водителем и с моим узелком на руках, показался мне знакомым. В его скрыто озлобленном с натянутой улыбкой лице я заподозрил «оперативника», встретившего меня и жену у входа в переднюю по нашем приходе домой в ночь моего ареста и с профессиональной ловкостью обыскавшего мои карманы. Во вторгшейся в мою квартиру для ареста большой группы, он, по-видимому, играл специальную роль. На мой вопрос, он подтвердил, что я не ошибся, что это именно был он. Я у него спросил, не обижал ли он мою жену, на что он ответил категорическим отрицанием. Жена же мне потом сказала, что именно он был самой злой собакой, пыл которой даже пытались смягчить остальные его товарищи по оперативной группе. Я понял после этой информации, почему у него была такая недовольная морда со смесью смущения и скрытой злости, когда он сопровождал меня домой с моим узелком в руках. Можно было ему посочувствовать! Такие контрасты и переходы в деятельности ретивого жандарма тоже требуют адаптации, а положительных эмоций эта прогулка со мной у него, конечно, не вызывала.

Машина медленно свернула на Новопесчаную улицу, въехала через железные раскрытые ворота в знакомый двор и остановилась у знакомого крыльца. Мы втроем вышли из машины, двери подъезда не были заперты, было около

трех часов ночи, но ночных лифтеров у нас не было. И мы вошли в вестибюль, где был телефон. Первый сигнал из моей квартиры на четвертом этаже подала моя собака, черный пудель — Топси. Это была необыкновенно ласковая, умная и эмоциональная сука. При каждом моем возвращении домой она встречала меня в передней, и я бывал жертвой ее бурного восторга и бурных ласк, сопровождавшихся как радостными визгами и стонами от прилива чувств, так и эмоциональной лужей на полу. Едва я вошел в подъезд и даже не успел подняться на первый этаж, как я услышал восторженный лай Топси, разбудивший мою жену. Я позвонил ей по телефону из подъезда, чтобы предупредить о моем возвращении с полной реабилитацией и чтобы она не была напугана моим неожиданным появлением в сопровождении двух военных — сотрудников МГБ. Но ее разбудил не телефонный звонок (телефон после ареста был вынесен из комнат в переднюю), а лай Топси: она первая оповестила мир о конце «дела врачей». Медленно поднялись по лестнице на четвертый этаж,— я щадил сердце полковника. Я распахнул пальто, чтобы жена увидела у меня на груди орден Ленина как символ моего восстановления, и это, действительно, ей бросилось в глаза, когда она открыла нам дверь. Но поздороваться с ней и обнять ее я смог только после того, как вырвался из объятий Топси и ее лобзаний и перешагнул через ее традиционную восторженную лужу. Вместе со мной вошли мои спутники, но лейтенант куда-то быстро исчез. Трудно вспомнить, какими словами мы обменивались с женой в присутствии полковника, несколько смущенного своим присутствием при событии, в котором он участвовал, несомненно, первый раз в своей многолетней деятельности. Он попросил разрешения позвонить по телефону (аппарат был внесен в комнату), и я был свидетелем его разговора: «Товарищ генерал, докладываю из квартиры Якова Львовича». По-видимому, отвечая на вопрос генерала, он сказал: «И слезы, и радость». Затем, обращаясь к нам обоим, передал привет от генерала (кто он, я не знал и не знаю до сих пор) и его пожелания и совет, чтобы была только радость без слез. Трогательно! Жена задала мне вопрос: «Знаю ли я, что умер Иосиф Виссарионович?» Ее вопрос как молнией осветил весь, непонятный мне до того, механизм резкой перемены в моей и, я был уверен, в общей судьбе арестованных по «делу врачей». Мне сразу стало ясно, почему Министерство государственной безопасности стало «бывшим», как это было написано в справке об освобождении, и что это — не единственная перемена в советском строе, а насту-

пление новой эпохи в нем, действительно исторически измененном смертью только одного человека. Я воспринял неожиданное известие о его смерти лишь с некоторым удивлением. Мне казалось закономерным это явление в общей цепи событий, совершенно логичным внутренней связью с ними, своевременностью и единственным условием развития этих событий. Мелькнула мысль о роке, в нужный и крайний момент обрушившем свой удар во спасение моей жизни. Где же был этот рок раньше?! Миллионы людей не дождались его! На осторожный вопрос жены, не знаю ли я, что с Мироном Семеновичем (Вовси), я с полной уверенностью ответил ей, что освобождены все. Уверенность эту мне давал весь процесс реставрации, в котором, как показала вся обстановка и все содержание этого процесса, я был не единственным его объектом. Кроме того, когда я сидел взаперти в боксе, ожидая выхода на свободу и слыша непрерывную суету за дверью, мне показалось, что я услышал шепотом произнесенную фамилию: «Вовси». Мне тогда представилось, что он в этот момент проходил по коридору мимо моего бокса и кто-то шепотом кому-то указал на него, как на главного героя «дела», имя которого было «притчей во языцех», как величайшего злодея в истории человечества, которого четвертовать мало. Нас сковывало присутствие полковника, хотя и державшегося крайне скромно и, несомненно, чувствовавшего себя лишним свидетелем семейной радости. Но он ждал возвращения исчезнувшего лейтенанта, который вскоре явился вместе с управдомом, чтобы в его присутствии снять печати с опечатанных после моего ареста двух комнат и ввести меня во владение ими вместе с находящимися в них вещами. Это тоже было проявлением предупредительности, указания о которой, несомненно, полковник и лейтенант получили. С этой процедурой в тех редчайших в истории МГБ случаях, когда необходимость в ней возникала, не торопились. В данном случае, несомненно, было стремление возможно скорее ликвидировать все последствия ареста и все, что было с ним связано, включая и возврат изъятых «ценностей» еще до выхода «на волю».

Управдом, пожилой человек, рассказал мне после, что когда ночью его разбудил лейтенант, ему уже знакомый по моему аресту, и пригласил его в квартиру № 103, то он решил, что пришли за моей женой. От волнения он никак не мог попасть ногой в штанину, но когда лейтенант без всякого вопроса сказал: «Возвращаем вам» (в его тоне радости не было!), то управдом на это ответил: «Тогда бежим». И они побежали. Печати были сняты, я вошел в распечатанные

комнаты, в которых в полной неприглядности сохранился хаос произведенного обыска. Когда процедура восстановления интеграции квартиры была закончена, полковник с высшей степенью любезности попрощался со мной и женой, сопроводив прощание самыми трогательными пожеланиями.

Наконец, мы остались одни, и я почувствовал, что я — дома. Я могу ходить из комнаты в комнату, зайти в ванную без всякой надобности, в кухню. Я только с этого момента со всей полнотой почувствовал, что я — свободен. Жена уговаривала меня лечь спать, но я не мог для сна пожертвовать невыразимым ощущением свободы, возвратом в привычную обстановку, встречей с привычными вещами. Возбуждение от всех этих переживаний было таким, что о сне не могло быть и речи, он казался насилием над свободой. Я отправился в ванную побриться не только из косметической необходимости, но для ощущения счастья пользования своей бритвой, своим зеркалом, своим полотенцем. Это тоже были символы свободы. Я передал по телефону телеграмму-молнию (такие телеграммы доставлялись в течение часа) своей старшей дочери в Торопец (Великолукской области), где она работала после окончания медицинского института. В телеграмме я сообщал, что вернулся из командировки. Но эту молнию она получила только спустя двенадцать часов. Молния ударила с большой задержкой. Дочь, узнав из сообщений радио и сослуживцев об освобождении врачей, сама позвонила по телефону домой, чтобы проверить это сообщение. Задержка «молнии» была показателем растерянности властей на местах, которую вызвало у них неожиданное сообщение о ликвидации «дела врачей», и которые не знали, как им поступить: передать телеграмму, смысл которой был ясен, или не передать, пока не будут получены бесспорные подтверждения освобождения врачей, еще вчера бывших извергами рода человеческого.

Наступило незабываемое утро четвертого апреля. В шесть часов утра, в часы обычной утренней передачи последних известий, радио передало полный текст правительственного сообщения о ликвидации «дела врачей». Оно заслуживает того, чтобы быть приведенным полностью, вместе с официальными комментариями к нему.

Сообщение
Министерства внутренних дел СССР (4 апреля 1953 г.)

«Министерство внутренних дел СССР произвело тщательную проверку всех материалов предварительного следствия и других данных по делу группы врачей, обвинявших-

ся во вредительстве, шпионаже и других действиях в отношении активных деятелей Советского государства. В результате проверки установлено, что привлеченные по этому делу профессор Вовси М. С., профессор Виноградов В. Н., профессор Коган М. Б., профессор Коган Б. Б., профессор Егоров П. И., профессор Фельдман А.И., профессор Этингер Я. Г., профессор Василенко В. Х., профессор Гринштейн А. М., профессор Зеленин В. Ф., профессор Преображенский Б. С., профессор Попова Н. А., профессор Закусов В. В., профессор Шершевский Н. А., врач Майоров Г. И. были арестованы бывшим Министерством государственной безопасности СССР неоправданно без каких-либо законных оснований.

Проверка показала, что обвинения, выдвинутые против перечисленных лиц, являются ложными, а документальные данные, на которые опирались работники следствия, несостоятельными. Установлено, что показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получены работниками следственной части бывшего Министерства государственной безопасности путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия.

На основании заключения следственной комиссии, специально выдвинутой Министерством внутренних дел СССР для проверки этого дела, арестованные Вовси М. С., Виноградов В. Н., Коган Б. Б., Егоров П. И., Фельдман А. И., Василенко В. Х., Гринштейн А. М., Зеленин В. Ф., Преображенский Б. С., Попова Н. А., Закусов В. В., Шершевский Н. А., Майоров Г. И. и другие, привлеченные по этому делу, полностью реабилитированы в предъявленных им обвинениях во вредительской, террористической и шпионской деятельности и в соответствии со ст. 4, п. 5 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР из-под стражи освобождены.

Лица, виновные в неправильном ведении следствия, арестованы и привлечены к уголовной ответственности».

Под этим историческим сообщением помещены в «Правде» три небольших заметки под тривиальными заголовками: «Весна в мичуринских садах», «Путешествия по родной земле», «Рабочие повышают свой общеобразовательный уровень», под этими заметками, в самом низу страницы, как бы отделяющими сообщение МВД, было обычным шрифтом опубликовано следующее сообщение под заголовком «В Президиуме Верховного Совета»: «Президиум Верховного Совета СССР постановил отменить указ от 20 января 1953 г. о награждении орденом Ленина врача Тимо-

шук Л. Ф., как неправильном в связи с выявившимися в настоящее время действительными обстоятельствами».

Таким образом, Л. Тимошук была разжалована из великой дочери русского народа и новоявленной Жанны Д'Арк в вульгарные советские «сексоты».

Распределение обоих сообщений на газетной полосе: одно — вверху, другое — внизу, было несомненно продуманным, поскольку такое распределение было и в «Правде», и в «Известиях». Отличалось оно в этих двух официальных органах только содержанием отделяющих заметок и соответственно их заголовками. Разделение двух исторических сообщений на газетных полосах разных газет обычными будничными материалами, разумеется, было продуманным, имело, конечно, определенный смысл. Он, вероятно, заключался в том, чтобы лишить оба сообщения сенсационности, придать им будничный характер текущих мероприятий нового правительства. Это особенно подчеркивается при сопоставлении двух указов: текста указа о награждении Тимошук орденом Ленина на первой полосе и крупным шрифтом с будничным видом указа о лишении ордена. Однако эти тенденции не могли замаскировать выдающегося значения обоих сообщений, не имеющих прецедента ни в предшествующей, ни в последующей истории Советского государства. Особенно это относится ко второму сообщению. Его историческое значение и всеобъемлющий смысл трудно переоценить. Дело не только в том, что оно извещало об освобождении людей, признавших себя по ходу следствия в МГБ виновными в совершении тягчайших преступлений и признанных невиновными, несмотря на это. Дело не только в том, что был снят кровавый навет с большой группы людей, и они буквально были вырваны из лап позорной смерти. Это сообщение было суровым приговором всему тридцатилетнему сталинскому режиму. Оно как лучом мощного прожектора осветило самые мрачные его стороны, весь его чудовищный произвол, всю механику многочисленных «заговоров», раскрытых «бдительностью» органов безопасности и завершившихся гибелью колоссального числа лучших представителей партии и советского народа, врагами которого они были объявлены, и обездоленностью еще большего числа соприкосновенных людей. Этот исторический акт свидетельствовал о приговоре сталинскому режиму, о начале радикальной перестройки внутри советского общества, начатой тотчас после смерти Сталина.

Исключительный интерес представляют комментарии газеты «Правда» к сообщению МВД 4 апреля, содержащи-

 еся в редакционной статье 6 апреля и перепечатанные без изменений 7 апреля в «Известиях» и других газетах. Эти комментарии напечатаны под заголовком: «Советская социалистическая законность неприкосновенна». После повторения почти полным текстом сообщения МВД об освобождении арестованных врачей и ликвидации всего дела по их обвинению статья ставит вопрос: «Как могло случиться, что в недрах Министерства государственной безопасности СССР, призванного стоять на страже интересов Советского государства, было сфабриковано провокационное дело, жертвой которого явились честные советские люди, выдающиеся деятели советской науки?» Статья дает на это развернутый ответ, сводящийся к следующим положениям, излагаемым здесь почти текстуально.

1. Не на высоте оказались руководители МГБ, которые оторвались от народа, забыли, что они служат ему.

2. Бывший министр МГБ Игнатьев проявил политическую слепоту и ротозейство, оказался на поводу у таких преступных авантюристов, как бывший зам. министра и начальник следственной части, непосредственно руководивший следствием, Рюмин, ныне арестованный. Рюмин поступал как скрытый враг государства и народа. Вместо того чтобы работать по разоблачению действительных шпионов и диверсантов, он встал на путь обмана и авантюризма, надругался над законами и Конституцией.

3. Не на высоте оказалась и созданная в связи с обвинением группы врачей медицинско-экспертная комиссия, которая дала неправильное заключение по методам лечения, примененным в свое время к А. С. Щербакову и А. А. Жданову. Вместо того чтобы с научной добросовестностью и объективностью проанализировать истории болезни и другие материалы, эта комиссия поддалась влиянию сфабрикованных следствием материалов и своим авторитетом поддержала клеветнические, фальсифицированные обвинения против ряда видных деятелей науки. Статья пытается хоть несколько сгладить этот тяжелейший упрек в адрес экспертной комиссии замечанием, что следствие утаило от нее некоторые существенные стороны лечебной процедуры, доказывающие правильность проведенного лечения.

Далее статья клеймит презренных авантюристов типа Рюмина, пытавшихся разжечь в советском обществе глубоко чуждые ему чувства национальной вражды (т. е. антисемитизма,—*Я. Р.*), не останавливаясь перед клеветой, в частности на честного общественного деятеля, народного артиста СССР Михоэлса, и призывает к неуклонному соблю-

дению законности и Конституции СССР. Трудно переоценить высшую степень гражданственности и мужества, проявленных новым правительством немедленно после смены сталинского руководства страной. Особенно надо учесть весь общественный климат в течение подготовки к «делу врачей» и в период его развития, а также полную подготовленность народа к разрешению «дела» в прямо противоположном направлении. Надо было осветить народу, как возникло это «дело» и кто непосредственно виновник его.

Объяснение происхождения «дела» под углом зрения злой воли авантюриста Рюмина, разгильдяйства министра госбезопасности Игнатьева и плохой работы медицинской экспертной комиссии может показаться лишенным должной глубины. Но объяснение надо было дать безотлагательно, не дожидаясь более глубокого анализа в историческом плане, как порождение режима произвола и беззакония сталинской эпохи.

Открытое признание этого было дано на XX съезде КПСС и путем освобождения из мест заключения огромного числа заключенных и массовой реабилитацией невинно осужденных, в значительной части — посмертной.

Особое значение для основного содержания книги имеет суровая и справедливая оценка деятельности медицинской экспертной комиссии, которая дана в редакционных комментариях газет «Правда» и «Известия». Холуйская угодливость экспертной комиссии, состоявшей из оставшихся на свободе медицинских специалистов в ранге профессоров,— комиссии, которые принесли в жертву этой угодливости высокие традиции медицины, создаваемые на протяжении веков, начиная с Гиппократа, комиссии, готовой принести в жертву этой угодливости позор и жизнь десятков своих коллег, вызывает чувство глубокого омерзения. Чем эти специалисты лучше Рюмина и ему подобных? Тот профессиональный мерзавец, служебная карьера которого зависела от числа уничтоженных им людей. А эти представители самой гуманной профессии — медицины, что ими руководило? Их действия — ярчайший показатель глубины падения всех форм морали, глубины разложения советского общества, проституирования которого сталинским режимом не избежала и медицина. Чувство омерзения не снимается, а усиливается той легкостью, с которой эти жрецы медицины отказались от своих обвиняющих заключений, когда новое правительство указало на ложность их. Могут ли они претендовать на доверие к их медицинской компетенции и объективности в дальнейшем?

Не имеющее прецедента изъятие ордена у недавно награжденного им с опубликованием в печати самого факта и его мотивировки породило различные слухи и версии о последующей судьбе Тимошук. Наиболее распространенной была версия о ее гибели вследствие наезда автомобиля вскоре после этого события, бытующая до настоящего времени. Сюжетом для такой версии служили, вероятно, слухи об участии МГБ в подобной гибели ряда людей, в частности — Михоэлса. Ничего подобного с Тимошук не произошло. Спустя короткое время после апрельских событий она приступила к своей обычной работе в той же кремлевской больнице, где она сыграла такую оглушающую роль. Она явилась на работу с полным внешним безразличием к этим событиям, как будто они к ней не имеют никакого касательства и как будто их не существовало. Вероятно, такое поведение было внушено ей и ее служебному окружению. Некоторое время спустя при очередном награждении орденами и медалями медицинских работников за длительную и непорочную службу она была награждена орденом Трудового Красного Знамени, вторым по значению после ордена Ленина гражданским орденом. По-видимому, ее биография не считалась опороченной короткой, но не удавшейся ролью Жанны Д'Арк. Эта роль была расценена, вероятно, как проявление бдительности и патриотического рвения, которое всегда заслуживало и продолжает заслуживать поощрения, а ошибки при этом у кого не бывают!

Вернемся, однако, в мою квартиру в памятное утро 4 апреля.

Непосредственно вслед за окончанием радиопередачи началось, несмотря на ранний час, паломничество соседей в нашу квартиру. Первой ворвалась наша соседка снизу Нина Петровна Беклемишева. О ней и о ее муже Владимире Николаевиче Беклемишеве я писал. Они не спали всю ночь, слышали оживление в нашей квартире, шаги многих людей. Они знали, что в квартире находилась только жена с младшей дочерью, и были уверены, что это пришли за женой, чтобы ее арестовать. Тем более потрясающим было переданное по радио сообщение, и она пришла, чтобы сообщить жене радостное известие. Увидев меня, она разрыдалась так, что я долго не мог ее успокоить. Какой же должна была быть тяжесть переживаний этой русской женщины в течение всего периода «дела врачей» и моего ареста, чтобы дать такую разрядку! Известие о моем возвращении быстро распространилось в доме и по сообщению радио, и от управдома,

как свидетеля этого. Я в окно видел, как во дворе вокруг него собирались маленькие группы людей, которым он, конечно, рассказывал о событиях прошедшей ночи. Раздавались звонки в дверь, и я слышал, как жена, оберегая меня, говорила, что я очень утомлен, и как просили у нее разрешения хоть увидеть меня, в котором она не могла отказать. Ведь я был символом, да и мне доставляла огромную радость встреча с людьми. Слез радости посетителями было пролито немало. Среди них были и русские, и евреи, которые, находясь на свободе, чувствовали ее призрачность, жили в постоянном страхе, и хотели видеть свидетельство реальности сообщения по радио.

Утром, еще до начала занятий в учреждениях, я позвонил по телефону директору института С. И. Диденко, чтобы сообщить ему о своем возвращении, но он о нем уже знал. Он очень просил меня приехать в институт хотя бы на полчаса, по-видимому, желая, чтобы меня видели и убедились, что реабилитированный и свободный Рапопорт не миф, а реальность. Но он просил меня приехать не раньше двенадцати часов, и я позднее понял почему: в мое отсутствие моя лаборатория была ликвидирована, помещение передано кому-то, и директор, замечательный, благородный и чуткий человек-коммунист, хотел использовать несколько часов для приведения лаборатории, и особенно моего маленького кабинета, и ее сотрудников в состояние, бывшее до моего ареста. И я действительно застал сотрудников на месте, кабинет — в первобытном состоянии, только паркетный пол его еще не просох после срочного мытья. На столе был приказ о восстановлении меня на работе в прежней должности заведующего лабораторией патоморфологии и о выплате зарплаты за весь период ареста.

В то же утро я поехал в институт. По приезде в институт я был несколько удивлен равнодушием, с которым взирали на меня встречавшиеся по пути в лабораторию сотрудники института, даже те из них, которые всегда были очень и активно приветливы. Причину этого мне раскрыл С. И. Диденко. Оказывается, рано утром, еще до начала занятий, в районный комитет КПСС была вызвана секретарь партийной организации института А. Е. Тебякина, которую райком информировал, что я вернулся из заключения и чтобы она инструктировала всех членов партии, а через них — весь коллектив, чтобы при встрече со мной сотрудники проявляли полное равнодушие, как будто я прибыл из кратковременной командировки, чтобы не было никаких объятий и слез. Задание было строго выполнено и находилось в резком

контрасте с предупредительностью и подчеркнутым вниманием, которым сопровождалось мое освобождение на Лубянке и со стороны сотрудников МВД после него. Такое задание отображало известную растерянность райкома перед неожиданным событием, незнанием, как на него реагировать, и райком решил, по-видимому, следовать французскому правилу: в сомнении — воздержись! Да и трудно было перестроить сознание райкома и коммунистов института, еще буквально вчера клеймивших изверга самыми ужасными эпитетами, а сегодня приветливо его встретить. Это не соответствовало тем истинным чувствам этих коммунистов, которые вызвало у них происшедшее за ночь и заставшее их врасплох событие.

С. И. Диденко, которому я сообщил по телефону о своем приезде в институт, просил меня ждать его приглашения, так как хотел встретить меня наедине, в отсутствие кого-либо из посторонних. Он не хотел, чтобы были свидетели нашей встречи, чтобы она была свободной от инструктажа райкома. Я понял это и по его словам, и по характеру встречи с ним — с объятиями и слезами. Он рассказал мне, что буквально накануне, в пятницу, состоялось заседание партийного бюро, рассматривавшего персональное дело коммуниста С. И. Диденко по обвинению его в поддержке, оказывавшейся им в течение длительного времени врагу народа. Заседание было длительным, обсуждение осталось незаконченным, и продолжение его было перенесено на понедельник, когда и должно было быть вынесено решение (вероятно, заранее подготовленное и ничего хорошего не сулившее С. И. Диденко). На следующий день, в субботу, сам «враг народа» явился в институт с документом о полной реабилитации. Было от чего партийному руководству института впасть в шоковое состояние, подобное тому, которое, как пишет Чехов, должен испытывать спущенный курок, давший осечку. Это состояние испытывали многие любители сильных ощущений и человеческой свежатины, которой досыта кормила таких любителей людоедская сталинская эпоха. Дочь рассказывала, как утром, после начала работы, в поликлинику, где она работала в Торопце, ворвалась разъяренная секретарь партийной организации, врач, с возмущенным криком: «Вы слышали, их освободили; это гнусная провокация, это так им (?!) не пройдет». Совершенно очевидно, что вся подготовка к ликвидации «дела врачей» проходила в глубокой тайне в недрах Министерства внутренних дел, принявшего функции ликвидированного Министерства государственной безопасности. Даже надзиратель Лефор-

товской тюрьмы, провожавший меня злобно-укоряющим напутствием: «Хорошей жизни захотели!» и рекомендовавший взять с собой из камеры все продукты («Там все пригодится!»), не знал, куда он меня провожает. Больше того, даже дежурный в Лубянке, куда меня доставили из Лефортовской тюрьмы, перед подъемом наверх по вызову не знал, зачем меня вызывают, иначе бы навряд ли рекомендовал воспользоваться туалетом перед предстоящим, по его мнению, длительным допросом.

Суммируя реакцию «народа» на неожиданное прекращение «дела врачей», надо сказать, что далеко не у всех оно вызвало вздох облегчения. Многим, жаждавшим крови «извергов рода человеческого», наступившие пасхальные праздники были испорчены. И надо же было, чтобы непосредственно за освобождением «извергов», происшедшим в ночь на субботу, пришел первый день пасхи — Христово Воскресенье! Для очень многих, и не только для освобожденных и близких им людей, это был в подлинном смысле слова светлый праздник, и они так символически и восприняли его. Для немногих же он был омрачен неожиданной осечкой спущенного курка.

Были некоторые предвестники предстоящих событий, но они не могли быть поняты теми, к кому были направлены, и интерпретированы ими в такую сверхоптимистическую сторону. Вся многолетняя предыстория не давала для этого никакой основы. Таким предвестником был неожиданный звонок по телефону моей жене за несколько дней до освобождения. Мужской голос любезно поздоровался с ней, осведомился о ее здоровье, предварительно сообщив, что говорят из Министерства госбезопасности. Говоривший поинтересовался также здоровьем и общим состоянием членов семьи, ссылаясь на то, что этим интересуется Яков Львович и что он беспокоится о семье. Жена дала вполне успокаивающие ответы, даже просила мне передать, что у нее имеется работа, что она получила заказы на рефераты иностранных научных статей и на переводы (жена — физиолог, доктор наук) и что это дает ей заработок. Она осведомилась, разумеется, о моем состоянии и получила вполне утешительный ответ («Яков Львович здоров, хорошо себя чувствует»). Жена спросила, не нужно ли передать мне демисезонное пальто (была весна, а ушел я в зимнем), на что собеседник ответил, что в этом нет никакой необходимости. Этот звонок и этот разговор (кто был собеседником — не знаю до сих пор) несомненно были проявлением той же предупредительности, с которой был обставлен весь процесс освобождения,

но жена поняла его по-своему. До ее сознания даже не дошел смысл ответа ее собеседника на предложение передать мне демисезонное пальто, в котором, по его словам, нет нужды. При некотором оптимизме можно было расценить этот ответ как благоприятный симптом, как сигнал о предстоящем возвращении, но почвы для оптимизма в советской действительности того времени не было. Исходя из печального опыта прошлых лет, когда бывали случаи подобных звонков в награду или в поощрение узнику за его покладистость во время следствия и за признание вины, жена решила, что разговор идет в моем присутствии и что это — тоже мне награда от следователя за облегчение ему его цели — добиться признания несуществующей вины. По-видимому, в «органах» хотели иметь информацию о состоянии, в котором я застану семью, из первоисточника, подобно тому, как визит врача-невропатолога ко мне в камеру имел заданием выяснение состояния, в котором я явлюсь в ближайшие дни к семье.

Во время моего пребывания в институте мне позвонил в кабинет из вестибюля вахтер, сообщивший, что меня спрашивает какой-то военный, ждущий меня в вестибюле. Меня это уже не испугало — вот какой психологический сдвиг произошел в сознании за короткое время! Я просил вахтера проводить военного ко мне в кабинет. Он оказался полковником госбезопасности, который привез все материалы, изъятые у меня из кабинета при обыске в нем после моего ареста. Он застал меня за микроскопом, и, по-видимому, на него произвело впечатление столь быстрое, за несколько часов, перевоплощение заключенного в ученого, сидящего за своим рабочим столом. Я слышал, как он, информируя по телефону генерала о вручении мне изъятых материалов, говорил, что застал меня за работой в институте, не скрывая своего удивления и даже с оттенком восхищения. Я был рад, что, по вине С. И. Диденко, я случайно мог продемонстрировать высшим сотрудникам органов госбезопасности, что они имели дело с учеными, преданность науки которых не могли сломить даже наручники. Но это не была демонстрация — я действительно не мог лишиться наслаждения — поисследовать в микроскопе несколько гистологических препаратов, изготовленных после моего ареста и очень меня интересовавших, и полковник застал меня за работой. Сесть снова за микроскоп — ведь это осуществленная мечта лефортовского узника!

Не у одного меня тюрьма и все произошедшее в ней не отбило жажду возвращения к своей обычной деятельности. М. С. Вовси в первый же день после освобождения нель-

зя было удержать, несмотря на естественную общую слабость, от чтения лекции слушателям Института усовершенствования врачей.

Мое общение с сотрудниками госбезопасности никак не могло прекратиться и остановиться на полковнике. Они не оставляли меня своими заботами и своим вниманием. Вскоре после моего возвращения домой из института был телефонный звонок из этой организации, осведомлявшийся о том, дома ли я, так как ко мне должен приехать сотрудник. Все же — как изменилась обстановка, если для того, чтобы узнать о том, дома ли я и смогу ли принять сотрудника, осведомлялись по телефону. Только два месяца тому назад о моем местонахождении информацию получали через тех же сотрудников, а для посещения ими меня совсем не требовалось моего согласия! В данном случае оно было дано без колебаний и опасений, хотя цель визита мне не была известна. Сотрудником оказался приятный по внешности и любезный по обращению молодой лейтенант, который привез в мешке все документальные материалы, изъятые при обыске дома. Их было много, и я предложил лейтенанту освободить от них мешок прямо на пол в моем кабинете, чтобы мне легче было потом разобрать и рассортировать их по содержанию, что он и сделал. Образовался небольшой холмик. Захваченный текущими волнующими событиями, я, однако, не стал разбирать этот бумажный холмик, а распихал его по ящикам в книжном шкафу, письменном столе. Ко многим частям этого ликвидированного холмика я не прикасался в течение длительного времени, и много лет спустя, разбирая их, находил много интересных и забытых материалов. С лейтенантом у меня был короткий и взаимно приветливый разговор, в котором проявлялось его уважение молодого человека к пожилому профессору и ученому (эту репутацию, как мне было известно по ходу следствия, я имел в МГБ). В процессе беседы я, упоминая о моем следователе, сказал, что сейчас, вспоминая все, что я ему говорил, он должен жалеть, что не верил мне. На это лейтенант ответил неожиданной и полной какого-то смысла фразой, что если бы он верил мне, то не был бы сейчас в том положении, в каком он находится, и предложил мне встретиться с ним, если я этого хочу. Разумеется, никакого желания встретиться с ним у меня не было, и я ответил быстрым и решительным отказом. Я не стал проявлять интереса к тому положению, в каком он находится, но из слов лейтенанта понял, что оно не из авантажных и что мы с ним поменялись если не местами, то эмоциями и настроениями. В общем, я был действительно

тронут вниманием органов МВД непосредственно после освобождения.

Остаток первого дня был заполнен мелкими бытовыми деталями возврата в обычную жизнь, в том числе — и данью медицине. На звонок жены в поликлинику научных работников, из обслуживания которой я и моя семья были исключены с момента ареста, с просьбой прислать врача, в котором я, по ее оценке моего состояния, нуждаюсь, врач был прислан немедленно. Он нашел резкое повышение кровяного давления (высокую гипертонию) и признаки исхудания, хотя потеря четырнадцати килограммов, как выяснилось при взвешивании, оставила еще достаточный для жизни живой вес. Прописан был постельный режим (какое емкое слово, полное контрастов: «режим»!), который трудно было совместить с ликующим возбуждением и жаждой активности, и потому он так и остался погруженным в бездонную пучину невыполненных медицинских назначений.

Наступил вечер первого дня, и наша квартира была заполнена друзьями, пришедшими отпраздновать с нами это событие и разделить радость по поводу него. Я встретил их пушкинским письмом к другу, начало которого мне казалось вполне относящимся и к настоящему событию, и его герою: «Я ускользнул от эскулапа худой, обритый, но живой. Его мучительная лапа не тяготеет надо мной...» Многие из друзей, учитывая ситуацию, принесли с собой скромный гастрономический вклад в скромный по этому признаку стол, в котором нашли должную оценку и весьма пригодились тюремная колбаса, тюремный ржаной хлеб, луковицы, печенье; я вспомнил напутствие надзирателя: «Все бери, там все пригодится». Действительно, все пригодилось, но не «там», где он думал. Пиршество, отнюдь не заполненное гастрономическими излишествами, почти сомкнулось с пасхальной заутреней. Это было воистину воскрешение из мертвых после символического распятия на кресте. Поразительная символика для мистико-философских размышлений! Итак,— было утро, был вечер, день первый на свободе! Слегка перефразированный итог библейского первого дня сотворения мира.

А затем последовали дни постепенной смены опьяняющего угара свободы отрезвляющим впечатлением внешней среды. «Дело врачей» в его уголовно-юридическом содержании закончилось. Но было бы формальной ошибкой закончить на этом настоящее повествование. «Дело» продолжалось в общественно-политическом сознании, и эхо его раздавалось еще длительное время и в общем, и в личном

плане. Общий план — дело историка и социолога с научно-исследовательским анализом событий. Но это, по-видимому, еще дело будущего, как и разностороннее освещение его языком художественной литературы и публицистики. В сфере моих возможностей — только личный план, т. е. изложение личной информации и личных впечатлений.

Прежде всего на меня нахлынули информации о событиях, происходивших за пределами тюремных стен в период моего пребывания в них. Продолжалась погромная атака на евреев-врачей, даже находившихся на свободе. Особенно неистовствовал «Медицинский работник», страницы которого были заполнены разнузданной клеветой на того или иного врача еврейской национальности, ничем не ограничиваемой в смысле наличия хоть элементов правдоподобия.

Материальная нужда заставила мою жену продавать кой-какие вещи, и немедленно последовал донос в МГБ о продаже ею вещей, подлежащих конфискации после моего осуждения. Прибывшие по этому доносу сотрудники МГБ удостоверились, что она продавала только принадлежащие ей и оставленные в ее распоряжение вещи, но на всякий случай рекомендовали ей и это не делать, чтобы не дразнить гусей — доносчиков.

Я находился первое время на охранительном режиме (это — не тот режим, который меня охранял в Лефортовской тюрьме) больного гипертонией; гипертония поддерживалась не только тюремной индукцией, но и текущими стимулами внешней среды, наслаивающимися на нее. Спустя несколько дней после «эксгумации» мне позвонила по телефону технический секретарь партийной организации института и по поручению секретаря партийного бюро пригласила на закрытое партийное собрание, где должен был рассматриваться вопрос о моем восстановлении в партии. Я ответил, что был исключен из партии, а затем восстановлен, и что партийный билет мне возвращен при освобождении. Поэтому нет никакой необходимости в восстановлении меня в партии партийной организацией института. На это собеседница возразила, что партийная организация института своим решением тоже исключила меня из партии и должна по формальным соображениям отменить это решение и восстановить меня согласно Уставу. Я был (да и сейчас остаюсь) не очень искушенным товарищем в уставных ритуалах, но знал, что ни одно персональное дело, а тем более исключение из партии, не может рассматриваться заочно. Поэтому, ссылаясь на недомогание, я отказался прибыть на партийное собрание и сказал, что поскольку меня исключили в мое

отсутствие, то и восстанавливать могут без меня. Однако здесь почему-то надо было соблюдать ритуальную чистоту, и меня настойчиво просили прибыть на это специальное собрание с единственным пунктом его повестки — восстановление меня в партии. Пришлось пойти навстречу, и я приехал. Я почувствовал себя во враждебном окружении, точно я что-то у этих людей украл, чего-то важного их лишил, чем-то жестоко обидел. Выражение лиц коммунистов (большей частью женского пола) было таким, точно они присутствуют на похоронах, а не на возврате к жизни невинно пострадавшего партийного товарища. Секретарь партийной организации с ужасом на лице сообщила мне (конфиденциально) о циркулирующих в институте моих высказываниях. Мне приписываются (не без основания) слова, что только смерть Сталина освободила меня и других из тюрьмы и возможной позорной казни. Она была потрясена такими мыслями и опасностью их высказывания. Так силен был сталинский дух в атмосфере, которой много лет дышали эти товарищи, и освободить от которого свой, насквозь пропитанный им организм они безболезненно не могли. Секретарь партийной организации доложила, что имеется только один вопрос — восстановление меня в партии ввиду моей полной реабилитации и восстановления на работе, и предложила голосовать за предложение. Все без исключения подняли руки «за».

Несколько отдохнув, я навестил А. И. Абрикосова, и эта встреча мне очень запомнилась среди всех других. Я выслушал его повествование о том, как провел он период «дела врачей», и эта повесть заслуживает подробной передачи. Она чрезвычайно симптоматична для эпохи, особенно если учесть, что герой ее — не рядовой профессор, а выдающийся ученый с мировой известностью, академик, обласканный званием Героя Социалистического Труда, лауреата Сталинской премии. На стене дома, где он жил, после его смерти установлена мемориальная доска, его именем назван переулок, где находится возглавлявшаяся им кафедра, а перед входом в здание воздвигнут его бюст. Для него «дело врачей» началось раньше, чем оно приняло широкий размах. Должен напомнить, что его жена, Ф. Д. Вульф, еврейка по национальному признаку, была прозектором кремлевской больницы, а А. И.— консультантом этой больницы. Оба они были отстранены от работы в этой больнице когда начались аресты среди ее руководства, некоторых врачей и консультантов. Причины этого отстранения были для А. И. неясны. В нравы того времени не входило правило объяснять их. Тем более грозным симптомом был сам факт, и уволенные теря-

лись в догадках о том, чем они разгневали грозное начальство и не начало ли это более серьезных репрессий. Что-то зловещее было всегда в таком немотивированном увольнении.

Дальнейшее развитие событий не разъяснило А. И. все эти вопросы, но, естественно, вызвало какую-то внутреннюю тревогу даже в его уравновешенном характере с философским отношением к событиям внешнего мира. С эпическим спокойствием, в своей обычной манере, без всякой экспрессии он передавал все, что происходило в его жизни в этот период. Жили они на Новослободской улице в доме, населенном профессорами-медиками; это окружение таяло с большой быстротой, принудительно переселяясь в менее комфортабельные тюремные помещения. Вся обстановка не поддерживала желания обычных дружеских контактов между представителями того мира, каждый член которого мог быть потенциальным кандидатом на переселение. К тому же А. И. и его жена стали личностями подозрительными, на их политической репутации уже тяготело темное пятно изгнания из кремлевской больницы. Поэтому они практически были в полной изоляции от общения с запуганным окружением. Эта изоляция не растворялась при появлении А. И. на кафедре, которой он руководил более 30 лет. Скорее она подчеркивалась изменившимся отношением к нему со стороны сотрудников. Они стали реже обращаться к нему за обычными консультациями, да и делали это с какой-то опаской. Обычно непрерывно и широко раскрываемые двери его кабинета в течение всего рабочего дня оставались закрытыми, и он проводил большую часть его в полном и тоскливом одиночестве. Фактическим хозяином кафедры стал ближайший помощник, профессор кафедры А. И. Струков. Он, по словам Алексея Ивановича, ревниво относился к возможному умалению своего авторитета. Всякому контакту с А. И., как они мне говорили, придавалось значение чуть ли не политического проступка. Человек с чувствительными рецепторами к политической ситуации, Струков несомненно руководствовался ею в своем поведении (а вероятно, и соответствующим инструктажем) в отношении А. И.

В один, как говорят, прекрасный день А. И., придя утром на кафедру, застал в своем кабинете на столе телефонограмму от ректора Мединститута профессора Талызина, приглашавшую его к ректору к трем часам дня. Как сказал мне А. И., он заранее заподозрил цель приглашения и, получив кой-какую информацию, на всякий случай

заготовил письменное заявление с просьбой об освобождении его от заведования кафедрой.

Когда он явился к профессору Талызину, тот сейчас же вызвал секретаря партийной организации института, в присутствии которого произошел следующий разговор: «А. И., вы когда-то высказывали желание покинуть кафедру, не изменили ли вы этому намерению?» Вопрос этот имел кой-какое, но весьма отдаленное, и по существу, и по времени его возникновения, основание. За несколько лет до этой беседы циркулировали слухи о введении звания почетного профессора, который будет освобожден от функций заведующего кафедрой с сохранением ему полного оклада и возможности, при его желании, продолжения работы на кафедре, наподобие того, как это существует в некоторых зарубежных университетах, и что первыми профессорами, которые получат это почетное предложение, будут он и профессор В. Н. Виноградов. А. И. открыто говорил, что он, разумеется, охотно примет это предложение, которое, как он и все понимали, является наградой выдающемуся ученому за его многолетнюю плодотворную деятельность. Но это намерение не имело ничего общего, по своему существу, с вопросом, заданным ему профессором Талызиным. Однако А. И. уразумел, что ему в вежливой форме предлагают покинуть кафедру, и на вопрос ректора вынул из портфеля заготовленное заявление и вручил ему, сказав, что его намерение не изменилось. Конечно, в условиях реализации этого намерения были коренные различия: речь шла не о почетном уходе с большими материальными привилегиями, а просто об уходе на пенсию, но приходилось делать хорошую мину при плохой игре. Получив эту мину в виде заявления, ректор и секретарь партийной организации переглянулись и не могли, как сказал А. И., скрыть своего удовлетворения таким неожиданно быстрым решением неприятного дела. А. И. сказал ректору, что, вероятно, для его увольнения потребуется приказ Комитета по делам высшей школы (в будущем — Министерства высшего и среднего образования), прерогативой которого является утверждение и увольнение профессоров. На это ректор и секретарь парторганизации с поспешной предупредительностью заверили А. И., что они все сделают сами, чтобы он не беспокоился. Действительно, они все сделали сами с потрясающей быстротой: не успел А. И. вернуться на кафедру (прошло не более получаса), как застал на своем письменном столе приказ ректора об освобождении его от заведования кафедрой, согласно его личной просьбе. Просьба была формой, но изгна-

ние — по существу; на кафедре он больше не появлялся, заведующим ею стал профессор А. И. Струков. Это произошло в конце января или в феврале 1953 года.

Известие об уходе А. И. из 1-го Медицинского института распространилось в среде профессоров и преподавателей (наряду с ложными слухами об его аресте). На одном из заседаний совета профессоров одна из членов совета (профессор Ю. Ф. Домбровская) выступила с заявлением о неожиданном уходе из института одного из самых уважаемых профессоров и ученых, старейшего профессора института и предложила сохранить его в составе членов ученого совета. Предложение было принято ввиду его невинного характера и отсутствия каких-либо мотивов для отказа, т. к. формальной и открытой дискредитации А. И. не было. Узнав о том, что, не будучи уже зав. кафедрой, он остался в составе ученого совета, он добросовестно явился на ближайшее заседание, где происходила очередная защита какой-то диссертации. После процедуры защиты секретарь стала обходить членов совета, вручать им бюллетени для голосования. Дойдя до А. И., она, взглянув на список, обошла его и бюллетеня ему не вручила. А. И. понял, что принятие предложения Ю. Ф. Домбровской было простой фикцией,и больше на заседания ученого совета не являлся, не получая к тому же формального приглашения в виде повестки.

Следующим актом научно-общественного остракизма А. И. было изгнание его из редакции журнала «Архив патологии», основателем и бессменным редактором которого он был. Однажды, вскоре после изгнания из 1-го Медицинского института, он получил домой телефонограмму, приглашающую его в Министерство здравоохранения к заместителю министра по кадрам Белоусову. Проявляя трогательную заботу о здоровье А. И., как об единственной цели приглашения А. И., он обратился к нему: «Алексей Иванович, вы раньше иногда жаловались на состояние здоровья (у А. И. была невралгия тройничного нерва), вам не трудно ли быть редактором „Архива патологии", ведь это все-таки нагрузка?» Рассказывая мне об этом, А. И. со свойственным ему тонким юмором добавил от себя: «Хотя я никогда никому не жаловался на то, что мне трудно быть редактором „Архива", но раз начальство говорит, что трудно, значит — трудно». И он согласился с Белоусовым, что быть редактором «Архива», конечно, хоть и нетрудная, но все же забота. Тогда Белоусов сообщил А. И., что, учитывая это, его решили освободить от этой заботы, т. е. от обязанностей редактора «Архива патологии», и что эти обязанности временно воз-

лагаются на ответственного секретаря «Архива», все на того же А. И. Струкова. Так А. И. был отстранен и от этой важной общественно-научной обязанности. Но Струков заболел, редакция осталась без всякого руководства, и зав. редакцией в безвыходном положении стала обращаться к А. И. за разрешением ряда вопросов, в том числе и технических, что он и делал ради журнала.

Однажды академик Н. Н. Аничков, президент Академии медицинских наук, при случайной встрече с А. И. на лестнице дома, где они оба жили, выразил свое возмущение по поводу отстранения А. И. от руководства «Архивом», что это недопустимо, что «Архив» не может существовать без А. И. как редактора его и что он по этому поводу поговорит с Белоусовым и сообщит ему о бедственном положении, в котором очутился журнал. О результатах этих переговоров он сообщил А. И. Белоусов сказал Н. Н. Аничкову, что этот вопрос он сам решить не может и выяснит его в ЦК КПСС. После выяснения его в этом высшем органе он просил Н. Н. Аничкова передать А. И., что ему разрешается временно текущее руководство журналом до выздоровления Струкова.

Выслушав все это повествование, я шутя сказал А. И.: «Ведь с вами обращались — как с евреем». А. И. шутки не принял и с полной серьезностью согласился: «Да, да — как с евреем...» Трудно сказать, чем бы закончилась одиссея А. И., если бы не счастливый финал «дела врачей». Похоже, что все, что с ним происходило, было только прелюдией к чему-то более грозному, его судьба была предрешена. Случай с А. И. — пример не молниеносной расправы, а дробного репрессирования, не доведенного, однако, до логического конца по независящим от режиссуры обстоятельствам. Нет никакого сомнения в том, что все, что происходило с А. И., было пролонгированным, замедленным включением его в кадры «врачей-убийц», подобно тому, как аресту академика Лины Соломоновны Штерн предшествовала длительная подготовка, или, пользуясь медицинской терминологией, длительный продромальный период, в течение которого уже имеются еще неясные, но реально ощутимые признаки надвигающейся болезни. За что же над головой А. И. был подвешен карающий меч госбезопасности, несомненно готовый опуститься в подходящий момент? Подобный вопрос может быть задан в отношении всех привлеченных к «делу врачей», а у А. И. имелись неоспоримые «железные» данные, с точки зрения МГБ, для приобщения его к этому делу. А. И. производил патологоанатомические вскрытия многих крупных деятелей Советского государства. Можно напомнить, что он вскрывал

тело председателя ОГПУ Менжинского, не обнаружил при вскрытии признаков или следов действия «казаковского зелья», о чем просил его присутствовавший при вскрытии генерал ОГПУ. Был обнаружен резкий склероз артерий сердца, вызвавших тяжелое поражение его и смертельный исход. Между тем, по официальной версии, Менжинский был злодейски умерщвлен лечащими врачами, выполнителями воли «врагов народа», а Абрикосов этого не сумел или не хотел обнаружить. Он вскрывал тело умершего выдающегося деятеля сталинской эпохи А. А. Жданова, и даже помогавший А. И. при вскрытии опытный служитель анатомического театра Иван Глебович сразу заметил вслух, что у Жданова — тяжелый склероз коронарных артерий сердца с тяжелыми хроническими и острыми изменениями самого сердца в результате перенесенных инфарктов, конечно, это констатировал и Абрикосов. А в ряду преступлений, инкриминированных «врачам-убийцам», было умерщвление Жданова противопоказанными мероприятиями. Абрикосов этого не заметил или не хотел заметить. А. И. знал истинную причину смерти С. Орджоникидзе — самоубийство. Нельзя было быть уверенным в его скромности, надежнее было бы, если бы он унес эти тайны с собой в могилу. Все это делало А. И. лакомым куском для МГБ, который они готовились проглотить. Но для этого людоедского акта в данном случае необходима была общественно-политическая подготовка, учитывая положение, занимаемое А. И. в советском обществе. Этот фактор, по-видимому, в некоторых случаях тормозил прямолинейность действий, по аналогии с анекдотическими действиями одного грузинского парикмахера. К нему пришел какой-то клиент побриться, и парикмахер, не найдя кисточки, плюнул себе на ладонь и, намылив ее, стал ею намазывать щеки клиента. На возмущенный его протест парикмахер возразил: «Зачем обижаешься? Мы тебе уважение делаем, другому прямо в морду плюем». А. И., по-видимому, было оказано такое уважение другим, уже не анекдотическим грузинским парикмахером...

Не для всех арестованных по «делу врачей» оно завершилось возвратом в ночь на 4 апреля в status quo ante. Действовали типовые парадоксы МГБ. Объектом одного из них стал профессор Марк Яковлевич Серейский. Это был известный психиатр, разносторонне образованный ученый, превосходный музыкант-пианист. Он был арестован позднее всей основной группы «убийц в белых халатах», если память мне не изменяет — в начале марта, т. е. накануне перелома в развитии «дела», вызванного смертью Сталина. Как он мне

рассказывал, следователь добивался от него, главным образом, признания в его преступной связи с профессором В. Ф. Зелениным, его близким другом, одним из деятелей основной группы «врачей-убийц». Следователь добивался этого и после того, когда профессор В. Ф. Зеленин, выпущенный на свободу с полной реабилитацией, отдыхал в санатории, не подозревая, что он является убийцей в белом халате и что от М. Я. Серейского требуют, чтобы он это подтвердил. При этом следователь не скупился на соответствующие эпитеты по адресу Зеленина, не оставлявшие у Серейского сомнения в том, что если Зеленин не расстрелян, то находится на пути к этому. Поэтому финал всей этой чертовщины был для Серейского совершенно неожиданным, без всяких тормозных спусков следственного накала. В конце апреля, вместо очередного допроса, следователь задал ему вопрос: «Так вы отрицаете, что вы — сволочь? Тогда убирайтесь отсюда вон». Ему был выписан пропуск, и его выпустили за ворота тюрьмы (кажется, Лубянки). У него было ощущение, что его не выпустили, а выгнали, как провинившегося и нашкодившего мальчишку. Он не обиделся и на общественном транспорте отправился к себе домой, так и не поняв смысла всего разыгранного фарса, пассивным участником которого он был. Но я уже писал, что в бывшем МГБ театрализованные инсценировки, иногда в стиле несложного детектива, были приняты в системе работы этого учреждения. Для сотрудников его это было развлечением, наподобие игры в кошки-мышки, где они получали к тому же возможность проявить свою творческую изобретательность. Если бы была возможность собрать все эти инсценировки, то получился бы пухлый многотомник, как литературное надгробие на бесчисленных жертвах этих инсценировок. Но пока поднялся только край занавеса: лишь в тех процессах, материалы о которых стали сейчас доступны, да из немногочисленных рассказов уцелевших жертв.

После двухнедельного периода «акклиматизации» мы 20 апреля (т. е. я и жена) отправились в Сочи, в санаторий Министерства культуры СССР. С нами одновременно поехали наши близкие друзья — супруги Гельштейн — мои сотоварищи по «делу врачей». Несмотря на все радикальные изменения, происшедшие в стране и в нашей личной жизни, страх преследования и слежки, в котором мы жили десятки лет, не мог испариться так быстро. Он вызывал подозрительность по отношению к явлениям весьма, вероятно, случайным, лишенным того смысла и значения, которое им по психологической инерции придавалось. Так, например, при на-

шем отъезде перед посадкой в вагон было щелканье фотоаппаратов, и нам казалось, что мы — объекты фотографирования, что это — нас провожают наблюдатели из «органов», хотя не мы одни были у входа в вагоны и не мы одни могли быть «жертвами» фотолюбителей из числа провожавших. Тем не менее «комплекс поднадзорности» продолжал свое действие.

В пути в вагоне произошел инцидент, очень нас, особенно жену, испугавший, как симптом той же поднадзорности. На следующий день нашего путешествия в наше купе вошла проводница вагона, спросившая с некоторой осторожностью (продиктованной, как после стало ясным, боязнью нескромности), не Рапопорт ли моя фамилия. Было страшно вдруг услышать свою фамилию из уст проводницы. Первая мысль — каким образом проводнице может быть известна моя фамилия, почему она ее интересует, и это — неспроста. Значит, кто-то ей сообщил ее, и ясно, кем был этот «кто-то». На наш подтверждающий фамилию ответ и на встречный вопрос, почему ее интересует моя фамилия, она сказала, что ее просил проверить мою фамилию один гражданин, который едет в этом же вагоне и который сказал, что он мой ученик, и просил разрешения зайти к нам в купе, если я действительно Рапопорт. От испуганно забившегося сердца — отлегло, и, разумеется, такое разрешение я просил проводницу передать нашему соседу по вагону. Вскоре он зашел и сам. Он оказался судебным медиком, занимавшим уже большое положение в его специальности, и моим бывшим студентом, знавшим меня не только как своего бывшего профессора, но и как автора научных работ из смежных областей патологии. Встреча была дружественной, и я не мог отказать нашему спутнику в удовольствии отметить эту встречу коньяком, несмотря на робкие протесты жены (ведь у меня все еще оставалась следовая тюремная реакция в виде гипертонии). В коньячное торжество включились и спутники по купе — свидетели радостной и неожиданной встречи, и остаток пути прошел под его градусом. Долго еще пуганые сталинские вороны куста боялись!

Месяц, проведенный в Сочи, был месяцем встречи с весной в природе и с перекликающейся с ней весной личного возрождения. Первый день пребывания в санатории, как это нередко бывает, был днем прохождения через санаторное чистилище: темная, неуютная комната с окнами во двор, наполненный автомобильным шумом, кухонными запахами, звонкими голосами персонала и радиорупором на крыше. Я плохо провел первую ночь, и жена без моего ведома по-

просила врача создать мне более спокойную обстановку, конфиденциально посвятив ее в обстановку, из которой я попал в санаторий, и соответствующий ей нервнопсихический настрой. Полное сочувствие и подчеркнутая забота следствием имели немедленное переселение в более комфортабельные условия, и, по-видимому, через врача просочились в санаторное население сведения о том санатории, из которого я почти непосредственно прибыл. Словесных деклараций об этом ни с чьей стороны не было, над всеми еще тяготело табу на открытое высказывание, а тем более обсуждение подобных тем. Однако по подчеркнутому вниманию, предупредительности, нескрываемой симпатии и даже какой-то нежной заботливости, окутывающей нас, и особенно меня, нетрудно было догадаться, что это было вызвано не какими-то нашими личными, внушающими такое отношение, качествами. Хочется думать, что это тоже играло какую-то роль, но ясно было, что я — расконспирирован. Несомненно, основную роль играло отношение советской интеллигенции (а она в подавляющей массе была в ту пору обитателем санатория) к событиям недавних дней и ко мне, как к их участнику. Все это создавало какую-то обволакивающую атмосферу душевного комфорта, какой-то душевной весны, в которую мы были погружены. Словесное табу и конспирация были открыто сняты отдыхающей одновременно с нами радиодиктором, эмоциональной и милой женщиной. Она сообщила всем, что ей известна моя фамилия и все, что с ней связано, по радиоинформации, и основа целенаправленности чувств и отношений отдыхающих была демаскирована. Совершенно откровенным был инстинкт освобождения людей от душевного и интеллектуального гнета пройденных лет. Однако от многих предрассудков, вошедших в плоть и кровь советских людей, от ряда ее жестоких и нелепых условностей быстро освободиться было, по-видимому, так же трудно, как коже от татуировки. Я вспоминаю разговор с одной супружеской парой, интеллигентных и, казалось, образованных людей (докторов наук), которые сами были непосредственно затронуты очередным «гениальным произведением» «великого корифея всех времен и народов» — «Марксизм и языкознание». При упоминании в процессе беседы с этой парой имени одного известного ученого они с полной серьезностью сказали: «В его биографии есть темное пятно». Я был удивлен и насторожился, полагая, что речь идет о каком-то неблаговидном поступке. На мой вопрос о сущности этого «темного пятна» мои собеседники разъяснили: «У него кто-то из родственников живет за границей». Моя горячая, протестующая

против такого аргумента реакция все же не была понята ими; они так и остались с своей оценкой и с признанием правомерности таких оснований для «темного пятна». Но для нас это было основанием исключить эту пару «татуированных» из дружеских контактов, которых они искали.

Злую шутку я сыграл с нашими друзьями и «одноисидельцами», с которыми мы уехали из Сочи. Они предпочли жить в гостинице, а не в санатории. Однажды в один из наших визитов к ним наш друг, профессор Г-н, был в ванной. Постучавшись к нему в дверь, я сказал императивным тоном: «Г-н, выходите с вещами». Бледный, с тревогой на лице, он открыл дверь, держа в руках предметы туалета. Я тут же пожалел о своей шутке, не ожидая тюремного рефлекса. Но в этом рефлексе была готовность сознания к возврату возбудителя рефлекса, к полной возможности тюремного рецидива, ощущение неустойчивости изменившейся обстановки и не сформировавшейся еще убежденности в ее стабилизации. Еще один пример того, с каким трудом совершается психологическая перестройка при длительно воздействовавшем застойном психологическом очаге, особенно при большой индуктивной мощности его возбудителя. Конечно и здесь, как и во всем поведении человека, огромное значение имеет его индивидуальный психологический рисунок; но типовым, сформированным десятилетиями штрихом этого рисунка был страх кролика перед удавом.

В середине нашего пребывания в санатории я получил письмо от С. И. Диденко, директора Института им. Тарасевича, в котором я работал. Характеристика этого замечательного человека мной уже была дана выше. В подробном письме он писал об обстановке в институте, о глухом сопротивлении партийной организации новым веяниям, о нежелании активно принять их и перестроить партийное и общественное сознание, воспитанное в нормах сталинской эпохи. Он готовил меня к той обстановке, которую я встречу после возвращения, готовил меня к борьбе с ней, необходимой как для меня, так и для него.

Откровенно говоря, ни в какую борьбу мне вступать не хотелось, хотелось покоя после пережитых бурь, но обстановка для этого была малоумиротворяющая. Семен Иванович посвятил меня в то, что после моего ареста партийная организация создала комиссию, которая имела задание обследовать мою лабораторию и вскрыть мою вредительскую деятельность. Комиссия свое задание выполнила с состав-

лением соответствующего акта, утвержденного партийной организацией. Семен Иванович рекомендовал мне потребовать его для ознакомления и для требования отмены его. Мне было совершенно наплевать на этот акт после реабилитации меня высшими органами власти и восстановлением в партии. Однако с этим актом было связано начатое, но не завершенное персональное дело С. И. Диденко по обвинению его в поддержке врага народа. Хотя это дело повисло в воздухе, но ликвидация его была связана с отменой дискриминирующего меня акта. Этот аргумент был действенным, я совершенно не учел его по своей слабой ориентации в тонкостях партийного бюрократизма. По возвращении из Сочи я подал заявление в партийную организацию, в котором, ссылаясь на устав партии, потребовал ознакомления меня со всеми решениями, касающимися меня, принятыми в период моего пребывания под провокационным арестом, и либо отменить эти решения, либо пересмотреть их в моем присутствии.

Я был уверен, что партийная организация автоматически отменит этот акт, наивно полагая, что самый факт реабилитации аннулирует его. Но я не учел, что сталинская партийная машина еще действует и позиций сдавать не намерена. Руководство партийной организации института, проконсультировавшись, по-видимому, в райкоме КПСС, заявило мне, что акт не отменяется, а будет пересмотрен в моем присутствии. Как потом стало совершенно очевидным, при этой консультации было дано указание не только не отменять акт, но и при пересмотре подтвердить все его дискриминирующие меня пункты, т. е. подтвердить полную объективность акта. Интересный парадокс эпохи: высшие правительственные и партийные органы имели мужество дискредитировать репутацию непогрешимости самого непогрешимого аппарата власти — органов госбезопасности, а аппарат на местах все еще боролся за свою репутацию высокой принципиальности и непорочности, в которые давно уже никто не верил. Мой случай был не единственным в такой борьбе. Сопротивление реабилитации и освобождению невинно арестованных врачей (и не врачей) первое время было нередким явлением.

Итак, для меня «дело врачей» не было закончено на Лубянке, а было продолжено в партийной организации Института им. Тарасевича. В очередную пятницу состоялось заседание партийного бюро в моем присутствии, где был зачитан акт обследования моей лаборатории. Основному конкретному содержанию акта предшествовало его паспорт-

ное введение: «Комиссия в составе (перечислены фамилии трех ее членов) обследовала по поручению партийного бюро лабораторию патоморфологии института и установила: б. заведующий лабораторией Рапопорт Я. Л., профессор, доктор медицинских наук, 1898 г. рождения, еврей, работает в институте с 1947 года». Далее шло по пунктам перечисление всех выявленных комиссией моих грехов, которые могли бы свидетельствовать о моей вредительской деятельности. Я не помню их точно, может быть, потому, что они были какие-то худосочные. Члены комиссии были абсолютно невежественны в вопросах патоморфологии, а потому никак не были в состоянии проанализировать существо моей исследовательской деятельности в любой ее форме, а тем более мифической вредительской деятельности. Поэтому почти все пункты обвинительного акта были какие-то невыразительные и касались высосанных мелочей формального характера, литературное изложение которых могло бы быть по плечу уровню членов комиссии. Все вместе взятые по их криминальному значению, они не стоили выеденного яйца, но партийное бюро не побрезговало и ими за отсутствием чего-либо более съедобного и при обсуждении акта по пунктам принимало решение о доказанности каждого из них. Единственным ярким пунктом и, по-видимому, главным козырем обвинительного акта был пункт, в котором устанавливалось мое вредительское руководство подготовкой кадров, и на нем поэтому необходимо остановиться подробно.

Единственным «кадром» в моей лаборатории была аспирантка И., научным руководителем которой я был. Ленивая по своей природе и к тому же недавно вышедшая замуж и забеременевшая на второй год аспирантуры, основные свои эмоции (особенно, забеременев) она устремила в личную жизнь. Справедливость требует заметить, что она иногда выражала сочувствие, видя мое огорченное лицо и угадывая причины моих огорчений (ведь были 1952—1953 годы!). Все это не мешало ей равнодушно относиться к своей аспирантской судьбе, которая должна была завершиться диссертацией. Она прекрасно угадывала политическую атмосферу и понимала, что я приложу все усилия для благополучного завершения ее диссертации, чтобы избежать обвинения в преднамеренно плохом руководстве аспирантом русской национальности. Со времени кампании борьбы с космополитизмом такие мотивы в разных аспектах и в разных условиях были предметом пристального и придирчивого внимания и даже получали тенденциозное освещение в печати. Моя аспирантка не ошиблась. Я подавил в себе мои

принципы педагога и научного руководителя и принял участие в завершении ее диссертации, срок представления которой истекал летом 1953 года. Многие страницы диссертации в ее первом, черновом варианте были написаны мною, да и в переписанном я сделал многочисленные поправки и дополнения карандашом на полях и в тексте. Поэтому я был потрясен при чтении пункта акта, в котором говорилось, что я не только не руководил ее диссертацией, но даже не удосужился прочитать ее. Следует при этом заметить, что по патоморфологическому характеру диссертантной темы в институте не было ни одного человека, кроме меня, который мог бы хоть в минимальной степени помочь ей, невежде в вопросах патоморфологии, при выполнении диссертационной работы в методическом и научном отношениях. Моему возмущению не было границ. Я потребовал пригласить И. для очной ставки. Ее пригласили, и по несколько растерянному выражению ее лица мне казалось, что она была недостаточно предварительно подготовлена к этому приглашению. На вопрос председательствующего о том, подтверждает ли она пункт акта, касающийся ее диссертации, она захлюпала носом, по-видимому ей все же стыдно было передо мной, и сквозь навертывающиеся слезы, не глядя в мою сторону, полностью его подтвердила. Тогда я потребовал от нее, чтобы она принесла черновой экземпляр диссертации с массой моих исправлений и с многими страницами, написанными лично мною. Она, всхлипывая, ответила, что этого экземпляра у нее нет, что его сжег ее муж. Неправдоподобность этой аргументации и ее явная ложь не требовали бы доказательств. У меня хранились рукописи почти всех моих работ, даже самых ранних, хотя к этому времени их было около сотни, а она дала сжечь рукопись своей первой и единственной, к тому же незаконченной работы! (В дальнейшем эта сожженная рукопись нашлась.) Я привел эти соображения, полагая, что они будут убедительными, но «судьи» не желали с ними считаться; по сценарию, им необходимо было полное доверие ко лжи И., что они и продемонстрировали. Тогда я потребовал, чтобы она принесла второй вариант диссертации, на что она сказала, что он у нее на даче. На этом рассмотрение акта было перенесено до понедельника, но вся обстановка, в котором оно проходило, не оставляла у меня никаких сомнений в его финале. Я потребовал от И. принести на следующий день второй, уже перепечатанный на машинке вариант диссертации с многочисленными моими исправлениями. Оказалось, что мои исправления, сделанные карандашом, были старательно поспешно стерты, но удалить следы ка-

рандашного нажима было невозможно. Всякий, даже неопытный, следователь мог легко обнаружить следы моего характерного почерка. Мне стали понятны причины сдержанности и настороженности, с которой встретила меня И. по моем возвращении и которая меня несколько удивила. Ведь она была заинтересована в моем возвращении в связи с необходимостью завершения и защиты диссертации. Возможно, она «отмежевалась» от меня, как от своего руководителя, и от моего руководства для спасения диссертации; это было в порядке вещей в ту подлую пору. Отмежовывались даже дети от арестованных родителей, родные от близких во имя своего спасения. Многие это понимали и прощали по известному французскому правилу: все понять — все простить. Моим соседом по даче был известный клиницист, видный ученый, арестованный по «делу врачей». Его бывший ассистент занимал кафедру в одном из периферийных институтов. На митинге по поводу раскрытия организации «врачей-убийц», среди которых было имя и его учителя, он, естественно, должен был выступить. Патетически клеймя своего бывшего учителя, он воскликнул: «Если бы я мог, я бы задушил этого мерзавца собственными руками», сопровождая это намерение соответствующими жестами. Зная это, я был удивлен, когда увидел этого потенциального палача (хорошо, что его не поймали на слове!), наносящего визит своему учителю. Я спросил у последнего, знает ли он о выступлении его ученика на митинге. Тот ответил, что, конечно, знает, сопроводив это оправдывающими словами: «А что ему было делать?» Все в то подлое время прощали друг другу подобную подлость. Лишь немногие имели мужество с жизненным риском удержаться от ее совершения, а я никогда не мог побороть свое отвращение к ней. Митинги по поводу раскрытия организации «врачей-убийц» происходили во всех медицинских учреждениях, в научных медицинских обществах, и многие, в том числе и известные ученые, принимали поручение заклеймить позором своих коллег, и среди них даже близких друзей, и требовать для них самого сурового наказания, т. е. смерти.

Совершенно естественным был митинг в Академии медицинских наук СССР, поскольку в составе врачей-убийц, поименованных в сообщении, были два академика — М. С. Вовси и В. Н. Виноградов (в дальнейшем число арестованных академиков выросло до шести). Собравшиеся на митинг были ошеломлены. Конечно, выступления клеймили преступников. Особенно бесновался в обличительном раже нач. управления кадров Академии — профессор Зилов. Об-

рушившись на «сиониста» Вовси, он вылил на него грязный антисемитский ушат. Диссонансом к нему прозвучало мужественное по тому времени выступление популярного ученого-педиатра академика Георгия Нестеровича Сперанского с резким протестом против этого откровенного антисемитизма. Митинг закончился принятием резолюции, по содержанию и формулировкам соответствующей моменту. А в терапевтическом обществе выполнял «социальный заказ» темпераментный, беспартийный председатель общества, академик А. Л. М., известный ученый, имя которого носит после его смерти институт. Этот академик не знал удержу в поношении арестованных профессоров не только как политических преступников, но и как лжеученых, профессиональных невежд, в числе их — и своего друга Вовси, что не помешало им в дальнейшем восстановить прежние дружеские отношения. Менее миролюбиво был настроен профессор В. Н. Виноградов, возмущавшийся как этим ученым, так и, особенно, профессорами-экспертами по «делу врачей». Он забыл, что сам был экспертом по делу Д. Д. Плетнева, о котором я писал выше, и что его экспертиза отнюдь не была в пользу обвиненного. «Культ личности» внес моральное разложение и в среду самой гуманной профессии — в среду врачей. Это было одним из самых удручающих примеров упадка общественно-политической морали советского общества.

Я принял решение не принимать больше участия в унизительной комедии «пересмотра» акта. Поэтому, когда в понедельник за мной пришла технический секретарь партийного бюро, чтобы пригласить меня на заседание для продолжения «пересмотра» акта, я вручил ей заявление следующего содержания: «Участие в пересмотре акта обследования лаборатории убедило меня в том, что он производится с теми же тенденциями, которые были положены в основу составления этого акта в период моего пребывания под провокационным арестом. Поэтому я отказываюсь от дальнейшего участия в пересмотре этого лживого документа и не возражаю, если это будет сделано в моем отсутствии».

Никакой реакции на мое заявление не последовало; я счел этот эпизод исчерпанным; и меня не интересовала форма, в которой он был исчерпан. Сдерживая свое отвращение к поступку И., я предпринял все необходимые действия для доведения ее диссертации до завершения в форме защиты. Дав волю своим чувствам, я бы этого не делал, и ее диссертация никогда бы без моего активного содействия и помощи не увидела бы света, а армия кандидатов наук не получила

бы пополнения в лице И. Но злость и мстительность — плохие советчики, и я понимал, что мое негативное отношение ударит в первую очередь по мне. Это будет подтверждением тезиса о том, как несчастному аспиранту не повезло с руководителем. Да и что можно было требовать от этой простушки, когда и более зрелые люди с трудом становились на новый путь.

Наступил день защиты диссертации. Акт защиты, происходившей не в институте, а в Академии медицинских наук, почтило своим присутствием все партийное бюро института во главе с секретарем, чем было подчеркнуто особое внимание к этой защите, хотя защищал — беспартийный аспирант. Защита происходила по отработанному шаблону. Диссертант зачитал свой доклад, потом выступали оппоненты, отмечавшие интерес работы, затем диссертант отвечала оппонентам о полном согласии с их ценными замечаниями, которые она использует в своей дальнейшей деятельности. В заключение она принесла свою глубокую благодарность руководителю диссертации за непрерывное руководство и помощь, которую она отвергла на партийном бюро. Единогласным голосованием диссертанту была присуждена ученая степень кандидата, и она, получив назначение в другой институт, исчезла из моего поля зрения.

Прошли недели и месяцы жизни советского общества без сталинской тирании. Идеи «оттепели» постепенно входили в сознание и быт советских людей. Расстрелян Рюмин — организатор «дела врачей». О его расстреле я впервые услышал в электричке от девочки лет 11—12, сидевшей на скамейке против меня с матерью, они ехали утром одновременно со мной в Москву с дачи. Девочка держала в руках свежую газету и, читая ее, сказала, обращаясь к матери: «Расстреляли того, кто мучил врачей». Сообщение гласило:

В ВЕРХОВНОМ СУДЕ СССР

2—7 июля 1954 года военная коллегия Верховного суда СССР рассмотрела в судебном заседании дело по обвинению Рюмина М. Д. в преступлении, предусмотренном статьей 58—7 Уголовного кодекса РСФСР.

Судебным следствием установлено, что Рюмин в период его работы в должности старшего следователя, а затем и начальника следственной части по особо важным делам бывшего Министерства государственной безопасности СССР, действуя, как скрытый враг Советского государства, в карьеристских и авантюристических целях стал на путь

фальсификации следственных материалов, на основании которых были созданы провокационные дела и произведены необоснованные аресты ряда советских граждан, в том числе видных деятелей медицины.

Как показали в суде свидетели, Рюмин, применяя запрещенные советским законом приемы следствия, принуждал арестованных оговаривать себя и других лиц в совершении тягчайших государственных преступлений — измене Родине, вредительстве, шпионаже и др.

Последующим расследованием установлено, что эти обвинения не имели под собой никакой почвы, и привлеченные по этим делам лица полностью реабилитированы.

Учитывая особую опасность вредительской деятельности Рюмина и тяжесть последствий совершенных им преступлений, военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Рюмина к высшей мере наказания — расстрелу.

Приговор приведен в исполнение.

Расстрел Рюмина был не изолированным актом уничтожения мерзавца, служебный путь которого, усеянный трупами ни в чем неповинных людей, закончился на «деле врачей». Он был далеко не единичным мерзавцем еще большего, чем он, значения и масштаба, но лишь некоторые из них дождались своей карающей пули (Берия и его соратники). Сообщение о расстреле Рюмина показало, что ликвидация «дела врачей» — не вынужденный для наружного употребления эпизод, а начало серьезной перестройки всей общественной системы, всей организации советского общества и взаимоотношений между отдельными его звеньями, начало новой эпохи в жизни советского народа.

Мне казалось, что меньше всего это коснулось затхлого болота партийной организации Института им. Тарасевича, прочно застывшего в старых рамках декретированного мышления, прочно застрявшего в узколобых головах. Поэтому я был несколько удивлен визитом ко мне секретаря партийной организации А. Е. Тебякиной с заявлением о необходимости завершить начатое несколько недель тому назад рассмотрение акта обследования. Я полагал, что моим заявлением об отказе участвовать в этом пересмотре этот инцидент исчерпан, и для себя лично не имел никакой заинтересованности в этом акте в любом его виде, что изложил секретарю парторганизации. На это она возразила, что поданным заявлением я плюнул в лицо партийной организации. Такая аргументация необходимости завершения пересмотра акта меня сильно удивила, и я ее не понимаю до конца до сих пор, да и плевка в своем заявлении я не усмат-

ривал. У меня была индульгенция высшего арбитра политической благонадежиостн, что давало мие известную иезавнсимость поведення н крнтнки. Я просто не хотел принимать участия в комеднн пересмотра акта. На аргументацию секретаря я ответил, что они правнльно поняли смысл н цель моего заявления об отказе участвовать в комедни пересмотра акта. Я не хотел плевать нм в лицо, но рад, что онн это так поняли. А. Е. Тебякнна настаивала на том, что закончнть пересмотр акта необходнмо, и заверила меня, что после защиты диссертацин И-кой онн многое поняли и пересмотрели (я убедился, что это было имеино так!) и что теперь все будет по-иному. Я не поимал, чем продиктована эта необходимость прн моем полном равнодушии к этому несчастному акту. По-видимому, пересмотр был партнйной органнзации нужен, н эта процедура была, вероятно, не нх иннциативой. Я прниял к сведению заверение в том, что «теперь все будет по-иному», и согласился прннять участие в заседании партийиого бюро. Оно состоялось, как всегда, в очередную пятннцу н проходило в атмосфере демонстратнвного дружелюбия. Началось оно снова с чтення вступительной паспортной частн акта: Комнссия в составе... обследовала... и установила: зав. лабораторней Рапопорт Я. Л., профессор, доктор медицинских наук, еврей и т. д. Далее следовали все те же пункты с нзложеинем отдельных результатов обследования. Ведь акт иельзя было отвергнуть целнком, его надо было обязательно пересмотреть по пуиктам. Одни за другим следовали решения об отсутствнн актуальности или соответствня действительности каждого нз зачитанных пунктов и об исключеиии его из акта. Когда дошла очередь до пункта, касающегося днссертацин И-кой, н принятия решения об его исключенин нз акта, как лживого, зам. секретаря партийиой органнзацнн (иынешинй академнк) внес предложение занести в протокол, что И-кая ввела в заблуждение партийную органнзацию. Я, все время молчалнво присутствовавший, впервые за все заседанне, подал голос с возраженнем протнв этого предложения, как дискредитирующего всю партнйную органнзацню, которую могла ввестн в заблуждеине одиа беспартийиая дурочка. Не помню, было лн принято мое возражеине.

После пересмотра всех пунктов акта председатель предложил прочитать акт в целом, чтобы принять его в том внде, в котором ои уцелел после «пересмотра». Оказалось, что, ие отмененный в целом, а пересмотреиный по пунктам, акт состоит только из вводной части с паспортнымн данными «еврея» Рапопорта и нз подпнсей члеиов комисснн.

Я расхохотался, когда такой выхолощенный акт был оглашен, и заявил, что под этим актом и я могу подписаться. Этот анекдотический продукт партийно-бюрократического творчества, вероятно, хранится в архиве парторганизации Института им. Тарасевича.

Этим заседанием закончилось для меня «дело врачей». Финалом трагедии стал фарс.

КАК СОЗДАВАЛОСЬ «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

Читатель, вероятно, ждет концовки этой книги, в которой должно быть дано логическое объяснение основному описанному в ней эпизоду — «делу врачей». Однако автор вынужден отказаться от такой концовки в ее исчерпывающей форме. Она может быть дана только историком и социологом, которому доступны будут для объективного изучения все материалы сталинского периода Советского государства, а также периодов, предшествовавших ему и последовавших за ним. Иначе говоря, этот эпизод, как и любой другой из истории Советского государства, может быть понят и логически осмыслен только в процессе исследования развития советского строя с самых первых дней его существования и документальных материалов, касающихся самого «дела». Однако у автора существуют опасения, что формальные документы эпохи и, особенно, относящиеся к «делу», даже если они все сохранились в архивах и будут доступны всестороннему объективному изучению, не в состоянии будут раскрыть истинную подоплеку «дела врачей», интимные механизмы его возникновения.

Могут ли быть раскрыты внутренние пружины этого «дела» без освещения всей той сложной сети провокаций, интриг, внутренней борьбы в правящей верхушке, где поражение влекло только один исход: насильственную смерть? Все тирании повторяют одна другую по их логике, основному содержанию и внешним формам. Ведущим элементом в этой логике является воля тирана, которая, в свою очередь, нередко является выражением неосознанной им, замаскированной воли его ближайшего окружения.

Сталинское правление было совершенным образцом тирании, а сам его вершитель — тираном в самой совершенной форме. Как и всякий тиран, он не был свободен от многих человеческих слабостей. Психологический портрет его представляется чрезвычайно сложным и далеко еще не законченным. Хотя к нему приложены кисти многих литературных художников, но раскрытие его образа художествен-

ными методами полно противоречий. Автор, не будучи литературным художником, а только «летописцем», к тому же ограниченным материалами личного опыта, даже не пытается внести свой мазок в психологический портрет этого тирана. Однако ему представляется, что этот портрет более прост, более схематичен, чем это может казаться. Основные его черты: ханжеское лицемерие и вероломство в сочетании с хитростью зверя, вводившее в заблуждение и «стреляных воробьев»; безграничная жестокость ненасытного, кровожадного людоеда; подозрительность параноика и физическая трусость, как непременные черты любого тирана. Все эти черты создали в своей совокупности образ из области криминологической психопатологии. Но, «если это и безумие, то в нем есть последовательность», как сказал Полоний. Искать логику ряда поступков Сталина, всей эпохи его власти и ее отдельных эпизодов — занятие неблагодарное. Анализ этих поступков совершенно безнадежен, если пользоваться критериями, обычными при анализе поступков первобытного homo sapiens неандертальского периода.

В систему, установленную Октябрем, Сталин внес изменения, свою «полониеву» последовательность.

«Дело врачей» было кульминацией, логичным завершением алогичной сталинской системы. Понять целевой смысл этого «дела», с точки зрения здравого человеческого разума, невозможно. Возможна лишь характеристика ряда последовательных фактов, завершившихся организацией «дела». Надо признать поверхностность этих фактов для исследования глубинных механизмов этого «дела». Из них известны немногие, но за достоверность и этих фактов поручиться нельзя. Некоторые из них сообщены Н. С. Хрущевым на XX съезде КПСС, некоторые из полуофициальных источников, и сопоставление их рисует следующую картину в ее развитии.

Личным врачом Сталина был профессор В. Н. Виноградов, отличный клиницист с большим опытом. Сталин страдал в последние годы гипертонической болезнью и мозговым артериосклерозом. У него возникали периодические расстройства мозгового кровообращения, следствием которых явились обнаруженные при патологоанатомическом вскрытии (умер он от обширного кровоизлияния в мозг) множественные мелкие полости (кисты) в ткани мозга, особенно в лобных долях, образовавшиеся после мелких очагов размягчения ткани мозга в результате гипертонии и артериосклероза. Эти изменения (особенно локализация их в лобных долях мозга, ответственных за сложные формы поведения

человека) и вызванные ими нарушения в психической сфере наслоились на конституциональный, свойственный Сталину, деспотический фон, усилили его. «Портящийся характер», замечаемый членами семьи и близкими и доставляющий им много неприятностей, нередко является первым проявлением начинающегося артериосклероза мозга. Можно представить, какие дополнения внес этот склероз в естественную натуру деспота и тирана.

В свой последний врачебный визит к Сталину в начале 1952 года В. Н. Виноградов обнаружил у него резкое ухудшение в состоянии здоровья и сделал запись в истории болезни о необходимости для него строгого медицинского режима с полным уходом от всякой деятельности. Когда Берия сообщил ему о заключении профессора В. Н. Виноградова, Сталин пришел в бешеную ярость. Как осмелился этот ученый-наглец отказать ему в его безграничном земном могуществе!

— «В кандалы его, в кандалы»,— заорал он, как это рассказал Н. С. Хрущев на XX съезде КПСС.

Однако масштабы злобной мстительности Сталина не могли удовлетвориться одним Виноградовым. «Гениальный вождь мирового пролетариата» мыслил и действовал большими категориями, когда речь шла о человеческих судьбах. Его криминологические представления были элементарно стереотипными: заговоры с большим или меньшим числом участников. Варьировали лишь содержание заговоров, их целевую направленность, злодейские методы заговорщиков. При этом он, конечно, забывал, что одним из авторов этих заговоров нередко был он сам, и лишь оформление их, часто театрализованное, осуществлялось специализированным аппаратом МГБ и советской Фемиды с ее выдающимися жрецами — Вышинским, Крыленко, Ульрихом и др. Сталин, вероятно, выключал из своего сознания, что идея заговора часто рождалась в его собственном мозгу, но по ходу ее реализации он начинал в нее верить, как в действительность. Увлеченность идеей, вообще, нередко туманит мозги, и творцы ее начинают в нее верить, даже если это была сотворенная ими самими изначальная ложь. Примеры таких маниакальных идей известны и из областей науки, где заведомая фальсификация фактов принималась их же авторами с верой в их достоверность, если это подтверждало идею. Такие маниакальные идеи были у Сталина наряду с холодным расчетливым истреблением массы людей, в действительности или мнимо мешавшими его безграничному единовластию тирана. Последние факторы, однако, превалировали над предпо-

лагаемыми приобретенными психологическими надстройками и координировались с ними.

При психологической направленности параноидного психопата, каким был Сталин, не мог он усмотреть в поступке Виноградова только индивидуальный, направленный против него, вредительский террористический акт. Вступила в силу цепь построений параноидного психопата с вывернутой логикой.

Первое звено этой цепи — факты послушания медиков, когда они, теряя профессиональную добросовестность и принципиальность, служили его политическим целям. Он помнил заключение врачей о смерти его жены, покончившей самоубийством, но, по официальной версии послушного синклита медиков, умершей от аппендицита. Он помнил рабский медицинский бюллетень о смерти Орджоникидзе, покончившего самоубийством, а не умершего от паралича сердца, согласно этому бюллетеню. Он мог вспомнить заключение медицинских экспертов по делу о «злодейском» умерщвлении Менжинского, Горького и его сына лечившими их врачами (Плетневым, Левиным, Казаковым). Обвинение их в этом, закрепленное суровым приговором суда, до сих пор официально не снято *. Он вспомнил угодливость научной, в том числе и медицинской, элиты при инспирированной свыше научной дискредитации академиков Орбели, Штерн и многих других ученых и в то же время возложение короны гения на вздорную, невежественную голову Лепешинской, произведенное 120 учеными с разной степенью морального падения и научных рангов. Он помнил врачей, сотрудников МГБ, выполнявших гнусные, подлейшие задания начальства. В качестве примера одного из таких заданий могу привести судьбу близкой нашей семье молодой женщины, арестованной на пятом месяце беременности.

Сталин не был пионером в использовании медицины и медиков в личных и политических целях. Разумеется, он знал в пределах его знакомства с исторической и художественной литературой, что во все исторические времена медики использовались политическими деятелями различных рангов для активного осуществления их планов, нередко преступных, или для прикрытия их. Он не видел оснований делать для себя исключение в этом отношении. Будущие объективные и добросовестные социологи, наверное, дадут картину советской общественной нравственности и морали в сталинскую и последующую эпохи и характеристику от-

* Оно снято реабилитацией в 1988 году.

дельных носителей этой морали во всем их многообразии. Однако, не дожидаясь этих исследований, можно утверждать, что в морально-нравственном отношении советское общество не представляло «марксистско-ленинского» монолита, а рыхлый конгломерат пестрых этических понятий. Из этого конгломерата для любого организуемого мероприятия в любой момент можно было извлечь нужное количество подлецов, необходимое для успешного выполнения этого мероприятия, в том числе и из представителей обласканной элиты. За примером идти недалеко: стоит только напомнить о комиссии экспертов по «делу врачей». Облегчала вербовку исполнителей подлых заданий ссылка на государственную и партийную необходимость их выполнения, что снимает какие-либо моральные соображения, особенно у не имеющих твердых представлений морально-этического значения. Я не могу удержаться, чтобы не привести сентенцию одной девицы, которую упрекали в не совсем праведном поведении. На упреки она ответила: «У каждого свой нрав и своя нравственность». Сентенция — вполне современная.

Продажность элиты была следующим звеном в цепи параноидной логики Сталина. Он не верил в идейную преданность советских людей в своей стране, хотя Отечественная война должна была убедить его в обратном, а органы безопасности представляли советское общество как сборище потенциальных предателей и изменников, ждущих только возможности стать ими; на том стояла Лубянка! Сталину и его сподвижникам недоступна была мысль о том, что, несмотря на все достижения сталинской эпохи по моральному разложению советского общества, все же был какой-то качественный и количественный предел этому разложению. Предел определяла неистребимая природная, имманентная человеческая и гражданская совесть народа, вносимая в профессию и в науку. Если в данном случае речь идет о медицинской совести, то, по далеко не случайной закономерности, обвиненные в тягчайших преступлениях медики как раз и были яркими носителями этой совести. Они были тем поколением медиков, которое из рук старых носителей лучших традиций медицины получили эти традиции, внесли их в свою деятельность, а из этих традиций — высокую врачебную заповедь: не вреди (noli nocere)! Смысл этой заповеди — избегай назначений больному, могущих ему повредить!

Они отнюдь не были ангелами, а людьми, и им были не чужды человеческие слабости, нередко с дополнительной окраской сталинской эпохи. Но они были врачами в самом

высоком смысле этого слова, верными высокому призванию и высокой заповеди врача. Порукой этому — вся их деятельность на протяжении десятков лет и тысячи исцеленных ими больных.

Однако мировоззрению Сталина были недоступны высокие этические понятия. Одурманенный идеями заговоров, он заподозрил заговор и в данном случае. Поэтому первоначально направленная против одного Виноградова ярость Сталина трансформировалась в масштабную идею обширного заговора медиков и привела в движение услужливый аппарат МГБ, возглавлявшийся тогда Абакумовым. Выявилось чрезвычайное многообещающее поле деятельности этого аппарата, в котором непосредственно был заинтересован сам неограниченный владыка. Значение его задания превосходило все предшествовавшие в истории МГБ, оно не имело прецедента, так как затрагивало самого Сталина. Оно сулило блюдо небывалой остроты. И этот аппарат стал действовать без замедления. Была намечена в недрах МГБ, по общему универсальному приему, панорама обширного заговора, на этот раз — ведущих медиков страны против государственных деятелей Советского Союза, и эта абстрактная пока панорама стала получать конкретное оформление, заполняться людьми, по мере ее развития. Начало было положено арестами в руководящем составе кремлевской больницы. Была активно включена врач Л. Тимошук, работник электрокардиографического кабинета кремлевской больницы и секретный сотрудник МГБ; то ли из собственного усердия и инициативы, то ли по заданию она стала снабжать следственные органы материалами о вредительских, по ее мнению, заключениях о состоянии здоровья и о лечебных мероприятиях со стороны лечащих профессоров, которые замечало ее «высококомпетентное» и бдительное око. Панорама заговора оживала за счет ареста крупнейших специалистов-медиков. Л. Тимошук была вознесена в ранг Жанны Д'Арк, особенно после признаний арестованных в их «преступной» деятельности. Нужно ли писать, какими методами были получены эти признания после того, как они были заклеймены в правительственном сообщении 4 апреля 1953 года? Это были испытанные многолетней деятельностью органов госбезопасности методы, при помощи которых у врагов «вырывали признание из горла», как это рекомендовал еще в 1937 году В. М. Молотов, ближайший соратник Сталина. Эти методы уже описаны в художественной литературе. В них входили и физические мучения, и мощные психологические воздействия, перед которыми трудно было устоять.

«Дело врачей» первоначально было лишено национальной окраски. В числе преступников были и русские, и евреи. Но затем оно было направлено преимущественно в «еврейское» русло.

«Еврейская» перекраска «дела врачей» была произведена Рюминым, по крайней мере, она приписана Н. С. Хрущевым ему. Рюмин сообщил Сталину о существовании заговора «еврейских буржуазных националистов», инспирированного американской разведкой. Рюмин информировал при этом Сталина, что министр госбезопасности Абакумов знает об этом заговоре, о нем сообщил Абакумову ранее арестованный профессор Я. Г. Этингер. Но Абакумов якобы хотел скрыть существование этого заговора (почему — непонятно!) и, чтобы ему в этом не помешал Я. Г. Этингер, он умертвил его в тюрьме. Действительная причина смерти Я. Г. Этингера в тюрьме, вероятно, никогда не будет установлена с точностью. В последний период его жизни, до ареста, он страдал ишемической болезнью сердца (склерозом коронарных артерий) с частыми приступами стенокардии, и вероятнее всего его сердце не выдержало наслоившихся на него в заключении испытаний. Сталин серьезно отнесся к сообщению Рюмина. Абакумов был снят с должности министра госбезопасности и даже арестован, и все следствие по «делу врачей» было поручено Рюмину. Таким образом один паук в МГБ съел другого паука в расчете занять его паутину. Рюмин усердно развивал это дело в нужном направлении, но смерть Сталина оборвала его усердие. Вскоре он был расстрелян, как главный организатор этого «дела», превосходящего по своей подлой основе все подлости периода «культа личности». В дальнейшем был расстрелян по приговору открытого суда и Абакумов, как и другие активные деятели МГБ.

Приведенные данные являются лишь чрезвычайно поверхностной и краткой схемой движущих сил «дела врачей». Они — не больше, чем едва заметная щель в завесе, прикрывающей тайны сталинского двора, по сравнению с которыми «тайны мадридского двора», приводившие в ужас читателей царского периода,— только невинные развлечения девочек из Института благородных девиц.

Москва 1973—1975

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прошло 35 лет после «дела врачей» 1953 года. Постепенно бледнеют в памяти детали этих событий, не снимая незабываемой их общей панорамы. Эмоциональная острота в период работы над книгой постепенно стирается (хотя и далеко не до конца) и вытесняется успокаивающейся, но не успокоенной памятью.

Иногда память о «деле» возбуждается злобными нападками, воскрешающими идеи «дела врачей». Некоторые из таких фактов мне доподлинно знакомы. Они свидетельствуют, что где-то в темных глубинах общества таятся силы, готовые поднять знамя этого «дела». Ждут для этого только соответствующих условий. Должен их огорчить: не дождутся! Гарантией этому те исторические перемены, которые внесены во всю структуру советского общества идеями перестройки и новым мышлением.

У меня имеются многие основания для такого убежденного оптимизма — в судьбе моей книги. Я писал ее в 70-х годах без тени надежды, что она увидит свет при моей жизни. Не тот еще был общественно-политический климат. Мною двигало при этом только сознание необходимости оставить литературный след «дела врачей». Оставить до того трудно предсказуемого, но неизбежного времени — победы разума над предрассудками, когда рукопись сможет достигнуть читателя. И это время наступило. Я дожил до него и счастлив.

Я часто цитирую про себя известные строки из стихотворения Ф. И. Тютчева «Цицерон»:

«Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.—
Его призвали всеблагие,
Как собеседники, на пир...»

Пусть помнят о них те, кто выжил! Это поможет им осмыслить пережитое...

Москва 1988

ПРИЛОЖЕНИЕ

БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ «ДЕЛА ВРАЧЕЙ»

Анатом академик АН СССР В. Н. Терновский и аспирант Л. Ищенко

Терновский, профессор анатомии, занимал до войны эту кафедру в Казанском медицинском институте. Казанское научное землячество было представлено в Москве группой, сильной влиянием в высших академических и правящих сферах. Вероятно, иждивением этой группы Терновский был включен в состав действительных членов Академии медицинских наук СССР при ее организации, переехал из Казани в Москву, здесь был назначен заведующим кафедрой анатомии во 2-м Московском медицинском институте и заведующим отделом нормальной анатомии в организуемом Институте нормальной и патологической морфологии Академии медицинских наук, т. е. был облагодетельствован сверх меры заслуженного.

Какой-то начальник отдела кадров в служебной характеристике одного сотрудника, отметив его вполне положительные профессиональные и служебные качества, закончил характеристику следующим признаком: «...но внешний вид не соответствует занимаемой должности». Что он понимал под внешним видом, остается тайной автора этой юмористической характеристики. Имея в виду эту часть характеристики, характеристику В. Н. Терновского надо начать с конца, т. е. отметить, что его внешний вид вполне соответствовал занимаемым должностям. С него можно было писать кинематографически стилизованный портрет ученого, художника, артиста, дирижера оркестра. Орлиноподобный нос на худощавом, бритом, слегка тронутом морщинами лице был украшен очками в золотой оправе. Зачесанные назад редкие волосы, открывающие узкий невысокий лоб. Улыбки на лице никогда не видно, что производит впечатление серьезной вдумчивости. На голове темно-синий берет, дополняющий общий стиль. Речь Терновского медленная, растянутая, с речевыми оборотами, стилизованными под дореволюционного интеллигента. Эту маску он сохранял и в

лекциях студентам. Он не читал лекции, он вещал; это был не сухой курс трудной анатомии, а декламация. К студентам он обращался со словами: «Друзья мои!», в которых была и демагогия, и деланная снисходительность отягощенного наукой ученого к юным слушателям. В декламационном изложении анатомических терминов, например, таком, как: «Как красиво звучит название — „протуберанция окципиталис магна“, он имел прототип в чеховском «человеке в футляре», восхищавшемся красотой иностранных слов: «алон, трон, бонус...». За этой напыщенностью, однако, скрывалась пустота и поверхностное знание анатомии. Может быть, когда-то он ее и знал, но многое забыл, как это выяснялось нередко при научном контакте с ним (он его избегал) и из некоторых его поступков.

С деятельностью профессора В. Н. Терновского я соприкоснулся непосредственно в Институте морфологии, где я был заместителем директора А. И. Абрикосова — по руководству научной работой. Как уже было упомянуто, Терновский был заведующим отделом нормальной анатомии, насчитывавшим 24 сотрудника. Вследствие отсутствия специального помещения для этого отдела, требующего организации большого анатомического хозяйства с анатомическим театром, трупохранилищем и т. д., отдел этот был на территории кафедры анатомии 2-го Медицинского института (где Терновский был профессором) и, по существу, был разросшимся придатком к этой кафедре, ее финансовым усилителем, а большинство сотрудников совмещали службу в институте со службой на кафедре. В силу этих обстоятельств контроль за работой этого отдела практически был невозможен. Он целиком осуществлялся В. Н. Терновским, т. е. вообще не осуществлялся, т. к. сам Терновский был редким посетителем кафедры. Науки в отделе никакой не было, а отчеты о ней были просто фикцией.

Деятельность Терновского была направлена в основном на улучшение своих финансовых дел. Они в избыточной степени были обеспечены большими служебными окладами и платой за звание академика. Несмотря на это, он провел сомнительную финансовую операцию с анатомической библиотекой.

В прямом обмане, граничащем с криминалом, он был уличен в истории с изданием Медгизом за его авторством краткого руководства по анатомической технике. Как легко выяснилось, это «оригинальное» руководство было точным переводом немецкого руководства, приложенного к учебнику анатомии одного немецкого анатома. Пикантно еще и то,

что немецкий автор этого учебника во втором его издании это руководство выпустил, находя его, как он отметил в предисловии, неудачным. Терновский рассчитывал, вероятно, на то, что советские анатомы знакомы с немецким учебником по второму изданию и забыли об этом руководстве по анатомической технике, помещенном в первом издании. Но его расчеты не оправдались. Дотошный профессор П. П. Дьяконов обнаружил бессовестный плагиат и широко о нем информировал. Надо сказать, что в русском издании этого руководства не все было плагиатом. Был и оригинальный вклад Терновского в виде неряшливо выполненных, точно детской рукой, контурных изображений некоторых анатомических деталей, к тому же свидетельствующих об элементарном невежестве исполнителя. Так, например, коленная чашечка (надколенник), самостоятельная анатомическая деталь, в изображении Терновского оказалась частью бедренной кости.

Разыгрался скандал, получивший отображение в печати. Но высокопоставленные друзья Терновского начали энергично отмывать добела черного кобеля. Как это ни странно (в ту пору, однако, ничто не было странным), им это удалось, вопреки народной мудрости. Заступничеством друзей вся вина была свалена на анонимных ассистентов (никто наказан не был, фамилия их нигде не упоминалась), которые якобы подвели своего доверчивого шефа. Никаких последствий эта гнусная история не имела.

В Институте морфологии все научные планы отдела анатомии и все отчеты об их выполнении из года в год заключались в редактировании перевода на русский язык произведения средневекового анатома Везалия. Когда, наконец, этот средневековый «Везалий» увидел русский свет, то, как утверждали, перевод был сделан не с оригинала, написанного на латинском языке, а с немецкого его перевода.

Верным и активным помощником Терновского по очковтирательству была его старший научный сотрудник С. Б. Дзугаева. Это — тоже яркий персонаж того периода, но более мелкого калибра.

Осенью 1949 года Институт морфологии получил распоряжение президиума Академии о сокращении ежемесячного фонда зарплаты путем сокращения числа сотрудников. Инициатива в практическом решении этого вопроса предоставлялась руководству института, но рекомендовалось не обескровливать полноценные в научном отношении лаборатории путем равномерного сокращения числа их сотрудников, а ликвидировать отдельные структурные единицы, не

представляющие большой ценности для института. По всем своим признакам такой структурной единицей был отдел анатомии, и в полной убежденности в его научной бесплодности, в бессовестном расходовании на его паразитическое существование государственных средств — я представил к сокращению этот отдел целиком, полагая, что это совпадет с интересами государства. Инициатива исходила от меня, но ее в дальнейшем поддержал А. И. Абрикосов, и она была реализована. Президиум Академии согласился с предложением и аргументацией института и утвердил представление о сокращении.

Что за этим последовало, можно было предвидеть. Это был взрыв бомбы, эхо которого доносилось до меня еще очень долго. Первая реакция была со стороны начальника Управления кадров Академии Зилова, деятеля сталинского периода. В момент опубликования приказа о сокращении его не было в Москве, а по возвращении он увидел, что реализация приказа резко расходится с его установками о целевой направленности операции по сокращению. По его установкам основной смысл и задача всей операции заключалась в сокращении числа научных сотрудников-евреев. Ликвидацией отдела Терновского эта цель ни в какой степени не достигалась, но обратного хода не было, приказ о сокращении был уже издан, и финансовая задача сокращения была полностью выполнена. Тогда Зилов потребовал в виде компенсации увольнения некоторого числа евреев; это требование было совершенно откровенным, без прикрытия его фиговым листком. Но здесь поживиться особенно было нечем. Научный состав был, в общем, высокой профессиональной квалификации, и без фигового листка сокращение этого состава было бы слишком скандальным. Зилов был в крайне затруднительном положении. Чтобы хоть чем-нибудь поживиться, он нацелился на две фамилии, но с одной из них ему не повезло. Владелица фамилии оказалась очень упорной в сопротивляемости и никак не хотела стать жертвой зиловской кровожадности. Неожиданное заступничество она нашла в лице всесильного академика Лысенко. Эта сотрудница вела исследование в области наследственности рака. Она добралась до Лысенко, рассказала ему об общем направлении своих работ, и Лысенко обратился с официальным письмом к директору института А. И. Абрикосову. В письме он одобрительно отозвался о ее работах, находя их интересными, и указывал, что такого ценного исследователя увольнять не следует. Сам по себе характерен факт вмешательства Лысенко в дела института, никакого отношения к нему не име-

ющего. Занятным тут является и то обстоятельство, что исследования «жертвы» велись с позиций менделизма-морганизма, ненавистных Лысенко, но по ограниченности своей общей эрудиции в вопросах генетики он в этом не разобрался, т. к., по-видимому, сути этой генетики он до конца не знал. В результате демарша Лысенко пришлось бедному Зилову ограничиться одной жертвой, да и то, как оказалось впоследствии, только наполовину. Его антисемитская гора родила даже не целую мышь, а только полмыши!

Однако возвратимся к Терновскому. Существует пессимистический закон, согласно которому ни один благонамеренный или добрый поступок не должен оставаться безнаказанным. Теоретически я знал этот закон, но никогда ему не следовал по своей оптимистической природе. Но на сей раз я вынужден был убедиться в силе этого закона. Наказание последовало позднее, но сигнал о его неотвратимой неизбежности я получил вскоре после описанного события. Сигнал этот мне был передан одним руководящим работником Академии для ознакомления (разумеется, совершенно конфиденциально). Передаю почти дословно первые строки этого сигнала, адресованного всемогущему Берия, палачу, шефу органов госбезопасности.

«Глубокоуважаемый Лаврентий Павлович! Считаем необходимым обратить Ваше внимание на Институт нормальной и патологической морфологии Академии медицинских наук. Директором этого института состоит академик А. И. Абрикосов, но за его спиной действует шайка еврейских буржуазных националистов, ставящих своей задачей разрушение русской науки. Во главе этой шайки стоит профессор Я. Л. Рапопорт, членами шайки являются (далее следует несколько имен крупных научных работников-евреев). Эта шайка, возглавляемая Рапопортом, при попустительстве академика Абрикосова, ликвидировала отдел анатомии Института морфологии, во главе которого стоял крупнейший ученый, действительный член Академии медицинских наук, профессор В. Н. Терновский. Отдел анатомии был лучшим научным отделом института, его украшением, выпускавшим замечательные научные работы». Далее на двух страницах идет безудержное и бессовестное восхваление научных достижений Терновского и его отдела и освещение гнусной работы «шайки».

Письмо это (авторство его не вызывает сомнений) было направлено Берия в президиум Академии для ответа по существу его. О дальнейшей переписке мне ничего не известно, судя по ближайшим последствиям, инсинуации, содер-

жащиеся в письме, были президиумом убедительно опровергнуты. Но все же письмо, конечно, не прошло бесследно, и напоминание о нем я получил в грозные дни 1953 года.

Надо ли говорить о том, чего добивались авторы этого послания, адресуя его Берия, и какую реакцию ожидали они от этого палача?

Литературное творчество «обиженных» анатомов не ограничилось письмом к Берия. Они вдохновили на аналогичный подвиг мою аспирантку Лидию Ищенко. Об этом стоит рассказать подробнее, это — тоже событие, характеризующее эпоху.

Л. Ищенко в 1948 году была принята в аспирантуру по Институту морфологии к А. И. Абрикосову. Лаборатория А. И. Абрикосова находилась при его кафедре патологической анатомии 1-го Московского медицинского института в переулке, носящем теперь имя академика Абрикосова. По истечении года работы А. И. Абрикосов представил Ищенко к отчислению из аспирантуры ввиду выяснившейся неспособности ее и крайней неуживчивости в коллективе, где она перессорилась со всеми. Однако отдел кадров Академии не согласился с ее отчислением и принял решение о продолжении ее аспирантуры под моим руководством в моей лаборатории, находившейся на территории 1-й Московской городской клинической больницы на Ленинском проспекте. Я категорически воспротивился переводу в мою лабораторию аспиранта с прочно сложившейся репутацией, вызвавшего небывалую реакцию со стороны такого терпеливого и доброжелательного руководителя, как А. И. Абрикосов. Но в Академии мне было заявлено, что сопротивление бесполезно, что хочу я или не хочу, но Ищенко будет продолжать аспирантуру в моей лаборатории. По-видимому, для такого категорического, не подлежавшего оспариванию решения были какие-то высшие соображения.

Первое время Ищенко держала себя сравнительно нормально, т. е. без эксцессов. По-видимому, значение имело уступчивое и доброжелательное отношение к ней со стороны моих сотрудников, которое я им внушил. Несомненной была ее низкая общая культура с убогой речью, замкнутость и отчужденность от остального коллектива. Она с грехом пополам выполняла текущие задачи по прозекторской работе, не выявив желания и способностей к ней. Я сохранил за ней тему ее диссертационной работы, данную ей А. И. Абрикосовым, совместно с ней разработал детальный план исследований. Она посещала общие для всех аспирантов и молодых

диссертантов института занятия по иностранному языку и марксистско-ленинской теории. На моих сотрудников и на всех, с кем она соприкасалась на этих занятиях, она производила впечатление душевнобольного человека.

В течение первого года ее работы у меня (второго года аспирантуры) она всячески уклонялась под любыми предлогами от контроля за ее научной работой, то откладывая контрольный отчет, то избегая встречи со мной для такого отчета. С этим она вступила в третий, последний год аспирантуры, и я предпринял энергичное наступление для получения отчета и ознакомления с состоянием диссертационной темы. Представить мне для проверки исходные научные материалы в виде гистологических препаратов она наотрез отказалась, откровенно намекая на то, что я или кто-нибудь другой могут их использовать для своей работы, т. е. научно обокрасть ее. Тогда я, употребив большую настойчивость и большую степень терпения, добился ее согласия на представление хотя бы письменного отчета. При этом она заявила, что диссертация у нее совсем готова, что даже написаны выводы, и на мое удивление законченностью выводов при отсутствии конкретных материалов исследования и его литературного оформления она сказала буквально следующее: «Материалы всякий дурак может собрать и описать их, а вот хорошие выводы не всякий может сделать». Ошеломленный такой декларацией о методике научного творчества, я был в тупике — как мне поступить? Ведь я отвечаю за своевременное завершение аспирантуры с представлением законченной диссертации, а в то время это была не только служебная, но и политическая ответственность, и я ее понимал и чувствовал. В Академии при ознакомлении с положением дела от меня отмахивались с твердым указанием о необходимости доведения аспирантуры Ищенко до благополучного конца. Я снова предпринял энергичную атаку на Ищенко с требованием представить мне хотя бы выводы из диссертации, на что она дала согласие. В назначенный день и час после настойчивых напоминаний она пришла ко мне в кабинет, держа в руках листы бумаги, но дать их мне для прочтения отказалась, сказав, что прочтет их сама. Я согласился и на это. Она начала что-то говорить, глядя на листы и переворачивая их, причем из ее речи было совершенно ясно, что она не читает, а фабулирует, т. е. делает вид, что читает, а в действительности произносит тут же выдуманный, не связанный единой мыслью набор слов и фраз. Мне удалось на одно мгновенье заглянуть в скрываемые от меня листы и заметить, что только в некоторых (она держала их веером) имелись не-

сколько написанных слов в начале страницы. Положение мое было трудное, т. к. я вынужден был пойти на беспрецедентный и порочащий меня, как руководителя, шаг — требовать отчисления Ищенко из аспирантуры почти у самого календарного срока ее окончания, о чем я ее информировал.

В один, как говорят, прекрасный день мне звонят по телефону из здания Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ) в другом конце Москвы, где размещалась основная часть лабораторий института и дирекция, что туда прибыл корреспондент «Правды» и, предъявив свою корреспондентскую карточку, ходит по лабораториям, беседует с сотрудниками, не говоря о цели своего визита. Но из разговоров с сотрудниками выясняется, что он интересуется главным образом мною, моим участием в подготовке кадров, отношением к молодежи и к их работе. Ответы он получил самые для меня благоприятные, т. к. действительно я помогал молодежи, чем мог, многие проходили патологоанатомический практикум в моей лаборатории. Корреспондент интересовался также Ищенко, мнением сотрудников о ней, и они без обиняков единодушно говорили, что она душевнобольная. К концу дня я приехал в ВИЭМ, застал там корреспондента, но он не проявил ко мне никакого интереса и никакого желания поговорить со мной, хотя я был заместителем директора института по научной работе.

На следующий день в мою лабораторию вдруг нагрянула комиссия (всего состава ее я не помню, по-видимому, это были люди мало мне известные), которая опять-таки, не вступая со мной в контакт, выясняла у сотрудников (даже у лаборантов) характер моего руководства их работой, внимания, которое я этому уделяю, нет ли предпочтительности по отношению к одним (в частности — евреям) и дискриминационного пренебрежения к другим. Здесь также выяснилось, что особый и придирчивый интерес они проявляют к взаимоотношениям с Ищенко, не преследую ли я ее, не скрывая, что они очень хотели бы получить на это утвердительный ответ. Однако они его не получили, чем были явно недовольны и не удовлетворены. Какие выводы сделала комиссия из своего визита, мне неизвестно, да и она не информировала меня о своих заданиях и целях. У меня нет никакого сомнения, что она прибыла с готовыми выводами (подобно тому, как у Ищенко были заранее готовые выводы по несделанной диссертации), а ее посещение лаборатории необходимо было для формального обоснования выводов.

Между тем в ближайшие дни в ученом совете института под председательством А. И. Абрикосова должен был со-

стояться отчет Ищенко по ее диссертационной работе. На этом заседании присутствовал и корреспондент «Правды». Отчет произвел на всех тяжелое впечатление бреда невежественного и душевнобольного человека и был признан неудовлетворительным. Корреспондент, молодой человек интеллигентной внешности, сидел в задних рядах зала в соседстве с молодыми сотрудниками института. После конца заседания они спросили у него его мнение об отчете и об Ищенко. Он ответил, что ему все-таки не все ясно. Я случайно встретился с корреспондентом у входа в вагон метро и тоже спросил у него о его впечатлении. Он уклонился от прямого ответа (он был сдержан в словах) и сказал только, что он едет доложить начальству обо всем и думает, что статьи не будет. Я в тот момент не понял, о какой статье идет речь. В первый момент думал о какой-то уголовной статье за какое-то преступление и был в недоумении до тех пор, пока не узнал в президиуме Академии о подоплеке всего этого непонятного ажиотажа вокруг аспирантки Ищенко. Там мне показали направленное ею в редакцию «Правды» письмо на многих страницах машинописи. В этом письме-доносе она писала о том, что она сделала крупное научное открытие, но была вынуждена тщательно скрывать его от меня и моих сотрудников, так как я домогался овладеть этим открытием и присвоить его себе. Далее она писала очень подробно о тех преследованиях, которым она подвергалась по национальным побуждениям с моей стороны, и что к этим преследованиям я привлек сотрудников еврейской национальности из моей лаборатории и из лаборатории А. И. Абрикосова, называя в том числе и тех, которые ее в глаза не видели и не слышали о ней ничего. В разговоре со мной обо всем этом деле вице-президент Академии Н. И. Озерецкий, образованный психиатр и умный человек, сказал мне, что для него была совершенно ясна тяжелая форма шизофрении у аспирантки Ищенко, но меня спасло то, что это стало ясным и очевидным для всех, кто вступал с ней в контакт. Для жертвенной героини она не подошла, иначе бы мне не сдобровать. Я только тогда понял, о какой статье говорил корреспондент, готовилась разгромная статья в «Правде», посвященная мне.

Прочтя этот донос, многие его формулировки, я почувствовал в нем что-то мне знакомое. Я узнал в нем знакомый уже мне почерк авторов письма к Берия. Тут я вспомнил, что мне мои сотрудники говорили о странном интересе Ищенко к кафедре анатомии Терновского, о ее частых визитах туда якобы по научным делам. Что же, писать доносы тоже надо учиться, и она нашла опытных учителей, подстре-

кателей и инструкторов по доносам. Я только никак не мог понять, каким образом она вступила в контакт с Терновским и Дзугаевой. Кто-то указал ей эту дорогу, т. к. сама она безусловно не подозревала о самом наличии этих людей по своей замкнутости и отсутствию соответствующей ориентировки. Много лет спустя я получил достоверный ответ на этот вопрос. Таким «диспетчером подлости» была одна из технических секретарей медико-биологического отделения Академии, темная, но ясная по специальным связям с «органами» личность, подруга Дзугаевой и «покровительница» Терновского.

Прошло много трудных и бурных лет с кульминацией в виде «дела врачей». Постепенно все становилось на свои места, очищался политический и моральный фон, так омраченный сталинской эпохой. Ушли в далекое прошлое и стали туманом события, связанные с аспиранткой Ищенко. Она сама бесследно исчезла... Как вдруг лет через 10—12 после этих событий (происходивших ранней весной 1951 года) донеслось их эхо. Однажды (это было часов около восьми вечера, было уже темно) я, сидя за работой в своем домашнем кабинете, услышал звонок в прихожей и женские голоса. Открывшая кому-то двери работница сказала мне, что меня спрашивает какая-то женщина. Я сказал, чтобы она вошла ко мне в кабинет, и вдруг я увидел... Ищенко. Мне бросилась в глаза ее безобразная полнота, характерная для многих больных шизофреничек с резко нарушенным обменом, особенно после пребывания в психиатрических больницах. В руках у нее была потрепанного вида канцелярская папка. В первый момент я от неожиданности оторопел и даже немного испугался, как будто увидел привидение, оживший призрак, давно ушедший из моего сознания. Я пригласил ее сесть, она села и стала сбивчиво повторять одну и ту же фразу: «Вас будут вызывать, вас будут спрашивать, я принесла вам эти бумаги, чтобы вы их знали», и стала протягивать мне папку, в которой я увидел знакомые мне листки с копией ее доноса, пожелтевшие от времени и плохой бумаги. Я стал ее успокаивать, что меня никто никуда вызывать не будет, ни о чем не будут спрашивать, что мне эти бумаги не нужны, но она стереотипно повторяла: «Вас будут вызывать, будут спрашивать», и настойчиво протягивала мне эти постаревшие документы человеческой подлости. Я едва-едва ее успокоил, проводил до дверей и за двери вместе с ее бумагами и вернулся в свой кабинет, взволнованный этим визитом, реально вернувшим меня в, казалось бы, навсегда ка-

нувшее в вечность прошлое при виде живого мрачного призрака его. Анализируя свой отказ принять от нее эти бумаги, я понимаю, почему я так поступил. Эта несчастная берегла их в течение многих лет и решила расстаться с ними, принести их мне в дар, как свидетельство своего раскаяния, подсказанного ей больной совестью шизофреника. Я не мог принять этого «дара», я был в ужасе от этих отвратительных реликвий прошлого. Было смешанное чувство брезгливости и глубокой жалости к этой несчастной женщине, тоже продукту и жертве эпохи.

Академик Лина Штерн — жизненные повороты

Имя академика Лины Соломоновны Штерн в широких кругах нового поколения работников медицины и биологии известно более понаслышке и вытеснено обилием новой информации. Образ ее, заслуживающий объективной портретной характеристики, сохранился в памяти лишь очень немногих уцелевших современников, к которым принадлежит и автор этих строк.

Л. С. Штерн, выходец из обеспеченной семьи латвийких евреев, получила медицинское образование в Швейцарии. По окончании университета в Женеве в 1904 году она, выделявшаяся своими способностями, была оставлена для научно-исследовательской работы при кафедре физиологии этого университета, во главе которой стоял известный в то время профессор Прево. Она скоро стала ассистентом профессора Прево и быстро завоевала себе научное имя в мировой науке рядом работ, особенно работами в области окислительных ферментов. Она с успехом выступала на всех крупных международных конференциях и конгрессах, и это также создало ей большую популярность в научном мире, в то время сравнительно ограниченном и чрезвычайно доступном для широких личных контактов. Последнее облегчалось для Л. С. Штерн свободным владением всеми европейскими языками. Ее друзья, по ее словам, острили, что она говорит на всех языках, даже на еврейском, но это была только шутка: еврейского языка она не знала. В дальнейшем, в 1917 году она была избрана профессором кафедры биохимии Женевского университета (в те времена не было такого водораздела между физиологией и биохимией) и занимала эту кафедру до своего переезда в Советский Союз в 1925 году. Материально она была очень обеспечена (до 20 000 полноценных, «золотых» франков в год), состоя одновременно

с заведованием кафедрой консультантом фармацевтических фирм. Здесь она создала метод получения гормонально-активных препаратов, в дальнейшем развитый и использованный ею и ее сотрудниками в исследовательских работах в Москве для получения «метаболитов» различных органов и тканей. Суть метода заключалась в приживании тканей в питательной среде, в которую они отдавали продукты своей специфической жизнедеятельности. Последние ее работы женевского периода были посвящены исследованиям особого физиологического механизма в центральной нервной системе, обеспечивающего столь важное для нормальной функции нервной ткани мозга постоянство его внутренней среды и ограждение ее от вредных внешних влияний, и в первую очередь — от различных веществ, содержащихся в крови и могущих быть вредными для нервной ткани мозга. Этому механизму она дала название — «гематоэнцефалический барьер» (т. е. барьер между кровью и тканью мозга), ставшее классическим его определением и прочно укоренившееся в медицине и биологии. В дальнейшем принцип барьерных механизмов она распространила на все органы, и этот принцип, в основе которого лежит проницаемость кровеносных капилляров, получил название «гистогематические (кроветканевые) барьеры» — название, также укоренившееся.

Таким образом, к моменту своего переезда в Советский Союз у Л. С. Штерн был крупный научный багаж, крупное имя в мировой науке и полное материальное и академическое благополучие в мирной буржуазной Женеве. Все это она, не задумываясь, как она сама говорила, ни на минуту (в решениях она была быстра), променяла на новую жизнь в новой обстановке бурного строительства социалистического общества, отнюдь не сулившего ей буржуазного покоя. Ее поступками иногда руководили какие-то элементы авантюризма в ее характере, интуитивное влечение к новому. Это относилось и к ее научному творчеству. Ее женевские и другие друзья из капиталистического мира решительно отговаривали ее от переезда в Советский Союз. Они пугали ее: «Вас там ограбят материально и научно и, в конце концов, посадят в ЧК и сошлют в Сибирь». И все же ее не остановили эти пророчества, угроза потери друзей, и она, не задумываясь, приняла предложение академика А. Н. Баха, ее старого друга, и профессора Г. И. Збарского переехать в Советский Союз для научной и педагогической работы.

Для того чтобы понять многое из последующей ее жизни в Советском Союзе, необходимо представить академиче-

скую среду 20-х годов и основные черты самой Л. С., ее характерологический портрет, перенесенный в эту среду.

В мировой физиологической науке того времени королевский престол занимал И. П. Павлов. Его место в науке не требует комментариев и мотивировок, а в своем отечестве он был подлинным и непререкаемым физиологическим вождем. Вся советская физиология была павловской физиологией, все советские физиологи, занимавшие кафедры физиологии в вузах (а в то время наука еще была сосредоточена в вузах), были в той или иной степени учениками и последователями И. П. Павлова. Это была в действительности единая павловская школа. Следует при этом заметить, что переход представителей этой школы, как и самого И. П. Павлова, на общие рельсы Советского государства и советского строя совершался медленно, с большим трудом, что отнюдь не представляло исключения в общем настроении русской научной интеллигенции того времени. В эту атмосферу научного и политического единства ворвался чуждый элемент в лице Л. С. Штерн, и она была встречена в штыки.

Объективность требует сказать, что такой встрече способствовали и некоторые черты самой Л. С. Внешность ее отнюдь не была подкупающей и на первый взгляд не внушала непосредственной симпатии. Небольшого роста, полная, с коротко постриженными седеющими (а в дальнейшем седыми) волосами, русским языком владеет не совсем свободно, часто подыскивает нужные слова, которые собеседнику иногда приходится подсказывать. Речь с сильным французским акцентом.

Характер Л. С., определявший ее поступки и взаимоотношения с окружающим человеческим миром, был соткан из редкого сочетания противоречивых черт, и, как это ни представляется парадоксальным, эта противоречивость формировала своеобразную цельность и неповторимую оригинальность, отсутствие штампа в ее натуре.

Парадоксальной была нередкая наивность в восприятии внешней обстановки и в оценке различных событий — наряду с глубиной суждений, характеризующей высокий интеллект. Иногда, однако, эта наивность была, несомненно, наигранной. Доверчивость сочеталась в ней с подозрительностью. От первой выигрывали часто различные проходимцы, гангстеры от науки, использовавшие научный опыт и авторитет Л. С. в своих грязных целях; от второй страдали близкие сотрудники и преданные ей ученики. Демократизм отношений, простота и доступность сочетались с автократическим деспотизмом. Широта натуры в больших масштабах

сочеталась с потрясающей мелочной скупостью и скопидомством. Прямолинейность и агрессивная резкость, воспринимаемые как потрясающее отсутствие такта, нажившие ей в короткий срок немало врагов, сочетались с несомненной дипломатичностью в ряде случаев. Все эти характерологические черты покрывал несомненный блестящий ум, искрящееся остроумие, глубокая преданность науке — основная руководящая нить ее жизни, по крайней мере в первый довоенный период ее работы в Москве, сочетавшийся в последний период с погоней за внешним эффектом. Все эти качества отнюдь не способствовали доброжелательному отношению к Л. С., часто использовались и гипертрофировались ее противниками (а их у нее было немало), да и близкие к ней люди иногда говорили, что надо ее очень любить за ее крупные достоинства, чтобы прощать крупные недостатки.

Наука была ее жизнью, она жила в ней и для нее принесла в жертву личную жизнь, понимаемую как организацию семьи, и все, что с этим было связано. Совершенно случайно до меня дошел отголосок того, что эта жертва была действительной, а не декларативной. В 1928 году я опубликовал в одном из зарубежных международных журналов научную работу (одну из первых в моей научной деятельности), привлекшую внимание ряда зарубежных ученых и посвященную одному из тяжелых осложнений малярии (в ту пору частой болезни). Ко мне обращались с просьбой не только о присылке отдельных оттисков статьи, но и кусочков органов, взятых при вскрытии, для изучения изменений в них при этом осложнении, которые я описывал в статье. В то время контакты с зарубежными учеными не были осложненными и мне легко было выполнить эти просьбы. Так завязалась переписка с некоторыми зарубежными учеными. Одно из таких писем, уже не носившее официального характера, а чисто дружеское (в ту пору отношения в научной среде определялись не возрастом, стажем в науке, ученым званием, а интересом научного произведения автора), я получил из Англии от профессора В. Только что полученное от него письмо с обратным адресом на конверте лежало у меня в рабочем кабинете на столе, когда вошла Л. С. Штерн и, увидев письмо со знакомым ей, по-видимому, почерком, очень взволновалась и возбужденно спросила: «Откуда Вы знаете В. и почему он Вам пишет?» Из ее возбужденной реакции я увидел, что она считает письмо, полученное мною, не случайностью и что оно ее сильно взволновало. Я разъяснил ей происхождение письма, разъяснение мое, по-видимо-

му, было для нее убедительным, но причину волнения, вызванного им, я узнал позднее от самой Л. С. Профессор В. был ее единственным серьезным романом, который должен был закончиться браком. Она приняла его предложение, и, кажется, уже было что-то вроде помолвки. После нее жених (англичанин, по-видимому, пуританских нравов и воспитания) разъяснил своей невесте свои взгляды на семью и ее место и обязанности в семье. Это место и обязанности исключали дальнейшую жизнь жены в науке. Молодая невеста взяла обратно свое согласие стать женой на этих условиях, и намечавшийся брак не состоялся. Оба они остались верными своей, по-видимому, первой любви. Л. С. не вышла замуж, профессор В. остался холостяком. Во время ее частых поездок в Европу в первые годы жизни в Москве они встречались, и мне кажется, что эти встречи были немалым поводом для этих поездок. По-видимому, больше романов у Л. С. в жизни не было, и, вероятно, роль в этом играла не только ее увлеченность наукой, но и маловыигрышная внешность. К теме о романах она нередко возвращалась в дружеских беседах, но только в шутливой форме, за которой, может быть, скрывалась неосознанная (а может быть, и гонимая) тоска женщины по полноценной женской жизни. Женщина в Л. С. всегда шла впереди академика...

Бескомпромиссная жертвенность для науки нередко была причиной конфликтов, возникавших между Л. С. и ее сотрудницами, делившими науку с семьей и обязанностями жены и матери детей. Одной из руководящих идей Л. С. при организации своего научного коллектива на кафедре физиологии 2-го МГУ (в дальнейшем 2-го Московского мед. института), в научной лаборатории и в Институте физиологии Академии наук было вовлечение женщины в науку. В настоящее время, когда широкое представительство женщин в науке стало обычным явлением, подобные идеи кажутся архаичными и даже в какой-то мере смешными. Но в 20-х и даже в 30-х годах, когда для женщины только открывались пути в различные области общественной жизни, когда борьба за это нередко велась только суфражистками под предводительством англичанки Панкхерст, эти идеи были передовыми, и их реализация требовала специального внимания и больших усилий по выращиванию кадров ученых-женщин. Поэтому каждый уход научного сотрудника — женщины или мужчины — в семью, каждое отвлечение семьей такого сотрудника от науки (рождение ребенка, болезни детей, разнообразные семейные и бытовые обязанности и т. д.) Л. С. переживались, как предательство

науки, вызывали в ней бурный, иногда грубый по форме протест, а с бытовыми тяготами, крайне сложными и осложнявшими во многие периоды жизнь отягощенных семьей советских женщин, Л. С. считаться не хотела и отказывалась принимать эти соображения от своих сотрудниц. В этом, несомненно, проявлялся эгоцентризм одинокого, очень хорошо материально обеспеченного и свободного от привязанностей человека, а родственные привязанности занимали мало места в эмоциональной сфере Л. С., во всяком случае, не настолько, чтобы она могла пойти хоть на минимальную жертву для этих привязанностей...

Конфликтные отношения с миром физиологов возникли у нее сразу по приезде в Советский Союз, и этому способствовали не столько характерологические черты, сколько плохая ориентация в новом для нее академическом окружении, недружелюбно ее встретившем. Все это создало для Л. С. большие трудности в организации кафедры физиологии во 2-м Московском государственном университете (впоследствии медицинский факультет этого университета выделился в виде 2-го Моск. мед. института). Этой кафедрой заведовал до нее известный физиолог профессор Шатерников по совместительству с кафедрой 1-го Моск. гос. университета. Л. С. пришлось практически создавать кафедру заново, начиная с подбора сотрудников, технического и лабораторного оборудования, приспособления помещения, организации практических занятий, в которых, по ее педагогическим установкам, большое место занимал демонстрационный и самостоятельный эксперимент. Только неистощимая энергия Л. С. и поддержка немногочисленных, но влиятельных друзей позволили ей в короткий срок организовать педагогический процесс и научную работу и обучить приглашенных сотрудников-ассистентов. Это обучение включало элементарную методику физиологического эксперимента, начиная с привязывания животного к экспериментальному станку, производство подкожных, внутрисосудистых и внутримозговых инъекций и кончая более сложными специальными манипуляциями. Она дорожила каждым из приобретенных сотрудников, не щадила ни сил, ни времени на их научную и педагогическую подготовку и не раз выражала готовность остаться в лаборатории на ночь, если это было вызвано производственной необходимостью.

Именно поэтому всю свою последующую жизнь она не могла забыть трагического эпизода, жертвой которого был ее аспирант К.— молодой человек, милый, приятный, спо-

собный, интеллигентный юноша. Он был женат на молодой женщине, с интересными, подкупающими внешними данными, которым, по-видимому, не соответствовали внутренние моральные стороны. У нее возник роман с одним молодым ученым, будущим видным академиком. Жертвой романа стал К.: он покончил жизнь самоубийством, приняв большую дозу хлоралгидрата. Враждебное отношение к академику, как к косвенному виновнику гибели любимого ученика, Л. С. пронесла через всю жизнь, что отразилось, разумеется, на их отношениях, бывших не безразличными для Л. С. в силу высокого положения академика в научной общественной среде и в самой Академии. Мой упрек в злопамятстве Л. С. отвела, сказавши: «Я не злопамятна», но тут же добавила: «Но я помню!»

Постепенно наладился и педагогический процесс, и научная работа. Основное место в ней занимали исследования в области гематоэнцефалического барьера, в которых принимал участие и автор этих строк. Не раз у нас были бурные столкновения с Л. С. из-за разного подхода к конкретным вопросам исследования. Старого профессора эти вспышки не обижали; более того, они, по-видимому, ей в какой-то мере импонировали, т. к. были проявлением научного темперамента, к которому она относилась с сочувствием и даже с симпатией. Но однажды они все же завершились стойким разрывом и прекращением совместной работы при сохранении, в общем до конца жизни Л. С., дружеских отношений, с некоторыми перерывами, виной которым был опять-таки темперамент и характер обоих действующих лиц. На книге первого издания работ ее института в 1935 году, где была и моя статья, имеется автограф: «Дорогому Якову Львовичу в память многолетней борьбы и дружбы».

До середины 30-х годов Л. С. почти каждый год ездила за границу, выступала на международных конгрессах и конференциях и поддерживала личные контакты с зарубежными учеными (все это ей потом вспомнили!). Многие из них приезжали по приглашению Л. С. к ней в лабораторию (в дальнейшем — Институт физиологии Академии наук СССР), привозили с собой сложную аппаратуру для специальных исследований, обучали пользованию ею сотрудников института, что сыграло немалую роль в их научном прогрессе.

Постепенно вошла в привычную колею педагогическая и научная деятельность кафедры физиологии под руководством Л. С.

В 1925 году профессором В. Ф. Зелениным, известным терапевтом, был организован научно-исследовательский Медико-биологический институт в системе Главнауки *, где начальником был Ф. Н. Петров, старый большевик, ветеран Коммунистической партии и соратник В. И. Ленина. По замыслу организаторов этого института он должен был представлять комплекс терапевтической (преимущественно — кардиологической) клиники и экспериментальных лабораторий. Это был прообраз будущей Академии медицинских наук. В центре Медико-биологического института, вначале базировавшегося в Ново-Екатерининской больнице (у Петровских ворот), была клиника, руководимая самим В. Ф. Зелениным. Вокруг нее группировался ряд экспериментальных лабораторий, которыми руководили А. А. Богомолец (в дальнейшем президент Украинской академии наук); А. А. Кулябко, вошедший в науку первым восстановлением деятельности извлеченного из трупа сердца умершего человека (ребенка) посредством пропускания через него физиологического раствора солей; М. Я. Серейский — известный в ту пору психиатр и биохимик; Л. С. Штерн. Институт был школой, выраститвшей в своих стенах ряд будущих известных ученых (Н. Н. Сиротинин, М. С. Вовси, Л. И. Фогельсон, Б. Б. Коган, Н. Б. Медведева). Под ударами извне Медико-биологический институт утратил в дальнейшем свое первоначальное лицо и был в начале 30-х годов реорганизован в Медико-генетический институт, директором которого стал С. Г. Левит, пионер и основатель медицинской генетики в СССР, в дальнейшем (1938) павший жертвой обычных для того периода необоснованных репрессий. При реорганизации Медико-биологического института Л. С. Штерн сохранила свою лабораторию в системе Главнауки при поддержке Ф. Н. Петрова, в дальнейшем реорганизовав ее в научно-исследовательский Институт физиологии в системе Академии наук СССР. В 1938 году она была избрана действительным членом этой Академии — первой женщиной-академиком в Советском Союзе (да и во всем мире). Она занимала почетное место в книге, изданной в Германии, посвященной выдающимся женщинам Европы (Führende Frauen Europas).

Я не ставлю целью подробное изложение биографии Л. С. Штерн, а только лишь краткое освещение пути, закончившегося попыткой ее научного и физического уничтожения, как частого общественного явления, характерного

* Главное управление научными учреждениями.

для послевоенного периода сталинской эпохи. Поэтому я опускаю ряд деталей ее биографии, но не могу не упомянуть о ее реакции на сближение Советского Союза с гитлеровской Германией, в конце 30-х годов, ознаменованное рядом акций, в частности — приездом Рибентропа в Москву в 1939 году. Л. С. чрезвычайно болезненно воспринимала это сближение, она видела в этом угрозу принципам советского строя (она вступала в партию в 1930 году), распространениям фашистской заразы за пределы Германии. На заверения одного крупного политического деятеля Советского Союза, что сближение с Гитлером — это брак по расчету, она ему ответила: «Но и от брака по расчету бывают дети, и детки будут и от этого брака». Это звучало, как пророчество и предвидение!

Нападением Гитлера на Польшу началась вторая мировая война и почти одновременно с ней — наша война с Финляндией. В этой войне впервые прошел практические испытания метод борьбы с травматическим шоком, теоретически и экспериментально разработанный в институте Л. С. под ее руководством. Теоретической предпосылкой метода было общее учение о гематоэнцефалическом барьере, функция которого не только ограждала нервные центры от действия различных вредных для них веществ, содержащихся в крови и в нормальных, а тем более патологических условиях, но и препятствовала доступу к этим центрам из крови различных лекарственных веществ, необходимых им для восстановления нормальной деятельности мозга при ее нарушении различными воздействиями. Так родилась идея (не абсолютно новая) о необходимости непосредственного воздействия лекарственными препаратами на нервные центры в обход гематоэнцефалического барьера, основными структурными элементами которого были стенки мельчайших разветвлений кровеносных сосудов-капилляров и прекапилляров. Обойти эту сеть гематоэнцефалического барьера предлагалось введением лекарственного препарата непосредственно в спинно-мозговую жидкость, омывающую все клетки мозга. При помощи шприца он вводился в цистерну с этой жидкостью, находящуюся под затылочными долями мозга, для чего игла шприца вкалывалась в затылочную область головы. Теоретическое обоснование метода встречало ряд возражений, вытекавших из анатомии мозга и путей и направлений движения спинномозговой жидкости в мозгу. Практическое применение метода при травматическом шоке в финскую войну в ряде случаев, по некоторым отзывам, дало положительные ре-

зультаты. Для пропаганды метода Л. С. даже выехала на фронт в район боевых действий.

Вслед за финской войной началась Великая Отечественная война с боевым травматизмом в ужасающих размерах. Разумеется, и здесь была пропаганда метода борьбы с травматическим шоком путем введения противошоковой жидкости в затылочную цистерну мозга, но распространения этот метод не получил то ли ввиду его сложности и необходимости владения сложной и небезопасной при плохом владении техникой, то ли ввиду противоречивости результатов. Во всяком случае, он не встретил активной поддержки со стороны начальника Военно-медицинского управления Советской Армии Е. И. Смирнова (после войны министра здравоохранения СССР) и главного хирурга Советской Армии академика Н. Н. Бурденко, и их ни в коем случае нельзя упрекнуть в преднамеренном игнорировании метода, как это иногда утверждала Л. С.

Вернулся в 1943 году в Москву из временной эвакуации в 1941 году в Алма-Ату ее институт, и продолжалась настойчивая работа по внедрению метода непосредственного воздействия на нервные центры при различных заболеваниях, даже таких, как алиментарная дистрофия, и, особенно, специальных заболеваний нервной системы (вирусные и другие энцефалиты, туберкулезный менингит и др.).

Пропаганде практической эффективности метода особенно помог, как это нередко бывает не только в медицине, случай. В семье Ц. заболела туберкулезным менингитом дочь Ира, девочка 10 лет. В то время (это был 1946 год) туберкулезный менингит был абсолютно смертельной болезнью, случаев выздоровления от него не было. В диагнозе туберкулезного менингита было предсказание исхода. В США только что появился полученный ученым Ваксманом новый антибиотик, следующий за пенициллином,— стрептомицин. Этот антибиотик обладал не только широким спектром антибактериального эффекта, но специальным действием на возбудителя туберкулеза — туберкулезную палочку Коха. Он быстро вошел в клиническую практику как мощное средство лечения туберкулеза в разных его проявлениях и формах и сыграл огромную роль в успехе лечения туберкулеза. Узнав о пропагандируемом академиком Л. С. Штерн методе лечения заболеваний центральной нервной системы путем введения лекарственных веществ в непосредственный контакт с веществом мозга и его оболочек и имея сведения о только что полученном

противотуберкулезном антибиотике, родители Иры обратились к Л. С. за содействием в применении ее метода для лечения девочки. Через специальные связи был быстро получен из США стрептомицин (в ту пору он был в США еще в номенклатуре «стратегических» материалов, выдаваемых в каждом отдельном случае с разрешения Конгресса США), и с помощью Л. С. началось лечение Иры введением стрептомицина в подоболочечную затылочную цистерну головного мозга. Девочка выздоровела от туберкулезного менингита, не избежав, однако, осложнения в виде глухоты, вызванной специфическим токсическим воздействием стрептомицина на слуховые нервы. Это был первый (по крайней мере, в Советском Союзе) случай выздоровления от абсолютно смертельной болезни, что воспринималось как чудо и чрезвычайно способствовало общему интересу к методу и популяризации его. Была организована специальная конференция, в которой участники ее сообщали свои наблюдения над эффективностью метода непосредственного воздействия на центральную нервную систему при различных заболеваниях. Большинство докладчиков было из числа сотрудников Института физиологии, и это несомненно отразилось на трезвой объективности выводов о лечебной эффективности метода. Здесь не было заведомой недобросовестности (в этом никого из выступавших упрекнуть нельзя), но была, с одной стороны, увлеченность идеей и ее практическим воплощением, с другой стороны,— недостаточная компетенция физиолога-экспериментатора в клинической патологии болезни при ее естественном течении и при изменении под влиянием того или иного метода лечения. Много подобных ошибок знает история медицины, когда автор какого-либо лечебного метода, разработанного им в экспериментальной физиологической, бактериологической или другой лаборатории, сам хочет дать оценку его эффективности в практике лечебной медицины, т. е. при испытании на больном человеке. Болезнь — сложный процесс, имеющий свои законы развития, т. е. возникновения, течения и исхода. Эти законы может знать только врач-клиницист, конкретное воплощение их он видит каждый день своей деятельности; он ими управляет и направляет в необходимую для излечения сторону, и только он может быть объективным и должен быть беспристрастным судьей в лечебной ценности того или иного воздействия. История медицины знает обилие конфликтов, возникавших между автором лечебного метода и испытателями его в клинической лечебной практике. Ряд таких конфликтов возник между

Л. С., как автором метода, и между клиницистами, испытывавшими его в лечебной практике. В ту эпоху любое событие, независимо от его содержания и действительного значения, могло приобрести политическое звучание, нередко с роковым финалом для источника едва слышимого звука, усиленного соответствующими органами до громоподобности атомного взрыва.

Политический характер постепенно приобретала и деятельность Л. С. Штерн при попытках внедрения в медицинскую практику предложенным и пропагандируемым методом непосредственного воздействия на нервные центры. Не все здесь было ясно с научной стороны. Был ряд возражений со стороны специалистов в области туберкулеза против необходимости введения стрептомицина при туберкулезном менингите в непосредственное соприкосновение с тканью мозга и его оболочками; имелись примеры того, что лечебный эффект достигается и при введении стрептомицина в общую циркуляцию крови путем внутримышечных инъекций (так это делается и в настоящее время). Были упреки со стороны клиницистов в недостаточно объективной и недостаточно компетентной оценке физиологами эффективности лечения различных других болезней путем непосредственного воздействия на нервные центры. Для получения из США стрептомицина Л. С. использовала личные связи. Она считала, что ей создаются необоснованные препятствия работниками правительственных органов. Это вынудило ее обходить эти препятствия и компенсировать отсутствие требуемой ею поддержки своей личной инициативой. Ею руководили фанатичная и неконтролируемая вера в чудодейственность и универсализм ее метода лечения и, несомненно, погоня за славой. Ее характеру не были чужды крупное честолюбие ученого, как и тщеславие. В Советском Союзе в то время стрептомицина не было, не было широкой продажи его и в США, как уже было сказано, распределение этого препарата было в ведении Конгресса. Живший в США родной брат Л. С. на свои средства приобретал (по-видимому, не совсем легальным путем, поскольку он в дальнейшем вынужден был из-за этого уехать из США с материальным разорением) стрептомицин и посылал его Л. С. для научных целей. Таким образом, Л. С. в Советском Союзе была в какой-то период монопольным владельцем стрептомицина, который она давала сама в лечебные учреждения для лечения туберкулезного менингита, обусловив это обязательным применением ее метода. К ней как-то обратилась

с личной просьбой Светлана Аллилуева-Сталина (дочь И. В. Сталина) с просьбой дать ей стрептомицин для лечения ребенка ее близких друзей. Л. С. отказала, говоря, что стрептомицин она получает не для лечения туберкулеза вообще, а только для научных целей.

Постепенно стали сгущаться тучи над головой Л. С. Впрочем, они сгущались не только над ее головой, и ее голова была лишь одной из многочисленных, попавших в это сгущение в последний период сталинской власти.

Сгущение туч над Л. С. имело разные симптомы и разные сигналы. Одним из сигналов было сообщение ей (разумеется, сугубо личное) крупным общественным деятелем о том, что Маленков и Щербаков, ближайшие соратники Сталина, плохо к ней относятся и отзываются о ней неодобрительно. Таким сигналом также был переданный мне лично профессором Я. Г. Этингером (в дальнейшем одной из жертв «дела врачей») отзыв Маленкова и Щербакова о Л. С. Штерн. Профессор Я. Г. Этингер был одним из врачей, лечивших Щербакова во время его последней болезни (инфаркт миокарда), закончившейся смертью. Во время визита профессора Я. Г. Этингера к больному Щербакову и последовавшего чаепития Щербаков и Маленков, присутствовавший при этом, резко отозвались о Л. С. Штерн и о ее методе лечения. При этом один из них сказал (передаю точно слова Я. Г. Этингера): «Уверен, что никому еще Штерн со своим методом не помогла, мы поторопились выдвинуть ее в академики». Разумеется, никакого немедленного значения для участи Л. С. Штерн эта беседа не имела: участь ее (как и самого Я. Г. Этингера) была решена другими закономерностями. Это лишь демонстрация сгущения атмосферы вокруг Л. С. Штерн, закончившаяся ее арестом.

Последнему предшествовал ряд событий, и, прежде всего, мероприятия по дискредитации ее как ученого. Было бы, однако, наивным предположение или утверждение, что в постигшей ее участи главную или единственную роль играли ее научные недостатки, действительные или мнимые. Политическая и общественная ситуация того времени делала такое предположение, а тем более — утверждение просто смехотворным (если слово «смех» здесь позволено употребить). Современники были свидетелями, как по политическим соображениям уничтожались крупнейшие ученые (превращались в г-но, по выражению Н. И. Вавилова). Наряду с этим заведомые невежды вроде О. Б. Лепешинской или Т. Д. Лысенко объявлялись гениями, их «научный»

бред — вершиной науки. Были неучи и жулики от науки и поменьше рангом, но они великолепно процветали и благодушествовали под благожелательным покровительством «руководящих» органов и лиц.

Научная дискредитация Л. С. Штерн была предшествовавшей фазой ее физического уничтожения, причиной и поводом для которой были следующие обстоятельства.

Во время Отечественной войны бурную деятельность развили различные общественные организации, сыгравшие немалую роль в общем напряжении всех сил страны для победы над страшным врагом. Был сформирован и Еврейский антифашистский комитет из выдающихся представителей еврейской национальности в СССР. В него вошли известные еврейские писатели (Бергельсон, Перец-Маркиш, Квитко, Фефер и др.), артисты (Михоэлс, Зускин), деятели здравоохранения (главный врач Боткинской больницы Шимелиович), государственные деятели (Лозовский), ученые (академик Фрумкин, Нусинов и др.). Вошла в него и Л. С. Штерн, и, по-видимому, это и сыграло роковую роль в ее судьбе. Л. С. Штерн, вообще, не была созвучна эпохе и своим общим обликом залетевшей в сталинскую империю «буржуазной птицы», и многими не созвучными эпохе высказываниями, и, главным образом, тем, что она была членом Еврейского антифашистского комитета и «видной» еврейкой. Последний признак, однако, был ей лично абсолютно чуждым. Выросшей и воспитанной в европейской атмосфере буржуазного интернационализма, национального и религиозного свободомыслия, ей были абсолютно чужды и даже враждебны проявления национальной ограниченности. Ее участие в Еврейском антифашистском комитете определялось формальным признаком, а не национальным тяготением к «землячеству», хотя ей не была чужда еврейская духовная культура, как и всякая другая.

Научная или иная дискредитация, как этап уничтожения ученого, не была оригинальным приемом в арсенале органов госбезопасности. Можно напомнить эпизод с профессором Д. Д. Плетневым, предшествовавший его аресту и преданию суду в общем большом политическом процессе 1938 года с участием Бухарина, Ягоды, Розенгольца, Левина и других в качестве обвиняемых. Профессор Д. Д. Плетнев, крупный клиницист и бесспорно опытный и талантливый врач, был одним из консультантов кремлевской больницы и принимал участие в наблюдении за здоровьем и лечением крупных деятелей Советского государства. Он имел заслуженную репутацию крупнейшего учено-

го-клинициста с огромным врачебным опытом, принятого в самых высоких сферах Советского государства.

Подобно грому из ясного неба в центральных газетах в 1939 году (в том числе и в «Правде», если мне не изменяет память) во всю ширину полосы появился гигантский заголовок: «Проклятие тебе, насильник, садист!» Под этим кричащим заголовком была статья (государственной важности!!!), посвященная аморальным действиям профессора П., о чем я рассказывал выше.

Для Л. С. Штерн (ей в ту пору было около 70 лет) был избран другой, не сексуальный, путь дискредитации, хотя он и занимал некоторое место в следственном процессе. Начало ему положила статья некоего Бернштейна, заведующего кафедрой биохимии в Ивановском медицинском институте. Статья эта появилась летом (в июле или в августе) 1947 года в газете «Медицинский работник». В ту пору эта газета была рупором всякого псевдонаучного мракобесия, пропагандистом омерзительного невежества, а также рупором модной в то время черносотенной клеветы и травли. Статья Бернштейна подвергала критике содержание и направление исследований Л. С. Штерн и ее сотрудников в области гематоэнцефалического барьера. Это был уже не сигнал, а первая стрела открытой атаки. Остается неясным, была ли эта стрела только направлена рукой Бернштейна, а в действительности он был исполнителем более мощного вдохновителя, или же это была его личная инициатива в предвиденье благосклонной реакции на нее, которая была обеспечена всей атмосферой того времени. Во всяком случае, стрела попадала в нужную политическую цель, и вслед за ней в срочном порядке, вне всяких планов издания, где в замороженном виде годами ждали своего выхода в свет нужные науке книги, Медгизом была издана книжица того же Бернштейна под хлестким заголовком «Против упрощенчества и упрощенцев», вышедшая в середине 1948 года. С момента опубликования статьи в «Медицинском работнике» Бернштейн стал открытым оружием расправы с Л. С. Штерн, если не был скрытым оружием до этой статьи. Это оружие было удобным по еврейской национальности героя, т. к. не могло быть подозрения в его антисемитских побуждениях. Он охотно стал таким оружием, бесспорно ожидая компенсации за свою научную доблесть, как таким оружием стала гр-ка Б. в деле Плетнева, врач Тимощук в будущем «деле врачей» и многие другие. В период подготовки брошюры к изданию и в последующий короткий период Бернштейн стал

героем дня. Он имел постоянный пропуск в ЦК КПСС, входил без доклада к министру здравоохранения СССР Е. И. Смирнову за директивными указаниями, а когда он входил (также без доклада) в кабинет президента Академии медицинских наук СССР академика Н. Н. Аничкова, тот вскакивал из-за стола и шел поспешно навстречу «высокому» гостю. Тот себя чувствовал и вел, как подлинный герой дня: ведь он выполняет важное политическое задание — сокрушает академика Л. С. Штерн.

Брошюра с разносом учения («лжеучения») Л. С. Штерн вышла из печати летом 1948 года. А в мае этого года Л. С. была неожиданно вызвана к президенту АН СССР, в составе которой был ее институт, С. И. Вавилову (брату Н. И. Вавилова), сообщившему ей о решении президиума передать ее институт в Академию медицинских наук, а эта Академия тут же решила (все решения, конечно, были подготовлены заранее) передать его в Ленинград академику К. М. Быкову. Приехали его представители, упаковали аппаратуру и библиотеку, и все это в хаотическом беспорядке было отправлено в Ленинград. Каждому, даже не научному работнику-экспериментатору ясно, во что превращается аппаратура, собираемая годами и целеустремленно служащая тематической и проблемной идее, определенным научным планам и интересам — при ее демонтаже и передаче в учреждение, разрабатывающее совершенно другие проблемы. Эта аппаратура превращается в утиль, что было и в данном случае. Таким образом, передача института Л. С. Штерн в другое учреждение, по существу, была инсценировкой организованного разгрома. Такого рода «реорганизации» были формой расправы с неугодными Советскому правительству того времени не только научными институтами. Так, например, была произведена «реорганизация» Института морфологии, директором которого был академик А. И. Абрикосов, в Институт фармакологии, директором которого был назначен физиолог — некто профессор Снякин. Причина «реорганизации» — ярлык «вирховианского гнезда», наклеенный О. Б. Лепешинской на институт, из которого она должна была за несколько лет до своей «коронации» в величайшие гении уйти ввиду полного несоответствия ее лаборатории требованиям элементарной науки. «Реорганизации» подверглись не только научные учреждения, но и театры с ярко выраженной индивидуальностью художественного руководителя (театр Мейерхольда, Таирова — Коонен), журналы и пр. Такая «реорганизация» вы-

глядела нередко так, как если бы еврейский театр был «реорганизован» в цыганский или наоборот.

Разгрому института Л. С. Штерн можно дать любую из наклеек — передача в другое ведомство, перестройка, передислокация, реорганизация и т. д., но суть остается одна: институт ликвидирован, коллектив распущен и обивает пороги различных учреждений в почти безнадежных поисках работы. Безнадежных потому, что на многих из них двойное клеймо: национальность и сотрудничество с Л. С. Штерн, фигурой уже одиозной. Для нее самой сохранили небольшой штат из четырех человек, включая ее личного секретаря. Одиозность личности Л. С. Штерн не ограничилась ликвидацией института. Все понимали, что за этим скрываются не только и не столько научные «ошибки» академика Штерн, сколько общее отрицательное и даже враждебное отношение к ней в высших сферах Советского государства.

Одним из последних аккордов и, пожалуй, самым громким в музыкальной прелюдии к аресту Л. С. было двухдневное заседание Московского общества физиологов, биохимиков, фармакологов, посвященное научной деятельности и научному творчеству академика Л. С. Штерн. Обсуждение научного направления исследований Л. С. Штерн и ее института в этом обществе было логически не совсем понятным после ликвидации института, прекращения исследований и самого направления. Логика подсказывала бы обратный ход событий. Но, по-видимому, для такой логики не было времени, было распоряжение и надо было его выполнять. Последовавшее же обсуждение, исход которого не вызывал никакого сомнения по опыту организации более ответственных и более значительных дискуссий, включая и суды над деятелями Советского государства и партии, было, по-видимому, необходимым как известная форма оправдания предпринятых акций и как «оформление через демократию» уже вынесенных решений. Деликатности и политического такта никто не требовал, чем грубее, тем яснее и эффективнее!

Это обсуждение, по существу, было «художественным» оформлением выполненных репрессий в отношении Л. С. Штерн. Оно без всякого сомнения было инспирировано свыше. При общей политической ситуации в стране никто не решился бы без риска для себя взять ответственность за организацию такого обсуждения, а по существу общественного суда над академиком, членом КПСС, да и не смог бы его организовать без одобрения свыше. Само-

деятельность здесь не допускалась в какой бы то ни было форме.

В организованной научной дискредитации Л. С. Штерн все было определено по заранее разработанному сценарию. Режиссура его находилась за пределами спектакля. Главная режиссура находилась в руках министра здравоохранения Е. И. Смирнова, а непосредственное дирижирование было возложено на председателя Общества физиологов, академика Академии медицинских наук профессора И. П. Разенкова, крупного ученого-физиолога, человека честного и порядочного, в общепринятом смысле этих качеств, и доброжелательно, или по крайней мере корректно, относившегося к Л. С. Ему предстояла трудная задача, и он ее выполнял с добросовестностью и бесстрашием обреченного на заведомо сомнительную роль.

Характеристика «спектакль» для этого мероприятия употреблена не случайно. Оно и внешне походило на спектакль в стенах анатомической аудитории на Моховой улице. Аудитория, вмещающая 600 человек, была переполнена, сидели не только на скамьях, но и в проходе, на ступеньках. Места занимали заранее, т. к. не все могли вместиться в аудиторию, и большие толпы находились за пределами ее на площадках лестницы и в холле. Любопытство к научному аутодафе академика привлекло массы студентов (они в основном заполняли аудиторию), ожидавших или интересного побоища, как на ринге, или не менее увлекательного зрелища собачьей грызни между учеными. Любопытный, но закономерный факт для того времени: сочувствие человеческой массы было на стороне Л. С. Штерн и ее сотрудников. Сочувствие, однако, ни в коей мере не определялось признанием высоких достоинств исследований, в которых эта масса, за очень редкими исключениями, совершенно не разбиралась. Отношение аудитории, состоящей по преимуществу из молодежи, определялось простыми до схематичности соображениями: раз их бьют и преследуют, значит, они правы и заслуживают сочувствия. Это свое отношение она выражала то бурными аплодисментами (в адрес защитников), то гулом и топаньем (в адрес нападающих). Для характеристики отношения молодежи к этим событиям (да и моральных качеств самой молодежи) показателен факт категорического отказа двух аспирантов кафедры физиологии 2-го Московского медицинского института (фамилию одного из них помню — Латаш) отмежеваться и заклеймить своего научного руководителя Л. С. Штерн. Они стояли перед угрозами исклю-

чения из комсомола и из аспирантуры, приведенными в исполнение.

Термин «спектакль» правомерен и тенденциозным подбором ролей и исполнителей. Особенно выделялись в роли обличителей Л. С. Штерн Бернштейн, Асратян, Беленький, Неговский, Огнев. Более академичным было выступление И. В. Давыдовского, участие которого в этом спектакле, к тематике которого он прямого отношения не имел, несколько удивляло. Вероятно, и он выполнял определенное задание, как член президиума Академии медицинских наук. Все же И. В. Давыдовский, критикуя работы Л. С. Штерн, закончил свое выступление неожиданным признанием «большого дела, которое она делает», но наносит ему вред недостаточно обоснованными заключениями и некритическим отношением к рекомендуемым ею практическим методам лечения.

Основным документом, положенным в основу дискуссии, была брошюра Бернштейна, а сам автор был главным действующим лицом в этом обсуждении. Сам он, если судить по его поведению, считал себя первой скрипкой в этом оркестре, хотя на самом деле был только барабаном, в чем сам мог убедиться в дальнейшем, если был способен правильно оценить происшедшее. Скрипок было много.

Выступления в защиту Л. С. Штерн не носили такого организованного характера, как критические, и не встречали поддержки у организаторов дискуссии. По-видимому, они имели указание не особенно поощрять их. По крайней мере, мое заявление о желании выступить было встречено без восторга председательствующим И. П. Разенковым. Более того, он убеждал меня не выступать, ссылаясь на то, что я много лет не работаю с ней. Было ли это проявлением дружелюбного отношения ко мне и желанием оградить меня от возможных последствий выступления в защиту Штерн (они в действительности были), или менее альтруистическими соображениями — решить невозможно. Однако его советы меня не удержали, хотя в период, предшествовавший дискуссии, у меня был длительный разрыв личных отношений с Л. С. Я выступил, т. к. все происходящее было для меня общественным явлением эпохи, а не личной драмой Л. С. Штерн.

Дискуссионное обсуждение научной деятельности академика Л. С. Штерн не получило по ряду обстоятельств, не предусмотренных намеченным ритуалом, своего целевого завершения в виде соответствующей резолюции Общества. Правление Общества никак не могло собрать необходимого

кворума для принятия и подписания такой резолюции, содержание которой отвечало бы поставленным организаторами задачам, т. е. дискриминирующей деятельности академика Л. С. Штерн. По-видимому, большинство членов правления Общества сознательно старалось избежать выполнения этой «почетной» зачади.

Логическое завершение дискуссии состоялось в одну январскую ночь начала 1949 года. В подобных случаях иногда говорят «в одну прекрасную ночь», исходя из французского опыта, утверждающего, что «все прекрасное приходит неожиданно». Однако ничего неожиданного не было в том, что около часа ночи в квартиру Л. С. Штерн (Староконюшенный переулок), где она жила со своей многолетней работницей Катей (от нее узнали о происшедшем в эту ночь), явились три ночных новогодних ангела — двое мужского пола, один — женского с сообщением о том, что Л. С. приглашает для переговоров Лаврентий Павлович Берия. По-видимому, и Л. С. было известно дореволюционное правило, согласно которому «когда пристав вызывает, нельзя быть свиньей — надо идти». Однако по своей наивности она полагала, что это — действительно деловое приглашение, выполнение которого можно отложить на утро, тем более, что она только что легла спать. Но ангелы с твердостью сказали, что неудобно заставлять Лаврентия Павловича ждать, а он ждет ее. Делать было нечего, Л. С. стала одеваться, в чем ей помогла работница и пришедшая женщина, почему-то тщательно освидетельствовавшая одежду Л. С. Л. С. только несколько удивило чрезмерное внимание этой женщины, заключающееся даже в том, что когда Л. С. зашла перед уходом в туалет, женщина вошла вместе с ней. После завершения одевания все отбыли, и так закончилось обсуждение научных достижений академика Л. С. Штерн. Родных у нее, которые имели бы право периодически справляться о ней (получая обычно стереотипный лаконичный ответ) и передавать передачи, не было. Человек канул в небытие...

За несколько часов до прихода ночных гостей Л. С. получила телеграмму от брата из Вены, где он жил в большой нужде, уехав из США. Телеграмма была лаконичного, но выразительного содержания: «Беспокоюсь отсутствием писем, у вас такие дела». Он, очевидно, полагал, что это — законспирированная по смыслу формула его осведомленности о «таких делах». Телеграмма была пророческим предчувствием включения любимой сестры в «такие дела». Телеграмму, конечно, унесли визитеры.

Прошло почти четыре года, заполненных драматическими событиями последних лет сталинской диктатуры. И вдруг неожиданно зимой 1952/1953 года (на сей раз во французской оценке неожиданности) раздался голос Л. С. в виде письма из Джамбула (Средняя Азия), в котором она извещала, что она находится там и просит кого-либо из сотрудников приехать к ней. Никто из сотрудников не выразил готовности поехать к ней. Давил страх перед контактом с осужденной по политическому делу, все боялись сложных провокаций, да и материальных средств на такую поездку ни у кого не было. Смысл такого приглашения был не совсем ясен. По-видимому, здесь был, с одной стороны, призыв о помощи беспомощного в такой ситуации человека, которому к тому же за 70 лет и который и в обычной советской бытовой обстановке не всегда правильно ориентировался. С другой стороны, здесь было проявление свойственного Л. С. эгоцентризма, плохо учитывавшего и плохо сочетавшегося с реальными возможностями даже близких ей людей. Ясно было также, что она обращается не просто к близким людям, а к своим сотрудникам, как будто прошедшие четыре года ничего не изменили ни в их служебных взаимоотношениях, ни в их возможностях в новой обстановке. В конце концов, после обмена мнениями (осторожного в ситуации 1952 года) в Джамбул рискнула поехать старый и преданный секретарь Л. С.— О. П. Скворцова.

В июне 1953 года Л. С. вернулась в Москву. Первые несколько дней после возвращения в Москву она провела у нас, где моя жена, ученица и сотрудник Л. С., и я окружили ее максимальным вниманием и уютом. От нее самой мы узнали о том, что с ней произошло после памятной январской ночи. Ее информация отнюдь не имела характера связного и последовательного повествования. Это были разрозненные отрывочные воспоминания, но и они в дальнейшем были настолько стерты быстро прогрессирующим артериосклерозом, что не оставили никакого следа в ее памяти. Спустя несколько лет она с тревогой говорила о полной утрате памяти, о том, что она ничего не помнит из того периода, как будто бы его вообще не было. Этот провал в памяти был настолько полным, что производил впечатление психологического охранительного торможения на фоне артериосклероза мозга. Это было фрейдовское «вытеснение противного». В самом же начале она была крайне подавлена, производила впечатление человека, выходящего из продолжительного психологического шока. Из ее бессвязных рассказов выяснилось, что она была арестована как член

Еврейского антифашистского комитета и осуждена к высылке в Джамбул. О том, что ей конкретно инкриминировалось, она ничего внятного сообщить не могла. По-видимому, она даже не соображала, в каких преступлениях, как член этого «преступного» сообщества, она обвиняется и в чем состоят преступления этого сообщества. Упрекнуть ее в этом нельзя. Собственный опыт убеждает, что чудовищная нелепость выдвигаемых обвинений превращает их в бред сумасшедшего, и как всякий бред его трудно воспроизвести нормальному уму. Тем более трудно было Л. С., далекой от политических нюансов, понять, о чем конкретно идет речь, особенно в обстановке, где реальность тесно переплетена с фантасмагорией. На следствии, как она нам сказала, она только признала себя виновной в том, что, будучи коммунистом, она не вникала в дела комитета, не знала его действий, не была бдительной, как подобает коммунисту, и потому не была в курсе «преступных замыслов» комитета. Единственное, что врезалось ей в память, это — «суд» (как она думала), где присутствовали все обвиняемые, т. е. весь комитет в полном составе. По-видимому, это был не суд, а очная ставка всей «преступной» группы с возможной перекрестной проверкой показаний каждого, т. к. суда в обычном понимании этого процесса в таких делах в то время не было. Все решала «тройка», и приговор каждому из обвиняемых сообщался персонально. Да и приговором, как это удалось от нее выяснить, это заседание не было завершено.

Л. С. рассказывала, что особенно тяжелое впечатление на нее произвел внешний вид Лозовского и Шимелиовича. Они производили впечатление очень измученных людей, а около Шимелиовича все время дежурила медсестра со шприцем в руках. Он был как будто сломанный физически. Мужественно держался Лозовский, отказывавшийся от показаний, данных на следствии. Когда председатель, справившись с соответствующим показанием, данным на следствии, говорил, что «на следствии вы ведь показывали другое», то Лозовский отвечал: «Вы ведь знаете, каким образом были добыты эти показания», но эту реплику председатель отвергал. В частности, Лозовский говорил: «Я не могу смотреть в глаза академику Штерн после того, что я говорил о ней на следствии, и прошу у нее прощения за это», на что опять следовали стереотипная реплика председателя и стереотипный ответ Лозовского. По-видимому, больше всех «раскололся» Фефер: Лозовский, говоря о нем, называл его «свидетель обвинения Фефер». В частности, он

подтверждал высказывания Л. С. о «родине», ее раздраженный вопрос, заданный в каком-то контексте: «Что такое родина? Моя родина — Рига»,— это высказывание она не отрицала, но смысл, конечно, она вкладывала не тот, который хотело следствие и обвинение. Кстати, следует заметить, что Л. С. отмечала свое рождение два раза в году: один раз — 26 августа — день ее биологического рождения, второй раз — 31 марта — день ее приезда в Советский Союз. При этом второе рождение она ценила гораздо больше первого, говоря, что в первом она не была виновата, и всегда с большой торжественностью отмечала день второго рождения, которое считала подлинным, поскольку оно было сознательным.

Не будем судить Фефера. Он был такой же жертвой, как все его сопроцессники, и разделил их участь.

Среди событий монотонных дней и ночей одиночного заключения в стенах Лубянки, до утомительности и отупения однообразных, Л. С. запомнился один из допросов. Я передам ее рассказ об этом допросе почти дословно. Я ручаюсь за точность смысловой и текстуальной передачи с необходимостью заменить из уважения к бумаге и читателю многие слова и выражения многоточиями или адекватными по смыслу формулами, приемлемыми для нежного «девического ушка», как это делала сама Л. С. при рассказе об этом допросе. «Ты старая б-дь,— сказал следователь,— мы знаем, зачем ты каждый год ездила за границу. Ты там вступала со всеми в половое сношение». Все это было сказано, как говорила Л. С., в циничных выражениях, о смысле которых, как она говорила, «я только догадывалась». Л. С., пытаясь обратить, со свойственным ей юмором, всю эту гнусность в шутку, возразила: «О некоторых женщинах говорят, что до 40 лет им платят, а после 40 — они платят. Ведь мне уже далеко за сорок, если бы было так, как вы говорите, то у меня не хватило бы никаких средств, чтобы расплатиться...» Действительно, ей в эту подлую пору было уже много за 70, но мало изобретательный цинизм сотрудников МГБ не пощадил и старую женщину-академика. Продолжаю рассказ Л. С. В ответ на реплику Л. С. следователь начал: «Мать твою... мать твою... мать твою... мать твою...» Я ему говорю: «При чем тут мать, она давно умерла, какое она имеет отношение к антифашистскому комитету?» Он продолжает свое: мать твою, мать твою. Тогда я ему говорю: я догадываюсь, что вы хотите скомпрометировать мою мать, но хоть бы вы разъяснили смысл вашего, как мне кажется, циничного выражения. А он продолжает свое:

мать твою, мать твою...» Площадная ругань — один из стереотипных приемов следователей МГБ, доведение до сознания подследственного, что он не академик, даже не человек, а «г-но собачье». Мне рассказывал В. В. Парин, что в период пребывания Н. И. Вавилова в Саратовской тюрьме, когда в общую камеру поступал новый заключенный, Н. И. Вавилов представлял ему себя следующим образом: «Вавилов, бывший академик, а теперь говно собачье». Вероятно, эту мерзость внушал ему следователь. Впрочем, и все остальные бесконечные дни и ночи, проведенные во внутренней тюрьме МГБ, далеко не были ни физическим, ни моральным санаторием. Для этого надо знать и представить быт этого учреждения с его парашами и прочими аксессуарами режима. В частности, можно легко представить трудности этого режима для слабосильной старой женщины в возрасте около 75 лет, справлявшейся с бытовыми трудностями в нормальных условиях только с помощью близких ей людей. В камере, где она некоторое время пребывала в обществе еще двух заключенных женщин, она с трудом справлялась с требованиями к ней мыть полы, убирать камеру, выносить парашу, когда на нее падала очередь выполнения этих мероприятий. Немало издевательств и упреков в неопрятности со стороны односидельцев пришлось вынести старой женщине-академику за много лет проживания в камере подследственной тюрьмы МГБ.

Самым страшным эпизодом многолетнего пребывания Л. С. в заключении был ее перевод в Лефортовскую тюрьму, где она пробыла 20 суток. Это — тюрьма спецрежима, как мне разъяснил мой следователь, и Л. С. охарактеризовала ее как «преддверие ада». По-видимому, она побывала в карцере, поскольку, как она говорила, были дни, когда она могла только стоять, да и сидячее положение в одиночной камере этой тюрьмы (я провел в ней два месяца) только розовый оптимист назвал бы комфортом.

Дело Еврейского антифашистского комитета, как известно, закончилось смертной казнью всех его членов. Они были застрелены 12 августа 1952 года. Вне этой кары осталась, вероятно, только Л. С. Штерн. Чем объяснить такое снисхождение к ней — сказать невозможно. Но несомненно, что были какие-то (отнюдь не гуманные, конечно) соображения ее пощадить. Она была осуждена к высылке в Среднюю Азию на 5 лет без конфискации имущества. Ей предложили указать пункт, где она хотела бы провести ссылку. Она назвала Алма-Ату, где она была в эвакуации во время войны, но в этом ей было отказано

(по-видимому, столицы союзных республик исключались из места ссылки). Так она попала в Джамбул. Ей были возвращены изъятые при аресте драгоценности и деньги.

При ее расторопности и ориентации в вопросах быта, да еще в чужом городе, можно представить, какие все это создавало для нее трудности. При ее доверчивости к проходимцам ее обволокли какие-то люди (кажется, тоже ссыльные) и обворовали дочиста, забрав все драгоценности, а их было немало. Так замкнулась цепь пророчеств, которыми ее напутствовали друзья в Женеве при отъезде в Советский Союз. Единственное ошибочное звено в этой цепи — ссылка не в Сибирь, а в Среднюю Азию...

После возвращения в Москву ей была возвращена ее жилплощадь из двух комнат в общей квартире на Староконюшенном переулке, бывшая в течение всего периода ее отсутствия опечатанной. Тучи молн заполнили комнаты по раскрытии шкафов, где оставались носильные вещи Л. С. Ей была возвращена ее дача в академическом поселке «Мозжинка», и постепенно восстановился ее быт. Она не была исключена из состава академиков Академии наук СССР. За время ее отсутствия накопилась огромная сумма денег за звание академика (500 р. в месяц), которая была ей выдана.

Гораздо медленнее шло политическое восстановление. Она была не реабилитирована, а амнистирована, и процесс восстановления в партии шел медленнее, пока амнистия не была заменена реабилитацией. В конце концов, все же было восстановлено ее политическое и общественное лицо. Постановлением президиума Академии ей разрешено было организовать лабораторию для продолжения ее научных исследований с надлежащей помощью для этого. Такая лаборатория была организована, к ней вернулись ее старые сотрудники; лаборатория весьма продуктивно работала, завоевала прочную репутацию научного центра, где разрабатывалась проблема барьерных механизмов, которой была посвящена почти вся научная жизнь Лины Соломоновны Штерн. Этой проблеме было посвящено несколько всесоюзных конференций, имевших большой научный успех. Лина Соломоновна скончалась весной 1968 года, не дожив нескольких месяцев до 90 лет.

Осенью 1978 года состоялась специальная широкая конференция, посвященная столетию со дня рождения Л. С. Штерн, память о которой хранят немногие оставшиеся в живых ее ученики и сотрудники.

Кому из советских людей середины двадцатого столетия не было известно имя О. Б. Лепешинской? Его воспевали поэты, ему были посвящены пьесы невзыскательных и падких на сенсацию драматургов, спектакли в драматических театрах Советского Союза. Это имя входило в учебники средней и высшей школы, как автора крупнейшего открытия в биологии, а самое существо открытия — в обязательную программу преподавания в курсе дарвинизма! Вознесенное волею сталинской эпохи на вершину научной славы, оно в то же время стало символом позора, в который была ввергнута советская наука.

Носитель этого имени — Ольга Борисовна Лепешинская,— старушка, небольшого роста, хромая, всегда поэтому не выпускавшая палку из рук. Маленькое, острое личико с глубокими крупными морщинами украшено очками, из-под которых бросался подслеповатый, то добродушный, то рассерженный (но, в общем, незлой) взгляд. Старушка была, по-видимому, плохо ухожена в быту даже в рассвете своей славы. Одета чрезвычайно просто и старомодно. На кофте медная заколка, изображающая наш корабль «Комсомол», потопленный испанскими фашистами во время гражданской войны в Испании в 1935—1936 годах. Я как-то сказал Ольге Борисовне, что этот корабль нашел не очень тихую пристань у нее на груди. Шутку она терпела, относясь к ней снисходительно.

О. Б. Лепешинская — человек сложной биографии и сложной судьбы. Рассматривать их надо в двух планах, до известной степени независимых, но все же связанных между собой. В таких двух планах надо рассматривать ее характерологические черты.

Один план — это биография члена партии почти с момента ее основания, впитавшего черты старого большевика и традиции партии. Жизнь ее и ее мужа — Пантелеймона Николаевича Лепешинского — в разные периоды переплеталась с жизнью В. И. Ленина, личными друзьями которого и Н. К. Крупской оба они, особенно Пантелеймон Николаевич, были. Она неоднократно выступала в докладах и в печати с воспоминаниями о встречах с В. И. Лениным и внесла много интересных материалов для его характеристики, как живого человека.

В непосредственном общении с Ольгой Борисовной подкупала ее демократичность без дифференциации чинов и

званий, может быть, только несколько подпорченная табелью о рангах сталинской империи. Большевистская закалка проявлялась в прямоте и резкости суждений и полемических высказываний, независимо от ранга оппонента, в отвращении ко всякому проявлению антисемитизма; высшая мера отрицательной характеристики человека в ее определении была «он юдофоб» (она употребляла дореволюционный синоним антисемита — юдофоб, юдофобство). Простота в обращении сочеталась с приветливостью. Она, несомненно, была человеком незлым и отзывчивым, может быть, даже добрым в бытовом понятии. Она воспитала многих бездомных детей (кажется, человек 6—8) в качестве приемных внуков, дала им образование и путевки в жизнь. Большевистская закалка проявлялась в упорной и бескомпромиссной борьбе, которую она длительное время вела с могущественной в научном отношении группой ученых, научной элитой, при отстаивании своих научных концепций. Правда, здесь она была не одинока, имея могущественную поддержку всесильного в то время Т. Д. Лысенко. По законам диалектики черты большевика, его боевитость, обернулись в О. Б. Лепешинской против подлинных интересов науки.

В научное исследование была вовлечена вся семья Ольги Борисовны — ее дочь Ольга Пантелеймоновна, ее зять Володя Крюков, даже приемная 10—12-летняя внучка Света. Это была семейная научная артель, в которую только не был вовлечен Пантелеймон Николаевич (скончавшийся до бурного финала «научных» достижений семьи). Более того, он не скрывал своего скептического и даже иронического отношения к научным увлечениям своей боевой супруги. Однажды мы случайно встретились в вагоне дачного поезда, и Ольга Борисовна всю дорогу посвящала меня в курс ее научных достижений со свойственной ей экспрессией. Пантелеймон Николаевич равнодушно слушал все это, и никаких эмоций на его добром, интеллигентном лице с небольшой седой бородкой не было заметно. Только вдруг, обращаясь ко мне, он произнес своим тихим, мягким голосом: «Вы ее не слушайте; она в науке ничего не смыслит и говорит сплошные глупости». Ольга Борисовна никак не отреагировала на эту выразительную рецензию, по-видимому, она для нее не была неожиданностью.

Супружеская пара — дочь и зять — не проявляла большой научной активности, они были спутниками своей вулканической матери, входя в штат научных сотрудников лаборатории цитологии Института морфологии АМН СССР,

возглавляемой Ольгой Борисовной. Неясно даже, имели ли они высшее специальное образование; возможно, его имел только Крюков (в описываемую пору каждому из них было около 40 лет). Что касается Ольги Пантелеймоновны, то она в непосредственном контакте производила впечатление человека, лишенного научной эрудиции в области, в которой она числилась научным исследователем.

Обстановка, в которой творила эта научная артель, была в подлинном смысле семейной. Лаборатория О. Б. Лепешинской, входившая в состав Института морфологии Академии медицинских наук, помещалась в жилом «Доме Правительства» на Берсеневской набережной, у Каменного моста. Семейству Лепешинских, старых и заслуженных членов партии, было отведено две соседствующих квартиры, одна — для жилья, другая — для научной лаборатории. Это было сделано, исходя из бытовых удобств Ольги Борисовны, чтобы она и ее научный коллектив могли творить, не отходя далеко от кроватей. Разумеется, эта обстановка мало походила на обычную обстановку научной лаборатории, требующую сложных приспособлений, особенно для тех задач, которые ставила идейный вдохновитель коллектива.

Однажды я, как заместитель директора по научной работе Института морфологии, где директором был А. И. Абрикосов, по настойчивому приглашению Ольги Борисовны посетил эту лабораторию. С Ольгой Борисовной меня связывало давнее знакомство, но в данном случае само посещение и подготовка лаборатории к нему были продиктованы пиететом к моему служебному положению. Прием был, как и следовало ожидать, очень радушным, по-видимому, к нему готовились, чтобы произвести хорошее впечатление на официальное лицо. От меня, однако, не ускользнул бутафорский характер подготовки к приему. Я застал лабораторию в состоянии бурной активности, которая должна была рассеять многочисленные, частью анекдотического содержания, слухи о ее действительной активности. Мне показали оборудование лаборатории, гордостью которой был недавно полученный английский электрический сушильный шкаф (в то время получение заграничной аппаратуры было затруднительным). Две молодые лаборантки в новых (как я заметил — еще не стиранных) белых халатах что-то усердно толкли в фарфоровых ступках. На вопрос, что они толкут, они ответили, что толкут семена свеклы. На вопрос о цели такого толчения в ступке мне ответила Ольга Пантелеймоновна, что оно должно доказать, что произрастать могут не только части семени с сохранив-

шимся зачатком ростка, но и крупицы, не содержащие его, а только «живое вещество». Затем Ольга Пантелеймоновна посвятила меня в исследование, выполняемое ею самой. Привожу текстуально эту ошеломляющую информацию: «Мы берем чернозем из-под маминых ногтей, исследуем его на живое вещество», т. е. этот опыт, по-видимому, тоже служил одним из экспериментальных обоснований зарождения живых организмов из неживого вещества. Я принял эту информацию Ольги Пантелеймоновны за шутку, но в дальнейшем я понял, что это было не шуткой, а действительной информацией о научном эксперименте.

Ярким примером могут служить научные открытия мистификатора Бошьяна. По его утверждению он «открыл закономерности превращения вирусов в визуальную бактериальную форму, а также превращения их в кристаллическую форму, способную к дальнейшей вегетации». Автор провозгласил свои открытия революцией в микробиологии и в других областях биологии. Однако быстро было установлено, что все его «открытия» — плод глубочайшего общего невежества и элементарного пренебрежения техникой бактериологического исследования, необходимость соблюдения которых известна даже школьникам. Попервоначалу, до разоблачения Бошьяна, как мистификатора и невежды, его «открытие» произвело оглушающее впечатление в стиле «открытий» Лысенко и Лепешинской. Однажды один известный деятель медицины на большом форуме, держа в руках убогую книжонку Бошьяна и потрясая ею, провозгласил: «Старая микробиология кончилась. Вот вам новая микробиология», т. е. на смену микробиологии Пастера, Коха, Эрлиха и других пришла микробиология Бошьяна. Трудно сказать, чем бы закончилось торжество этого мистификатора, но ему крупно не повезло: его не поддержали Лысенко и Лепешинская. Последняя усмотрела в его творениях плагиат их творений. В беседе со мной о Бошьяне О. Б. Лепешинская говорила о нем с пренебрежением крупного деятеля к мелкому воришке и оставила в моих руках книжонку этого автора с посвящением ей. Карьера его закончилась лишением его всех присвоенных ему ученых степеней и званий.

Возвращаюсь к моему визиту в лабораторию О. Б. Лепешинской. Я ушел из нее с впечатлением, точно я побывал в средневековье. И лишь спустя некоторое время я узнал из официальных сообщений, что я побывал на вершине научного Олимпа...

В чем же заключалось существо «открытия» О. Б. Ле-

пешинской? Для освещения его необходим краткий экскурс в некоторые основные проблемы биологии и медицины. До открытия клеточного строения организмов (30-е годы XIX века) существовало мистическое представление о бластеме, носительнице всех жизненных свойств, из которой образуются все ткани сложного организма. Совершенствование микроскопической техники, примитивной с точки зрения современной аппаратуры, позволило все же Шлейдену (1836) в области растений, а вскоре Шванну у животных (1838) открыть клетку, как основную элементарную структурную единицу живого организма. Это было открытие глобального значения, одно из величайших открытий XIX века. В дальнейшем немецкий ученый Ремак установил действующий и поныне закон новообразования и роста тканей, согласно которому всякая клетка происходит от клетки путем ее размножения и не может формироваться со всеми сложными ее деталями из неоформленной бластемы. Межклеточное вещество в неоформленном или структурно волокнисто-фибриллярном оформленном виде является производным функции клетки, но его большая роль в физиологии и патологии ни в коем случае не отрицается.

Германский ученый Р. Вирхов перенес клеточный принцип в анализ природы болезней, их существа. Свои взгляды он сформулировал в учение, названное им «Целлюлярная (или клеточная) патология» (1856), имевшее революционизирующее значение. В истории медицины стало принятым различать в ней два периода — довирховский и послевирховский. «Вся патология есть патология клетки,— провозгласил Вирхов.— Она краеугольный камень в твердыне научной медицины». Его клеточная теория происхождения болезней пришла на смену гуморальной теории, ведущей свое начало еще от Гиппократа. Эта теория, лишенная сколько-нибудь конкретных обоснований, объясняла развитие болезней результатом первичного изменения «соков» организма. Наиболее последовательный представитель гуморальной теории — Рокитанский признал, что эта теория должна уступить место целлюлярной теории Вирхова, дающей реальный субстрат болезни — клетку, вместо мистического представления о «дискразиях» (изменения соков). В аспекте исследований Лепешинской нет необходимости рассматривать во всей широте целлюлярную теорию, представляющую сложную систему взглядов, подвергнувшуюся критике еще при жизни Вирхова, в частности со стороны русских ученых, особенно Сеченова. Важным является полная поддержка и развитие

Вирховым данных Ремака о происхождении новых клеток путем размножения предсуществующих, выраженная в формуле Вирхова «Omnis cellula e cellulae» («Всякая клетка из клетки»). Эта формула была дополнена последующими исследователями словами: «Ejusdem genezis», т. е. «того же рода». Это дополнение устанавливало сохранение новообразованными клетками видовых свойств материнской, детерминированных генетическим кодом, заложенным в хромосомном аппарате клеточного ядра.

Целлюлярная патология Вирхова оставила глубочайший след в медицине и биологической науке, дала мощный толчок к их развитию, и сила этого толчка еще далеко не иссякла. Особенно это относится к законам клеточного строения организмов, перенесенного Вирховым в патологию и медицину.

О. Б. Лепешинская утверждала, что своими исследованиями она доказала полную несостоятельность основ клеточной теории и что носителем всех основных свойств организма является не клетка, а неоформленное «живое вещество». Это «живое вещество» является носителем основных жизненных процессов и из него образуются и клетки со всеми их сложными деталями. Природа «живого вещества» в исследованиях О. Б. Лепешинской не устанавливалась, это — общее, полумистическое понятие, без конкретной характеристики.

Исследования Лепешинской должны были, по ее мнению, нанести сокрушительный удар по величайшему открытию XIX века — клеточной теории вообще и вирховской формуле — «всякая клетка из клетки» — особенно. И она была убеждена, что такой удар она нанесла, и все те, кто это не признает,— заскорузлые и невежественные вирховианцы. Эта кличка, в которую вкладывалось позорящее не только в научном, но и в политическом отношении (в ту пору это часто совмещалось) содержание, принадлежит не ей. Авторы этой клички находились в шайке невежд «нового направления в патологии». Она аналогична кличке вейсманисты-менделисты-морганисты, присвоенной Лысенко и его соратникам генетикам. Теория «живого вещества» О. Б. Лепешинской возвращала биологическую науку к временам «бластемы».

История наук знает возврат к старым и, казалось, отжившим теориям. Возврат к ним происходил в таких случаях на новой ступени в движении науки по спирали с возвратом в ту же, но более высокую точку прогресса науки. Недаром бытует формула, что новое — это нередко

забытое старое, формула — часто оправданная. Но это движение по спирали всегда происходит на основе непрерывно совершенствующихся технических приемов, непрерывного их прогресса на фоне общего технического прогресса. Это требование полностью отсутствовало в работе О. Б. Лепешинской: она обходилась без него. Методические приемы О. Б. Лепешинской были настолько примитивны и настолько непрофессиональны, что все ее конкретные доказательства своей теории не выдерживали элементарной критики.

Основным объектом ее исследований были желточные шары куриного зародыша, не содержащие клеток и служащие питательным материалом для куриного эмбриона. И вот в этих желточных шарах О. Б. Лепешинская обнаружила образование клеток из «живого вещества». Просмотр ее гистологических препаратов убедил, что все это — результат грубых дефектов гистологической техники. Однако, несмотря на всеобщую такую оценку ее доказательств компетентными специалистами, она обобщила свои исследования в особой книге, которую, как она мне сообщила, хотела посвятить И. В. Сталину. Сталин, однако, от такого подарка отказался, но к самой книге отнесся с полной благосклонностью и с поддержкой содержащихся в ней идей. Это определило дальнейший ход событий.

Как же отнесся подлинный научный мир к исследованиям Лепешинской? В ответ на рекламирование ее открытия группа известных ленинградских гистологов и биологов, в которую входили такие авторитетные ученые, как Насонов, Александров, Хлопин, Кнорре и другие, числом 13, опубликовала письмо в газете «Медицинский работник». В этом письме все исследования Лепешинской подверглись уничтожающей критике. Они освещались, как продукт абсолютного невежества, технической беспомощности, в результате которой конкретные материалы Лепешинской лишены элементарного доверия. Редакция газеты, опубликовавшей это письмо, не устояла перед авторитетом авторов его, а отношение высших партийных и правительственных органов к «открытию» Лепешинской еще не было откровенным и афишированным, иначе, конечно, письмо не было бы опубликованным. Поэтому расплата авторов письма — борцов за чистоту науки — была только задержанной до коронования О. Б. Лепешинской венцом гения.

Творчество О. Б. Лепешинской не ограничилось открытием «живого вещества». Она одарила человечество своими содовыми ваннами, якобы возвращающими старым людям молодость, молодым — сохраняющими ее и предупреж-

дающими наступление старости, поддерживающими бодрость духа и тела. С докладом об этой панацее она выступила в ученом совете Института морфологии под председательством А. И. Абрикосова. В этом ученом совете были объединены наиболее авторитетные московские морфологи разных научных направлений, и им предстояло выслушать этот ошеломляющий доклад. Это было 30 лет тому назад (в 1948 или 1949 году). Оно происходило в уютном зале кафедры гистологии, на Моховой улице, вокруг большого круглого стола. Основное содержание доклада было посвящено не теоретическим предпосылкам эффективности содовых ванн (об этом было сказано нечто нечленораздельное в общем аспекте «живого вещества» и воздействия на него содовых ванн), а испытанию их влияния на больных и отдыхающих в санатории «Барвиха». Этот санаторий предназначен для самых высокопоставленных деятелей государства, партийного аппарата, заслуженных старых большевиков, ученых, артистов, писателей и т. д. Ольга Борисовна долго рассказывала о благоприятных отзывах этого контингента об эффекте содовых ванн. Стыдно было за докладчика, старого человека, и за нас самих, вынужденных слушать этот бред. По окончании доклада воцарилось тягостное молчание. А. И. Абрикосов предложил задать вопросы докладчику и умоляющим взглядом обводил присутствующих, чтобы хоть кто-нибудь нарушил это гнетущее молчание. Я разрядил обстановку озорным вопросом в стиле моего обычного иронического отношения к творчеству Ольги Борисовны. Я спросил у нее: «А вместо соды — боржом можно?» Но до Ольги Борисовны юмор не дошел. Она отнеслась к вопросу с полной серьезностью, ответив, что нужна только сода и заменить ее боржомом нельзя.

Предложение Ольги Борисовны получило большой резонанс в массах; оно рекламировалось разными способами. В результате этого из магазинов исчезла сода, она стала остродефицитным продуктом, будучи использованной главным образом на содовые ванны. Это было обычное проявление массового психоза людей, относящихся с некритическим или даже скептическим, но с доверием к рекламируемым лечебным и профилактическим воздействиям — авось действительно поможет, тем более — омолодиться. Но этот психоз быстро прошел, сода снова появилась в продаже, а от самого метода остались только анекдоты.

Доклад Ольги Борисовны об омолаживающем действии содовых ванн обострил ее отношения с партийной организацией Института. Бессодержательность работы лабора-

рии, руководимой Ольгой Борисовной, семейственность внутри лаборатории при отсутствии элементарной лабораторной дисциплины были источником длительных конфликтов между Ольгой Борисовной и секретарем партийной организации Д. С. Комиссарук. Я, однако, полагал, что Лепешинская своей прошлой деятельностью заслуживает известной снисходительности, что наука — это для нее не профессия, а хобби, что это — безобидная блажь, мешать которой не следует, тем более что сроки этой блажи ограничены возрастом (ей было около 80 лет), и к ней надо относиться только с юмором, что я и делал. Я даже как-то сделал Ольге Борисовне предложение следующего содержания. Это было уже после ее «коронации», в «Доме ученых», в перерыве какой-то конференции. С группой участников мы сидели в голубом зале Дома ученых, когда туда вошла О. Б., как обычно с палкой и с гордо поднятой в полном самодовольстве головой. Я ей сказал: «Ольга Борисовна, вы теперь самая завидная невеста в Москве. Выходите за меня замуж, а детей будем делать из живого вещества». Предложение это, как мне передавали много лет спустя, обошло научный мир с разными комментариями. Я был убежден, что ни один ученый не может вступить с ней в серьезную дискуссию за отсутствием в ее исследованиях мало-мальских серьезных материалов для дискуссии. События, однако, показали, что я был неправ. Я не подозревал, что псевдонаучная деятельность для Ольги Борисовны — не хобби, что в старушке сидит червь гигантского честолюбия, что она замахивается ни больше ни меньше, как на революцию в биологических науках. В результате всех конфликтов с партийной организацией лаборатория Ольги Борисовны вышла из состава Института морфологии, чего она мстительно не забыла до конца своей жизни. Она перешла со своей лабораторией в состав Института экспериментальной биологии Академии медицинских наук, руководство которого в лице директора И. М. Майского и Н. Н. Жукова-Вережникова, несомненно, видело в лице О. Б. Лепешинской фактор собственного карьерного выдвижения.

Была устроена специальная закрытая конференция для обсуждения исследований Ольги Борисовны. В ней приняли участие виднейшие ученые по специальному приглашению, причем выбор приглашенных был, несомненно, тщательно подготовлен и ограничен теми, на кого можно было заранее рассчитывать, что они поддержат признание работ Лепешинской величайшим достижением. Подготовка

к конференции была произведена и в отиошении документальных материалов Ольги Борисовны. Так как ее собствениые препараты, на которых оиа делала свои сиогсшибательные выводы, демонстрировать было нельзя ввиду отсутствия в них даже ничтожных призиаков профессионального мастерства, то поручеио было профессору Г. К. Хрущеву приготовить удовлетворительные в техническом отиошении гистологические препараты, которые можно было бы выставить для поверхностиого обзора в микроскопе. Так 22—24 мая 1950 года был разыграи в отделеиии биологических наук Академии наук СССР позорнейший спектакль под титлом: «Совещаиие по проблеме живого вещества и развития клеток» под общим руководством академика А. И. Опарииа, главы отделения биологических наук. Его выступление было увертюрой к этому спектаклю, разыгранному организоваиной труппой в составе 27 ученых в присутствии публики (тоже организованной) в количестве более 100 человек. Имена этих артистов заслуживают того, чтобы быть увековеченными; они увековечены в издаиином Академией наук СССР стеиографическом отчете (изд. АН СССР, 1950 г.) об этом совещании, назиачеиием которого было одарить мир величайшим иаучиым открытием. Многие из них понимали, коиечио, какая позориая роль была им иавязаиа, которую оии приняли, хотя и пытались в дальнейшем отмыться от этой грязи. Джордано Бруно среди иих ие было. Ведь весь состав совещания был тщательно профильтрован с точки зрения послушаиия. Галилеи могли бы быть, но им вход иа совещание был предусмотрительно закрыт.

После увертюры А. И. Опарина с докладом выступило семейное трио в составе О. Б. Лепешинской, ее дочери О. П. Лепешинской, ее зятя В. Г. Крюкова. В пристяжке к этой тройке был некий Сорокин, сотрудник О. Б. Лепешинской, с ветеринариым образоваиием, откровениый психопат. Он выступил с убогим докладом о работе, кстати не имевшей иикакого отиошеиия к проблеме «живого вещества», выполненной им во время пребывания в аспирантуре в Институте физиологии Л. С. Штерн. В докладчики ои был видвинут, по-видимому, по признаку гениальиости и верноподдаинничества Лепешиикской; это был уже квартет. Излагать содержание всех докладов нет никакой необходимости, да и — возможности. Это был систематизироваииый бред, прикосновение к которому с элемеитарной иаучиой требовательностью оставило бы от них только дым. Основиой доклад самой О. Б. Лепешиикской, иачииеный руганью по адресу вирховианцев, был изрядно приправлеи философско-

политической демагогией, с частыми ссылками на марксистско-ленинскую литературу и, особенно,— на Сталина. Ему же она посвящает финал своего доклада, который заслуживает быть приведенным текстуально, так как им одним можно было бы заменить весь доклад с тем же действенным успехом: «Заканчивая, я хочу принести самую глубокую, самую сердечную благодарность нашему великому учителю и другу, гениальнейшему из всех ученых, вождю передовой науки, дорогому товарищу Сталину. Учение его, каждое высказывание по вопросам науки было для меня действительной программой и колоссальной поддержкой в моей длительной и нелегкой борьбе с монополистами в науке, идеалистами всех мастей. Да здравствует наш великий Сталин, великий вождь мирового пролетариата!»

Таким славословием заканчивались многие доклады того времени и многие выступления. Это был своеобразный демагогический щит любого невежества, защищавший автора от объективной научной критики и вызывавший гром аплодисментов, как это было и в данном случае. Попробуй после этого грома — покритикуй! Мне известен один профессор медицинского института, которого упрекали в плохом чтении лекций и убожестве их научного содержания. Он возмущенно отводил эти упреки, указывая, что каждая его лекция заканчивается аплодисментами аудитории, и он не лгал. Оказалось, что он заканчивал свою лекцию всякий раз ссылкой на Сталина, как на величайшего гения медицинской науки, иждивением которого резко снижена заболеваемость болезнью, которой была посвящена лекция. Прием для того времени трафаретный и беспроигрышный. Он имеет литературный прототип в лице чеховской жены пристава, которая, когда он начинал ругаться, садилась за рояль и играла «Боже, царя храни». Пристав умолкал, становился во фронт и подносил руку к виску. Ольга Борисовна имела право на ссылку на Сталина, непосредственно или косвенно (через Лысенко) получив благословение великого гения всех времен и народов и его поддержку. Без этого ее притязания на роль реформатора биологии имели бы только значение курьеза, каких было немало в истории биологии и медицины. Должен покаяться, что я долгое время относился к ее открытиям как к курьезу, пока совещание и все, что за ним последовало, не убедило меня в реальной угрозе науке и ученым, какую несет этот курьез.

Приводить содержание выступлений всех 27 трубадуров О. Л. Лепешинской невозможно. Их объединяло бескомпромиссное славословие с разной степенью угодливости

и восторженного преклонения перед гениальным открытием и его автором. Подавляющее большинство трубадуров даже не пыталось подвергнуть хотя бы и доброжелательной критике материалы исследования. Факты их не интересовали (да они выходили далеко за пределы их компетенции); они принимали их, как бесспорные по доказательности, что давало им возможность ничем не сдерживаемого разглагольствования по общим вопросам философии естествознания и по значению открытия О. Б. Лепешинской. Среди них были откровенные проходимцы, карьеристы и невежды, для которых хилая старуха была мощным трамплином к академической и служебной карьере, и их участие в этом позорном спектакле — закономерно; удивительно было бы, если бы они не принимали в нем участия. Гораздо более символично для эпохи — участие крупных ученых, таких как академики З. Н. Павловский, Н. Н. Аничков, А. А. Имшенецкий, А. Д. Сперанский, В. Д. Тимаков, И. В. Давыдовский, С. Е. Северин и др. Они нужны были как своеобразная академическая оправа для придания высокой авторитетности совещанию. Они, конечно, «ведали, что творили», отнюдь не будучи новичками в науке. В этом созвездии имен, вероятно, единственным убежденным, верующим невеждой, был академик Т. Д. Лысенко. «Открытия» О. Б. Лепешинской были состряпаны из тех же теоретических предпосылок и из той же системы Лысенко: эти два «корифея» нашли друг друга. В своем выступлении он повторил основные положения своего «учения» в следующей цитате: «Теперь уже накоплен большой фактический материал, говорящий о том, что рожь может порождаться пшеницей, причем разные виды пшеницы могут порождать рожь. Те же самые виды пшеницы могут порождать ячмень. Рожь также может порождать пшеницу. Овес может порождать овсюг и т. д.» Как же происходит эта вакханалия превращения одного вида в другой и воспроизводство одних видов другими? Ответ на эти вопросы Лысенко получил в «открытии» Лепешинской. «Работы Лепешинской,— сказал он,— показавшие, что клетки могут образовываться и не из клеток, помогают нам строить теорию превращения одних видов в другие». Лысенко представляет дело не так, что, «например, клетка тела пшеничного растения превратилась в клетку тела ржи», а представляет это, исходя из работ Лепешинской, так: «В теле пшеничного растительного организма, при воздействии соответствующих условий жизни, зарождаются крупинки ржаного тела... Это происходит путем возникновения в недрах тела организма данного

вида из вещества, не имеющего клеточной структуры («живого вещества».— *Я. Р.*), крупинок тела другого вида... Из них уже потом формируются клетки и зачатки другого вида. Вот что дает нам для разработки теории видообразования работа О. Б. Лепешинской».

Прочитав эти строки, я вспомнил лаборантов в лаборатории О. Б. Лепешинской, толкущих в ступках зерна свеклы; это не было «толчение в ступе», а экспериментальная разработка величайших открытий в биологии, совершаемых подпиравшими друг друга маниакальными невеждами.

Среди выступавших по сценарию спектакля наиболее сдержанным было выступление академика Н. Н. Аничкова, президента Академии медицинских наук. Он не рассыпался в безудержном восхвалении работ О. Б. Лепешинской, а, кратко повторив их смысл, указал, что он видел некоторые препараты О. Б. Лепешинской (изготовленные Г. К. Хрущевым.— *Я. Р.*), но, конечно, не мог их углубленно изучить — на это потребовалось бы очень много времени. Мне были показаны такого рода структуры и превращения, говорил он, «которыми действительно можно иллюстрировать происхождение клетки из внеклеточного живого вещества. Конечно, желательно накопить как можно больше таких данных на разных объектах... Это — необходимое условие для перехода на принципиально новые позиции в биологии, а фактическая сторона должна быть представлена возможно полнее, чтобы новые взгляды были приняты даже теми учеными, которые стоят на противоположных позициях». Далее он дает вежливую дань упорной и целеустремленной борьбе О. Б. Лепешинской за признание ее открытия, для дальнейшей разработки которого ей необходимо создать соответствующие условия. Другие выступавшие были менее щепетильны в признании доказательности фактических материалов О. Б. Лепешинской. В этом отношении особенно поразившим меня было выступление академика Академии медицинских наук И. В. Давыдовского, одного из лидеров советской патологической анатомии. Процитирую только начало и конец его выступления. Начало: «Книга О. Б. Лепешинской, ее доклад и демонстрации, а также прения у меня лично не оставляют никакого сомнения в том, что она находится на совершенно верном пути». Конец: «В заключение я не могу не выразить О. Б. Лепешинской благодарности от лица советских патологов за ту острую критику и свежую струю, которую она внесла в науку. Это, несомненно, создаст новые перспективы для развития советской патологии». Мне недавно передавали, со слов

И. В. Давыдовского, что он будто бы вынужден был выполнить «высокое» поручение. Совершенно распластался перед Лепешинской академик А. Д. Сперанский, перед ее мужеством, с каким она преодолевала сопротивление своих идейных противников. Никакого научного содержания в его выступлении, состоящем из набора пышных фраз, не было. Это был полубредовый (или полупьяный) экстаз захлебнувшегося от восторга академика: «Только старый большевик, каким является О. Б. Лепешинская, в состоянии был преодолеть эти насмешки и подойти к такой форме доказательств, которые могут убедить других. Лично мне было бы печально, если бы только из-за методических недостатков дело О. Б. Лепешинской, дело нашей, советской науки было бы дискредитировано, если бы наша наука подверглась насмешливому к себе отношению со стороны лиц, всегда готовых к подобным издевательствам». В этой фразе звучат и автобиографические нотки, скрытая месть за те насмешки, которым неоднократно подвергались «открытия» самого А. Д. Сперанского. Не очень щепетильный в доказательности материалов своих собственных исследований и широких выводов из них, Сперанский с теми же мерками подходит к «открытиям» Лепешинской. Они нашли у него глубокий отклик с циничным признанием того положения, что создание теории не требует методической безупречности доказательств. Если их нет, то тем хуже для них, а не для теории.

Приведенное краткое содержание выступления четырех академиков не нуждается в комментариях. Лишь два участника совещания в своих выступлениях коснулись доказательности фактического материала, легшего в основу «открытия» О. Б. Лепешинской. Один из них — Г. К. Хрущев, директор Института морфологии развития Академии наук СССР, вскоре избранный в члены-корреспонденты Академии. Он изготовил гистологические препараты для демонстрации на совещании и, разумеется, удостоверил их убедительность. Закончил свое выступление Г. К. Хрущев необходимостью решительного искоренения пережитков вирховианства и вейсманизма и стереотипным выводом, что «Работы О. Б. Лепешинской с полной очевидностью демонстрируют, что, следуя ленинско-сталинскому учению развития, можно вскрыть действительные закономерности органического мира». Другой профессор М. А. Барон, крупный гистолог, зав. кафедрой гистологии 1-го Московского медицинского института. В своем выступлении он отметил, что препараты, изготовленные Г. К. Хрущевым, убедили

его в правильности трактовки О. Б. Лепешинской. Чем была продиктована его, ученого чрезвычайно требовательного к морфологической методике и великолепно ею владеющего, смена резко отрицательного отношения к работам Лепешинской признанием их доказательности — сказать трудно. Вероятно, здесь действовал психологический эффект: давление сверху, к которому он был чувствителен, и доверчивость к препаратам, автором которых был его коллега — Г. К. Хрущев. В дальнейшем он был жестоко наказан самой же Лепешинской, сотрудник которой — некий Сорокин — обвинил его в научном плагиате. Обвинение было поддержано Лепешинской и И. В. Давыдовским со всеми вытекающими последствиями.

В общем, это был не академически выдержанный форум, со строгим подходом к экспериментальным материалам и к их объективной оценке, а коллективный экзальтированный экстаз перед великим открытием, сдерживаемый и не сдерживаемый, тщательно разыгранный. Ни одного человека среди участников не нашлось, который бы, подобно наивному ребенку, сказал, что королева голая. Наивных детей среди них не было, вход наивным детям на это совещание был тщательно закрыт, а подвижников науки среди присутствовавших не нашлось. Ведь эта роль требует жертвенности! Среди выступавших у немногих хватило научной совести последовать совету А. С. Пушкина «В подлости хранить осанку благородства».

Естественно возникает вопрос о том, какие силы заставили подлинных ученых (не все среди выступавших были отпетые проходимцы и подонки) сыграть предложенную им позорную роль. Здесь действовали факторы и психологические, и социально-политические. Психологический заключался в отборе людей уступчивых воле государственных олимпийцев, не могущих ей противостоять, податливых на указания свыше и исполнителей их. Это — клика обласканных властью, дорожащих этой лаской, поскольку она влекла за собой многие привилегии. В дополнение к этому подсознательная и сознательная боязнь потерять уже заработанные привилегии и лишиться последующих нередко двигала на подлые поступки. Психологический фактор действовал и в другой форме. Я имею в виду подлинных единичных ученых, терявших чувство реальности и критерии подлинной науки. Надо было в действительности иметь твердую голову, чтобы в вакханалии невежества и торжества его в сталинские времена, когда часто наукой

объявлялось мракобесие, не утратить чувство подлинности в науке, симптомы чего имелись.

Вовлечение ученых в заведомо подлую роль было частным случаем системы массового развращения необходимых сталинскому режиму представителей науки, литературы, поэзии, живописи, музыки и др., ликвидации традиционных представлений о благородстве, доброжелательности, мужестве, честности, всего того, что входит в краткое, но емкое слово — совесть. Благодаря этой системе корона гениальности была возложена на вздорную, невежественную голову. Послушные воле организаторов спектакля, все единодушно признали исследования О. Б. Лепешинской доказательными для их революционизирующего значения в науке. Сама она признана великим ученым, что было подтверждено присуждением ей Сталинской премии 1-й степени и избранием в академики Академии медицинских наук. Так была оформлена революция в биологических науках, так завершился акт уже не индивидуального, а коллективного бесстыдства. Это торжество мракобесия произошло в 1950 году, в век атома, космоса и великих открытий в области биологии! «Живое вещество» победило разум.

На Ольгу Борисовну обрушился поток безудержного восхваления с разных сторон при участии всех возможных механизмов пропаганды: литература, поэзия, радио, телевидение, театры и т. д., за исключением, кажется, только композиторов; они не успели в него включиться. Профессорам медицинских вузов было вменено в обязанность в каждой лекции цитировать учение Лепешинской.

Я не был на собрании ученых города Москвы в Колонном зале Дома союзов. Присутствовавшие мне передавали, что при появлении в президиуме О. Б. Лепешинской все заполнившие огромный зал научные работники встали и, стоя, бурными овациями приветствовали новоявленного гения. Можно не сомневаться в искренности лишь ничтожной части аплодисментов. Остальные хлопали по закону стадности. Самая трезвая голова навряд ли могла устоять перед этим потоком. Можно ли упрекнуть женщину на пороге 80 лет, что этот поток увлек следы скромности, если они и были у нее? Ей хотелось, чтобы у ее ног был весь научный мир, особенно тот, который не признавал ее достижений. На эту часть мира услужливый аппарат власти обрушил свой тяжелый молот возмездия с разной степенью кары. В первую очередь это коснулось группы ленинградских ученых. Но Ольга Борисовна охотно давала отпущение грехов покаявшимся в них. Так, профессор К., один из наибо-

лее активных критиков ее работ, посетив ее, несколько мгновений постоял у двери, а затем кинулся ей на шею, как она мне рассказала. Она охотно приняла его в свои объятья и после короткой беседы отпустила его с евангельским напутствием: «Иди и не греши». Рассказывая мне об этом визите, с полным самодовольством, она высказала свое сокровенное желание, чтобы с покаянием к ней пришел профессор Н. Г. Хлопин, самый упорный из ее противников. Здесь мне впервые изменило мое ироническое отношение к ней, и я с резкостью возразил ей, что этого она не дождется *. Разговор кончился бурной перепалкой, в которой я с полной откровенностью сказал ей все, что думаю об ее «открытии». В запальчивой контраргументации (это была не добродушная старушка, а разъяренная тигрица) она кричала, что в США назначена большая премия тому, кто опровергнет ее работы, а в Чехословакии четыре лаборатории их подтвердили. Я ответил, что для меня эта аргументация не убедительна, что если это так, как говорит она, то и в США и в Чехословакии на ней заработают деньги — одни — за опровержение, другие — за подтверждение. Это была одна из последних наших встреч (лето 1951 года), случайным свидетелем которой был мой сосед по даче, известный ученый в социально-экономической области, слышавший всю эту перепалку. Отголоски ее дошли до меня (при косвенном и непроизвольном его участии) в 1953 году, проделав длинный путь из Фрунзенской в Лефортовскую тюрьму, где я в то время находился. Что касается моего прогноза в отношении поведения Н. Г. Хлопина, то я ошибся, но его упорство стоило ему тяжелой болезни и преждевременной смерти.

Другому крупному ее противнику пришлось все же сдаться. Я имею в виду академика Д. Н. Насонова, крупного ученого, гордого и самолюбивого ленинградца, аристократа науки. Дважды я был невольным свидетелем его унижения и хочу описать его в качестве одного из проявлений общественного климата. Первый раз это было вскоре после «коронации» Лепешинской, когда на него и его сотрудников обрушились репрессии за инакомыслие. Он сидел в холле Академии медицинских наук за столиком, принадлежавшим техническому сотруднику Академии Белле Семеновне, с находившимся на нем телефоном. Белла Семеновна отсутствовала, он занял ее стол и, читая какую-то беллетристи-

* К сожалению, Н. Г. Хлопин в конце концов вынужден был «признать» «открытие» Лепешинской во имя спасения своей лаборатории.

ческую книгу, время от времени звонил в ЦК партии заведующему отделом науки Ю. А. Жданову, дожидаясь приема у него и рассчитывая на него. Как это было принято в то время у крупных руководителей, они через секретаря не отказывали в приеме, они были заняты целый день на заседаниях, коротких деловых отлучках и т. д., о чем секретарь информировал ожидающего приема, советуя позвонить через полчаса, час и т. д. Наотрез отказать в приеме академику неудобно, надо это чем-то мотивировать, проще использовать отработанное бюрократическое лицемерие, чтобы в случае какой-либо необходимости в дальнейшем сослаться на свою занятость, лишавшую его удовольствия беседы с академиком. Так и просидел целый день академик Д. Н. Насонов за столиком Беллы Семеновны, отвечая на частые звонки, адресованные ей, быстро усвоенным канцелярски-любезным тоном: «Белла Семеновна сейчас отсутствует. Когда будет — не знаю, позвоните, пожалуйста, через час». Так в первый раз в моем присутствии был унижен академик Насонов.

Второй раз это было на сессии Академии наук летом в Доме ученых, когда он выступил с покаянием (на покаяние тоже надо было получить согласие власть придержащих, чтобы оно было принято). После покаяния он выскочил в фойе, закрыв лицо руками с возгласами: «Как стыдно!»

Какой же отклик получило открытие Лепешинской в зарубежном мире? До меня дошел только отклик в германском журнале «Общая патология и патологическая анатомия» («Zentralblat allgemeine Patologie und Patogische anatomi»), издающемся в ГДР (зарубежные журналы в ту пору «борьбы с низкопоклонством перед Западом» были практически недоступны). Этот журнал поместил без комментариев информацию о состоявшемся открытии, сообщение о котором в советских источниках сопровождалось резкой критикой принципа «всякая клетка из клетки», а все учение Вирхова, которого в Германии (да и во всем мире) включают в список гениальных творцов науки, объявлялось реакционным, нанесшим огромный вред науке. Излагая вкратце содержание информации об открытии Лепешинской и технических методов открытия, журнал писал, что таким методом была окраска гистологических препаратов борным кармином по Гренахеру. Сообщение о применении этого элементарного метода XIX века для мирового открытия XX века журнал сопроводил взятым в скобки восклицательным знаком. Этот восклицательный знак был единственным комментарием журнала к сообщению об «открытии» Лепешинской. Сдержанно-скептическое отношение

патологов в ГДР, однако, не было примером для руководящих партийных и правительственных органов в других странах социалистического содружества. По-видимому, следуя указаниям из центра этого содружества, они признали «открытия» Лысенко и Лепешинской величайшими достижениями мировой науки, опираясь на которые должна развиваться и наука в этих странах. Особенно показательно в смысле навязывания странам социалистического содружества идей Лысенко — Лепешинской является свидетельство известного польского физика Лепольда Инфельда, ученика и сотрудника А. Эйнштейна. В течение длительного времени Инфельд жил и работал в США и в Канаде. В 1950 году по приглашению польского правительства он вернулся в Польшу. Он пишет в своих воспоминаниях (журнал «Новый мир», 1965 г., № 9) о том недоумении, которое у него, привыкшего к независимости научного творчества, вызвали общие директивные указания польского правительства руководствоваться в науке идеями Лысенко и Лепешинской. Особенно странное впечатление, как он пишет, на него произвела «тронная речь» назначенного первого президента Польской академии наук Дембовского при открытии Академии. В этой речи Дембовский указал, что польская наука должна следовать по пути, указанному Лысенко и Лепешинской. Инфельд подчеркивает — не по пути Кюри-Складовской и Смолуховского, чьи имена украшают польскую науку, а именно — по пути Лысенко и Лепешинской. Эти и ряд других строк из мемуаров Л. Инфельда являются примером того, как в последний период «культа личности» и в странах социалистического содружества политика грубо вторгалась в управление наукой, во все ее детали.

Научная активность О. Б. Лепешинской не снизилась и после «коронации». Она подарила миру еще одно открытие, в которое она меня посвятила при одной встрече на даче. Она решила, что телевидение разрушает живое вещество. Что привело ее к такому открытию — она не сообщила. Разумеется, она это открытие не удержала при себе, а, заботясь о благе человечества, сообщила о нем в надлежащие инстанции. К ней приезжал встревоженный «начальник телевидения», как она мне назвала его, и нашел ее открытие очень важным. Судя по всему, однако, оно прошло для телевидения бесследно. По-видимому, практика здесь отстала от науки!

Идеи не только О. Б. Лепешинской, но и ее дочери О. П. настойчиво рекомендовались к внедрению в исследования научных учреждений. Большую активность в этом отно-

шении проявлял вице-президент Академии медицинских наук СССР в ту пору Н. Н. Жуков-Вережников. В различных научных учреждениях идеи Лепешинской находили своих адептов, так как открывали кратчайший и беспроигрышный путь к диссертациям. Был открыт клапан дешевого карьеризма, наряду с оболваниванием легковерных.

Литературным примером такого оболванивания легковерных может служить статья некоего профессора Мелконяна, зав. кафедрой хирургии Ереванского мед. института. Статья появилась в 1951 году, в респектабельном журнале Академии наук — «Успехи современной биологии» (его в ту пору называли «Потехи современной биологии»), редактором которого тогда был профессор гистологии А. Н. Студитский, тоже активный поклонник идей Лысенко и Лепешинской. В своей статье профессор Мелконян пишет, что в маленьком музее при его кафедре хирургии была банка с содержащимися в формалине пузырями эхинококка, извлеченными им при операции из большеберцовой кости больного. Эту банку с пузырями он в течение многих лет демонстрировал студентам на лекциях, и в течение многих лет пузыри сохраняли свой обычный вид. Однажды, готовясь к лекции, он извлек из шкафа эту банку и увидел, что пузырей там нет и, вместо прозрачного раствора формалина, в ней содержится грязного вида бурая, подозрительная жидкость с скверным запахом, с погруженными в нее костями. Сперва он решил, что это, как он пишет, чье-то «озорничество» (!), но затем в голове его мелькнула мысль, что вдруг это не «озорничество», а эксперимент, который ставит природа, и мимо него проходить нельзя. Он извлек из банки кости разных размеров, обычного вида и оставил банку с жидкостью в шкафу. На другой день, заглянув в банку, он снова увидел в ней такие же кости. Его подозрение о природном эксперименте усилилось, и для подтверждения его он снова извлек кости, поместил банку, не меняя жидкости, в сейф, чтобы исключить «озорничество». Результат был тот же. Тогда он окончательно убедился, что перед ним явление природы, которому он в своей статье дает следующее объяснение. При удалении пузырей эхинококка из кости вместе с пузырями в банку попали частицы кости. Формалин не окончательно лишил их жизненных свойств, которые пробудились спустя несколько лет и выразились в росте этих костей.

Этот бред солидный журнал опубликовал с призывом к читателям присылать в журнал материалы подобных наблюдений ввиду их большого научного интереса.

Сам редактор журиала А. Н. Студитский известеи сенсациониым исследованием. Он извлекал у животиого прямую мышцу бедра из ее ложа и превращал ее в кашицеобразную массу. Этой массой он заполиял затем освободившееся ложе. Спустя некоторое время на месте этой массы образовалась нормально сформированная и функционирующая мышца. За эту работу ему и его сотруднице А. Р. Стригаиовой была присуждеиа Сталииская премия. Вскоре А. Р. Стригаиова отмежевалась от этой работы, и возиик конфликт между ней и шефом.

Торжество О. Б. Лепешинской продолжалось и подстегивалось различными способами, ему не давали остыть, и горючее для иего подбрасывалось иепрерывно. Однажды в летиий деиь 1951 года я, будучи на даче, был удивлеи пронесшейся по тихим просекам дачиого поселка вереницей машии, марка и внешность которых свидетельствовали о том, то они везут крупных деятелей. Оказалось, что это был деиь 80-летия Ольги Борисовиы, и с поздравлениями к ней иа дачу (она в то лето проживала в том же поселке) прибыли крупиые деятели (Лысенко, Жуков-Вережников, Майский — директор Института биологии и другие). Как она мне потом рассказала при случайной встрече, ее прославляли, пели дифирамбы, а оиа в ответиом слове сказала: «Меня ие признавали, мие мешали работать, а вирховиаицы из Института морфологии меия вообще выгнали, ио я все же победила». Упоминание о вирховиаицах из Института морфологии было, вероятно, иадгробиым камнем этого ииститута. Вскоре после указаиного торжества произошла его ликвидация...

Прошли годы. Восстаиовлеиие норм общественной и политической жизии сопровождалось и восстаиовлеиием (хотя и весьма нелегким) иорм подлииной науки, для дискредитации которой трудио было придумать более подходящий персоиаж, чем О. Б. Лепешииская. Эта позориая страница в истории советской науки и вообще советской общественной жизни уходила в прошлое, хотя и ие забыта окончательио. Одиако не следует клеймить позором только О. Б. Лепешиискую. Позор тем деятелям, которые дали безграиичный простор ее больиому честолюбию, оргаиизовали гнусиый спектакль с ее посвящеиием в геиии, сделали всеобщим посмешищем старого человека, заслужеииого деятеля Коммунистической партии, выставив его иа позор и поругание вместе с советской наукой, и ие только ие поиесли иикакого наказания, ио благополучио почивают иа лаврах из шутовского веика О. Б. Лепешииской. А ее «учеиие» было бесшумно спущеио в небытие вместе с его автором.

СОДЕРЖАНИЕ

Рапопорт Я. Л.

Р23 На рубеже двух эпох. Дело врачей 1953 года.— М.: Книга, 1988.— 271 с., ил.

Яков Львович Рапопорт, 1898 г. рождения, известный советский ученый патологоанатом, заслуженный деятель науки, автор ряда выдающихся научных исследований, широко известных в СССР и за рубежом. Я. Л. Рапопорт был репрессирован по «Делу врачей» 1953 г Эта книга первый и единственный литературный труд, освещающий многие стороны этого дела и попутно затрагивающий межнациональные отношения и проблемы морально-этического характера. Они заслуживают серьезного осмысления, тем более, что автор — бесспорно достойный и мужественный человек.
Издается на правах авторской книги.
Для широкого круга читателей.

2 р. 50 к.